

Рольф Тоштендаль

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ИСТОРИКА
И ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАНИЕ



РОЛЬФ ТОШТЕНДАЛЬ

**Профессионализм
историка
и историческое знание**

Москва
Новый хронограф, 2014

УДК 930(4)
ББК 63.1(4)
Т64

Т64 Тоштендаль, Рольф.

Профессионализм историка и историческое знание : пер. с англ. А.Ю. Серединой / Рольф Тоштендаль. – М. : Новый Хронограф, 2014. – 346с. – ISBN 978-5-94881-268-7.

В книге рассматривается возникновение профессии историка и ее эволюция. Автор представляет профессиональное историописание «как поиск исторического знания, когда условия этого поиска постепенно совершенствуются сообществом ученых для того, чтобы по возможности максимально отказаться от догадок и предубеждений». Книга охватывает европейское историописание вплоть до XXI века.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Профессиональные нормы, специализация и фрагментация

История как материнская дисциплина

Эта книга охватывает лишь европейское историописание вплоть до ХХI века. То, что воспринималось как историописание в других частях света, помимо Европы до 1900 г., будет затрагиваться лишь эпизодически. Причина такого отбора в том, что, насколько мне известно, ни в каком другом культурном контексте не возникло и намека на рождающийся профессионализм историка (в том смысле, как это понятие определяется ниже в данной главе) до его возникновения в европейских университетах в ХIХ в. Более того, до 1900 г. никаких идей относительно того, чем следует интересоваться историкам и при помощи каких средств вести историческое исследование, из какого-либо неевропейского культурного контекста в европейскую/североамериканскую академическую культуру не проникало. Другие представления о том, что такое история и как ею нужно заниматься, безусловно, заслуживают исследования, разные их варианты отражены в недавно опубликованной пятитомной «Оксфордской истории историописания» (2011–2012), хотя и эта работа уделяет больше внимания европейскому (и североамериканскому) пониманию истории.

В XIX и XX вв. произошли изменения в отношениях между историей в целом и многочисленными дисциплинами, рассматривающими воздействие времени на людей и человеческую культуру. Некоторые из них имели или по-прежнему имеют в своих названиях слово «история», например, история литературы, история искусства, история науки, экономическая история, социальная история и т.д. Дело не только в том, что некоторые стремятся выкинуть это слово из названия своих дисциплин: многие пытаются обрести другую идентичность, отличную от той, что обеспечивалась их историческим аспектом. Литература без истории – отрасль знания, анализирующая текст, в которой «деконструкция» не является единственным методом, хотя, когда он только появился, то спровоцировал такой резкий разрыв с прошлым, какого не удалось достичь ни одной более ранней попытке освободить эту дисциплину от исторического аспекта. Тем не менее существуют другие дисциплины, которые тесно связаны с историей, хотя это слово и не упоминается в их названиях. Это прежде всего справедливо по отношению к археологии, а также ее региональным подотделам, таким, как египтология, или подотделам, специализирующимся на определенных материалах – вазеологии или мегалитологии, обозначающим систематические исследования керамических ваз и захоронений в погребальных камерах соответственно.

Отношения между исторической дисциплиной и многими ее бывшими субдисциплинами изменились и не только потому, что они формально освободились. Они стали признанными самостоятельными дисциплинами и уже не обращаются, как раньше, к истории при определении своих профессиональных стандартов. Сегодня

Профессионализм историка и историческое знание

профессионализм, например, в археологии не связан напрямую с профессионализмом в истории. Как мы увидим во второй главе, на ранней стадии проведения международных конгрессов историков существовало стремление собрать представителей всех дисциплин при посредстве их исторического аспекта. Идея, стоявшая за пониманием истории как типа исследований, объединяющего группу дисциплин, никогда не проговаривалась, но была связана с представлением о том, что существует общий для всех исследований прошлого способ размышлений. Эта идея предполагала наличие единых интеллектуальных оснований истории, разделяемых всеми, кто изучал человеческие действия в прошлом и таким образом был причастен к историческому профессионализму в широком смысле.

Книга начинается (вторая глава) с анализа ситуации, в которой идея об общем интеллектуальном наследии всех исследований человеческого прошлого рассыпалась, а историческая дисциплина сузилась до некоего предмета, который не пересекался (или почти не пересекался) с другими университетскими дисциплинами, но в то же время начал распространяться на новые территории, которые раньше не разрабатывались или, по крайней мере, не привлекали большого внимания.

Я оставил без внимания другие дисциплины, отпочковавшиеся от истории, поскольку их смогут проанализировать те, кто лучше знакомы с их внутренними дискуссиями. Объектами данного исследования являются фрагментация истории и стремление сохранить общие принципы профессионализма внутри дисциплины, ограниченной тем или иным образом. Фрагментация заключается не только в ответвлении новых дисциплин от об-

щего древа истории, но и в изменении приоритетов среди историков, которые хотят оставаться профессионалами. К этой теме мне придется обращаться неоднократно.

История изменила свое значение и для тех, кто хотел бы оставаться историком. Тем, кто считает, что существуют интеллектуалы, которых можно назвать «профессиональными историками», необходимо различать два значения этого термина. Профессиональными историками могут быть те, кто работают как историки (первое значение термина), или же те, кого другие историки считают имеющими квалификацию профессиональных историков в силу их публикаций и преподавательской деятельности (второе значение).

Если говорить о смысле истории, то следует помнить: это – слишком претенциозная фраза. Она может относиться как к смыслу прошлого, так и к смыслу исторического исследования и истолкования. То, что историки считали смыслом своего исследования и попыток понять прошлое, есть исток профессионализма (во втором значении данного понятия). Профессионализм историка составляет главный предмет моего исследования, и ниже я более подробно объясню, что имею в виду под историческим профессионализмом в обоих смыслах этого слова. Но прежде необходимо рассмотреть процесс, в результате которого история стала особой дисциплиной.

Фрагментация истории – важный побочный сюжет настоящего исследования. В то время как профессионализм был центростремительной силой, заставлявшей ученых придерживаться определенного набора общих норм, фрагментация стала силой центробежной, создававшей новые специальности, для которых эти нормы

Профессионализм историка и историческое знание

уже не являлись приоритетными, что, в свою очередь, вело к разделению и разнообразию. Были, однако, специальности, которые стремились остаться частью исторической дисциплины и ее общих норм. То, что я здесь называю силами, – не что иное, как устремления отдельных историков. Когда несколько историков разделяют одни и те же нормы, это можно считать силой, движущей дисциплину в определенном направлении. Тем не менее фрагментация принимает разные формы.

С древности история играла роль материнской дисциплины для других отраслей. Это был естественный процесс до тех пор, пока в умах историков было живо изначальное значение греческого слова *historein*, что означает «исследовать» (но также и «спрашивать» или «рассказывать»). Геродот и Фукидид были мастерами интерпретации, и европейские историки еще долгое время пытались им подражать. Тогда не было терминологического различия между историком, пишущим историю (в нашем ограниченном смысле), с одной стороны, и исследователем, предпринимающим любое исследование, – с другой. Естественная история в этом смысле является термином, обозначающим большую таксономическую работу ученых древности, пытавшихся создать обзор «природы», то есть всего живущего, кроме человека. Самый известный автор этой традиции – Плиний Старший, возможно, благодаря тому, что он использовал термин *Naturalis historia* для своего главного труда. Были и другие авторы, имевшие сходные с Плинием цели, такие, как Страбон, известный в качестве географа, но на самом деле такой же наблюдатель, как и Плиний. Оба они старались привести массу знаний в энциклопедическую систему мира.

Рольф Тоштендаль

Когда история (как понятие «поиск знания о прошлом») в позднеримский период и Средние века превратилась в термин, использовавшийся, в основном, для описания войн, рассказов о событиях в государствах и подобных им обществах, она обрела связь с политикой. Авторы такого рода историй часто стремились оправдать свои действия, или же их нанимали продемонстрировать справедливость причины, стоявшей за действиями нанимателя. *De bello gallico* [Записки о галльской войне] Цезаря – хороший пример такого рода, а *Decem libri historiarum* [История франков] Григория Турского – более поздний пример описания хаоса, царившего в конце VI в. во Франции эпохи Меровингов.

В последующие столетия в исторической литературе доминировали хроники и анналы. Уже к X в. появились настоящие мастера составления хроник. Такие авторы, как Видукин и Лиутпранд (IX в.), выбирали свои темы и для того, чтобы развлечь читателя (или слушателя, поскольку большая часть исторических сочинений читалась вслух), и чтобы показать, кто был прав в политических конфликтах прошлого¹. Однако мастерами были далеко не все, поэтому хроники порой напоминали анналы – сухие сводки дат и фактов под определенными датами без какой-либо попытки прояснить связи между записанными событиями. Средневековые хроники обычно предоставляли больше, чем простое перечисление событий, и считаются поэтому истоком «современного» типа европейского историописания. Восхитительным примером богатой и разнообразной хроники стал труд Фруас-

¹ Beryl Smalley. *Historians in the Middle Ages*, London (Thames and Hudson), 1974, 79–94.

сара (XIV в.). Его четыре книги охватывают 1322–1400 гг. Часть этого периода Фруассар был официальным историографом Филиппы д'Эно (супруги короля Эдуарда III Английского) и других коронованных особ, но его усилия вряд ли хорошо оплачивались. Подробные описания событий и нравов, составленные мастером, живые зарисовки того, что происходило в Европе XIV столетия, привлекали не только современников и некоторых историков, но и явились основой знаменитой научно-популярной книги Барбары Такман о позднесредневековой культуре².

Авторов хроник восхваляли, а когда они становились известными, их часто нанимали короли или князья, чтобы приукрасить свои политические действия, во многих случаях связанные с войнами. Обычно авторы не рассматривали своих собратьев-хронистов как коллег, с которыми можно было обменяться опытом, источниками или обсудить проблемы историописания, но уже в эпоху Ренессанса они начали цитировать друг друга, чтобы подтвердить свое мнение, а также с полемическими целями. В гуманистической культуре европейских университетов общая культура хронистов и авторов историй постепенно окрепла, и появилось нечто вроде научной дисциплины – истории. В XVII в. историки часто вели дебаты друг с другом, чтобы узнать о других работах, касавшихся их предмета, и не отказывались признавать заслуги своих предшественников.

Часто говорится (хотя сейчас уже не так часто, как пятьдесят или сто лет назад), что в эпоху Просвещения историю использовали для этических целей и пытались

² Barbara Tuckman. *A Distant Mirror*, New York (Knopf), 1978.

Рольф Тоштендаль

извлечь из нее уроки для правителей и народов, но при этом история как таковая игнорировалась. Ряд знаменитых историков XVIII в., таких как Гиббон и Вольтер, действительно стремились показать, к чему ведет плохое управление, но в то же время в немецких университетах историки уже начали читать лекции о методах изучения событий прошлого. Особенно преуспели в этом профессора Гёттингенского университета и самый известный из них – Август Людвиг фон Шлёцер, студентами которого были прославившиеся позднее историки Арнольд Геерен, Карл Фридрих Эйхгорн и Иоганн фон Мюллер. Другие ученые, например, Иоганн Мартин Хладениус в Эрлангене, больше интересовались философией истории и герменевтикой (особенно Хладениус). Но, несмотря на расцвет ученых занятий, в немецких университетах так и не возникло общего представления о цели и способах изучения истории. Скорее каждый университет сформировал собственную школу исторических исследований.

Этот краткий обзор развития историописания в Европе до 1800 г. был совершен с целью показать, как много времени потребовалось для возникновения ученой культуры с историей в качестве главного предмета. Из инструмента политики и (согласно восходящей к античности традиции) моральной рефлексии история постепенно превратилась в отрасль науки, подразумевавшей обретение знаний о прошлом. Основной темой книги является не историописание как таковое, но исторический профессионализм, и его можно проследить вплоть до истории историографии. Существуют два значения термина «профессионализм», и их надо различать даже тогда, когда они накладываются друг на друга. Первый подразумевает, что профессиональный историк – тот,

Профессионализм историка и историческое знание

кому платят за написание истории. Согласно второму профессиональный историк – тот, кого допустили в свою компанию другие историки (сообщество историков). Профессионализм во втором смысле – главный предмет этой книги. Но прежде чем обратиться к нему, я изложу историю профессионализма в первом значении термина, ибо он имеет долгую историю.

Исторический профессионализм: первое значение

Задолго до XIX в. существовали историки, которых нанимали проводить исторические исследования и писать исторические сочинения, то есть они были профессиональными историками в первом значении понятия. Это значение «профессионального» (точно так же мы говорим о профессиональных политиках, хоккеистах, слесарях и т.п.) указывает, что люди получают плату за использование своих специфических навыков и живут на доход от деятельности, называемой профессиональной. Важно, чтобы у них имелись какие-либо специфические навыки, которые бы оплачивались настолько хорошо, чтобы им не приходилось искать побочный доход. Одним платят больше, другим меньше, но это не имеет значения. Они – профессионалы в отличие от любителей, которые демонстрируют те же навыки, но их труд не оплачивается или же оплачивается незначительно, что вынуждает этих людей иметь другое занятие, приносящее основной доход.

Профессиональные историки в этом смысле, возможно, существовали в Древнем Китае. Известно, что Сыма Цянь, живший во II в. до н.э., имел должность старше-

го историка (или старшего писца) при императоре У-ди. Он написал большое историческое сочинение, *Ши цзи*, потребовавшее серьезных архивных изысканий³. Будучи плодовитым писателем, Сыма Цянь составил несколько частей, или книг этого сочинения, в том числе теоретическое рассуждение об истории и важные анналы в одной части и биографии – в другой. Трудно представить, что он мог создать столь фундаментальное сочинение, не посвящая ему все свое время и без помощников. Однако свидетельств прямой поддержки ученого не сохранилось. Позднейшие историки династического Китая имели в своем распоряжении конторы и клерков, но от жизни Сыма Цяня их отделяли столетия. Так, в 940–945 гг. Бань Гу [Лю Сюя?] наняли написать историю династии Тан, и этот труд считается образцовой официальной историей. Сочинение Сыма Цяня, судя по всему, было начато по его собственному желанию и составлено в соответствии с идеями автора⁴. Из книги Ю.Л. Кроля следует также, что древний историк жил в культурном окружении и соотносил свою работу с трудами других исследователей. Высокая научная репутация Сыма Цяня возникла рано и сохраняется до сих пор, в том числе потому, что в других странах аналогичные труды появились много позже. Первые корейские историки VIII в. были политиками, писавшими сочинения, чтобы защищать свои интересы. В Индии индуистская культура с ее циклическим време-

³ Q. Edward Wang. Time Perception in Ancient Chinese Historiography, in *Storia della Storiografia*, 28, 1995, 69–86; William H. Nienhauser. Sima Qian and the *Shiji*, in *ОННВ* 1, Oxford (OUP), 2011, p. 463–484; Stephen W. Durrant. The Han Histories, in *ОННВ* 1, 485–508.

⁴ Кроль Ю.Л. Сыма Цянь – историк. – М.: Наука, 1970, с. 70–72.

Профессионализм историка и историческое знание

нем сделала историю отраслью знания, тесно связанной с космологией, а те, кто излагал пураны, нам неизвестны⁵. В Древней Греции и Риме также не осталось доказательств, что знаменитые историки могли жить за счет своих сочинений. Ученые занятия были доступны только богатым людям, и, следовательно, профессионалов, работавших за деньги, не существовало. Рынка не было, и лишь узкий круг образованной элиты знал об их трудах, поскольку копирование являлось делом обременительным. Автор, вероятно, гордился тем, что его работы копировали с указанием его авторства, и поэтому не противодействовал копированию. «Книга принадлежала автору до тех пор, пока оставалась в его руках. Потом она становилась свободной, как воздух»⁶. Эти слова Берил Смолли характеризуют развитую культуру, не имеющую рыночных функций, облегчающих возникновение профессионализма в первом значении термина, когда профессионалы живут за счет своих историописаний.

Развитие историографии в Европе в Средние века (о чем уже говорилось выше), изменило ситуацию. Ни один средневековый историк не мог соперничать с Геродотом или Ливием по части репутации, но, с другой стороны, существовали институты (церковь и светские правители), готовые платить за исторические сочинения, обосновывавшие их претензии на духовное лидерство или законность светской власти. По-настоящему оплачиваемая работа была редкостью. Монахи составляли ан-

⁵ *Daud Ali*. Indian Historical Writing, c. 600 – 1400, in *OHNW* 2, Oxford (OUP), 2012, 80–101, esp. 85.

⁶ *Beryl Smalley*. *Historians in the Middle Ages*, London (Thames and Hudson), 1974, 79–94.

Рольф Тоштендаль

налы, но не жили за счет своих исторических сочинений. Некоторые хронисты жили так эпизодически, когда их нанимали князья или городские общины. Одну европейскую страну – Исландию – стоит упомянуть особо из-за ее специфического отношения к истории. Исландские саги давали возможность завоевать репутацию, схожую с репутацией античных историков, и Снорри Стурлусон стал знаменит именно своими трудами на исторические темы. Однако, насколько нам известно, он, подобно древним авторам, историческими познаниями денег не зарабатывал.

В раннее Новое время короли и государства скорее, чем церковь и города, нанимали историков, чтобы приукрасить события современной политики или недавнее прошлое. Титул королевского историографа (звучавший по-разному в разных странах) притягивал историков, так как давал им доход и положение при дворе, но почти никогда не оплачивался так хорошо, чтобы позволить носителю жить за его счет. Французская должность «историографа короля» существовала долго (1554–1824), но и ее обладателей было много (104). Титул сам по себе был наградой, хотя Пим ден Боер утверждает, что королевские историографы не имели высокого положения при дворе⁷.

В это же время благодаря развитию книгопечатания появились зачатки рыночной ориентации европейской историографии. Возник новый тип историков: людей, которые рассказывали о больших европейских войнах, давали описания важных сражений с батальными сценами и политическим анализом. Этот тип истории, возникший из листовок противоборствующих сторон, интервью как

⁷ *Barbara Tuckman. A Distant Mirror, New York (Knopf), 1978.*

Профессионализм историка и историческое знание

побежденных, так и победителей, представлял собой своего рода историческую журналистику современности, которая публиковалась и продавалась. Лучший пример тому – *Theatrum Europaeum*.

В XVIII в. печатные истории, составленные знаменитыми историками, хорошо продавались, но вряд ли они составляли основной доход таких людей, как Вольтер или Гиббон. Однако в Британии XVIII в. возник спрос на историю. Согласно Кэролин Стидман спрос имел две основные формы. С одной стороны, история была главным школьным предметом, особенно в школах для девочек. «История Англии (1778) Дэвида Юма – продававшаяся и в отличие от его философских трудов продававшаяся хорошо, – имела сокращенную версию для школ и школьников и не теряла своей популярности»⁸. С другой стороны, происхождение и трансформация общества часто обсуждались как магистратами, так и слугами, таким образом придавая истории ценность в качестве правил для современности. Авторы, пытавшиеся удовлетворить этот спрос, редко бывали выпускниками университетов, но обычно работали в судебной системе⁹.

В школах, начиная с эпохи Ренессанса, существовал спрос на историю в форме, очень похожей на ту, к какой стремились британские слуги и магистраты XVIII

⁸ *David Hume*. Hume's History of England, abridged, from the Invasion of Julius Caesar, to the Revolution in 1688. For the use of schools and young gentlemen. By George Buist, V.D.M, J & J. Fairbairn, Edinburgh, 1793. Цит. по: Carolyn Steedman, Paper to the CISH Congress 2010. Доклад Кэролин Стидман не опубликован и цитируется здесь с согласия автора. Вышеупомянутое сокращенное издание труда Юма было мне недоступно.

⁹ *Кроль Ю.Л.* Сыма Цянь – историк. – М.: Наука, 1970, с. 70–72.

в. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха стали стандартным школьным текстом не для того, чтобы ознакомить учеников с событиями прошлого, но из-за этических уроков, которые можно было вынести из сопоставления двадцати двух пар исторических персонажей Древней Греции и Рима и из обсуждения их моральных качеств. Тем не менее Плутарх как автор не имел от этого прижизненной выгоды, ибо умер около 127 г. н.э. Подобная участь была суждена не только ему: школы зачастую использовали сокращенные тексты древних авторов.

Кроме жизнеописаний Плутарха, имели успех истории, написанные Вольтером (посвященные Людовику XIV и Карлу XII Шведскому) и Гиббоном (о падении Римской империи). Эти и многие другие писатели-историки XVIII в. старались создать у своих читателей впечатление борьбы за принятие моральных решений, которая, по их мнению, составляла важную часть жизни могущественных людей прошлого.

Когда историки XVIII в. формулировали этические выводы (некоторые из них делали это, другие – нет, но рассуждения о морали считаются типичными для историографии эпохи Просвещения), они заботились об образовании читателей. История как таковая в глазах этих авторов не имела образовательной ценности, хотя другие, например, немецкий ученый Иоганн Готтфрид Гердер (1744–1803), полагали историческое развитие основным предметом обучения. В XIX в. история заняла основное место в любом обучении, ее изучение надеялось не только полезностью, но и *Bildung*. Торжество принципов Гердера означало появление нового интереса к ученым занятиям историей, стало стартом исторического профессионализма. Таким образом, этот вид

Профессионализм историка и историческое знание

профессионализма – академический профессионализм истории – есть нечто отличное от профессионализма как способа зарабатывать на жизнь, который мы рассматривали до сих пор.

Прежде чем завершить рассуждение о первом типе профессионализма, стоит подчеркнуть, что он по-прежнему остается альтернативой академическому профессионализму. Его подпитывал рост печатной продукции, в XIX в. образовательные сочинения по истории имели особенно большой успех. Пересказ истории «для народа» стал популярен во всей Европе, хотя авторы разных национальностей извлекали различные уроки из прошлого. Исторические уроки формировались на основе прошлого нации, к которой принадлежал автор, основываясь на каноне несправедливостей, какие эта нация претерпела, а также героических ответов на все вызовы. Это означало, что соседние народы порой получали истории с противоречащим друг другу содержанием в том, что касалось моральной оценки правоты и неправоты в ходе войн и других взаимодействий.

Как видим, история была частью формирования нации, и в последнее время это обстоятельство явилось объектом пристального интереса историков¹⁰. Авторы таких сочинений, как «История XXX, составленная для ее народа», стали частью академического истеблиш-

¹⁰ Например, *Stefan Berger & Chris Lorentz (eds.). Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in Modern Europe*, London (ESF & Palgrave), 2010. См. также *See Stefan Berger & Chris Lorenz (eds.). The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories*, London (ESF & Palgrave-Macmillan), 2008 и другие публикации проекта ESF «Writing the Nation: National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe».

мента своих стран, хотя и менее авторитетные авторы пробовали свои силы на этом поприще. Тем не менее не всегда возможно определить, был ли автор профессионалом только в первом значении термина или же он (очень редко – она) сочетал заработок от продажи своих сочинений с признанным положением в ученой среде. Формирование наций при помощи истории в образовании и развлекательных книгах происходило по всей Европе на протяжении XIX в. и значительной части XX столетия и создало рынок исторических книг, какого раньше не существовало. Писать научно-популярные или исторические романы пробовали люди разного положения (при обращении к истории национальных героев все они в большей или меньшей степени опирались на источники и уже изданную литературу). Но и многие ученые историки, имевшие среди своих коллег репутацию знающих и надежных, включились в гонку сочинения национальной истории. Таким образом, случалось и случается, что профессионализм первого и второго типа соединяется в одном человеке. В XIX в. рынок книг по истории продолжал расти. В некоторых странах Европы он приносил значительный доход на протяжении XIX и большей части XX вв., в других – интерес к истории пережил спад. Это произошло в середине XX столетия, когда появились общественные науки (прежде всего социология), предполагавшие разрешить загадки общества и его конфликты без помощи истории. Спад, впрочем, оказался временным, и вскоре история нашла способ проникнуть в общественные науки. Публиковалось все больше книг, посвященных историческим событиям, особенно войнам, как далекого прошлого, так и недавнего времени, они конкурировали с историче-

Профессионализм историка и историческое знание

скими биографиями более или менее известных людей обоих полов. Эта популярная литература имела своей целью скорее развлечение, нежели приращение знания в какой-то области истории.

Исторический профессионализм: второе значение

Профессионализм второго типа, который я условно назвал академическим, является основным предметом настоящего исследования. Академический профессионализм в отличие от профессионализма как способа зарабатывать на жизнь определяется нормами исторического исследования, признанными сообществом историков в качестве его основы. К этой теме я буду обращаться на протяжении всей книги. Моя главная задача – показать и проанализировать последствия профессионализма (второго типа) для историописания. Большая часть исследователей считает, что академический профессионализм является стадией развития историописания, которой оно достигло в XIX в. Я же полагаю, что профессионализм – это договор, заключенный сообществом историков, то есть предпосылкой здесь является сообщество, и оно может изменить параметры профессионализма. В ходе исторического анализа предмета (главы вторая – четвертая) я постараюсь прояснить, что имеется в виду под изменчивостью профессионализма, затем (в главах шестой – восьмой) рассмотрю эпистемологические и социальные последствия такого «элитарного» толкования профессионализма, а также новый институциональный тип профессионального историописания, во многом напоминающий, на мой взгляд, идеи, которые выдвинул

Леопольд фон Ранке, возвращая, таким образом, часть профессиональных идеалов к их истокам.

Профессионализму свойственна элитарность. Сама идея профессии и профессионалов непременно предполагает некое особое знание и/или навык, которыми обладают не все, нечто, требующее значительных усилий лишь для того, чтобы познакомиться с ним и освоить его порой после долгих лет подготовки. Большинство социологов, кажется, согласны с такого рода определением. Социологи, которых привлекали неовеберовские идеи 1970-х и 1980-х гг., обычно описывали профессионализм как возведение барьеров, когда группа словно бы «огораживает» свой вид деятельности¹¹. То же самое делали доктора, чтобы «монополизировать» медицину, сделав ее привилегией людей со специальным образованием, членов особых объединений. Так же поступали адвокаты, инженеры и медицинские сестры, их примеру следовали бухгалтеры и т.д. О чем неовеберовцы не смогли договориться, так это о роли знаний и иллюзий в данном процессе. Одни склонны истолковывать возведение барьеров главным образом как способ защиты интересов членов ассоциации, другие уделяли больше внимания особому знанию. Тем не менее последние исследования формирования профессий не используют метафору огораживания, но по-прежнему фокусируются на роли

¹¹ Например, *Stefan Berger Chris Lorentz (eds.). Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in Modern Europe*, London (ESF & Palgrave), 2010. См. также *See Stefan Berger Chris Lorenz (eds.). The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories*, London (ESF & Palgrave-Macmillan), 2008 и другие публикации проекта ESF «Writing the Nation: National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe».

Профессионализм историка и историческое знание

особого знания внутри и вне профессиональной группы. Сегодня эта проблема формулируется и изучается в связи с «доверием», а профессионалы выделяются как группы, устанавливающие отношения с публикой (клиентами, пациентами), опираясь на свою способность завоевать ее доверие¹².

Профессионализм в академических дисциплинах можно рассматривать как особый случай профессионализма в целом. Особый – в отношении роли знания и взаимодействия с публикой. Чтобы считаться профессионалом (во втором значении этого термина) в любой академической дисциплине (будь то физика, астрономия, экономика, психология, социология, история искусства, история, философия и др.), необходимо продемонстрировать владение специальными знаниями тем способом, какой признается сообществом ученых данной дисциплины, хотя при этом быть членом их ассоциации необязательно. То есть профессионализм исследователей – в отличие от профессионализма университетских преподавателей и администраторов – не имеет четкой взаимосвязи с ученым сообществом, как в практических профессиях, где, чтобы получить право практиковать (докторам, адвокатам), нужно стать членами профессионального сообщества. Понятно также, что представление о себе у исследователей отличается от такового у членов других профессиональных групп¹³, и я буду учитывать

¹² См. тематический выпуск *Trust and Professionalism*, *Current Sociology* 54, edited by Julia Evetts, 2006, с. 515–663.

¹³ *M. Sarfatti Larson*. *The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis*, Berkeley & Los Angeles (U. of Calif. P.), 1977; *Randall Collins*. *The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification*, New York (Academic P.), 1979; *Frank Parkin*. *Marxism and Class*

это в своей работе.

Историческое исследование как академическая дисциплина разделяет с другими науками неопределенные отношения между отдельными профессионалами и сообществом исследователей. Новые члены допускаются в профессию в результате неформальной процедуры издания своих работ, распространения этих публикаций и предложения их на рецензию исследователям с признанной репутацией в рамках данной дисциплины. «Новобранцы» профессии могут узнать, как их принимают в сообществе, поучаствовав в обсуждении научных вопросов вместе с признанными историками, но конкретного испытания, преодолев которое, можно стать профессиональным историком, не существует.

Вопросы, кто является профессиональным исследователем и какие критерии определяют его принадлежность к данной категории, имеют прямое отношение к теме данной книги. На мой взгляд, профессионалы объединяются благодаря общей нормативной системе профессионализма. У них имеется побудительный мотив подтверждать эти нормы, что, помимо прочего, означает: профессионалы пытаются развить нормы, но лишь такими способами, какие могут быть признаны сообществом. Профессионализм выступает здесь в качестве центростремительной силы, укрепляя взаимопонимание внутри профессиональной группы, и противостоит цен-

theory: *A Bourgeois Critique*, London: Tavistock, 1979; *R. Murphy*. *Social Closure. The Theory of Monopolization and Exclusion*, Oxford (Clarendon), 1988; *Rolf Torstendahl Michael Burrage (eds.)*. *The Formation of Professions. Knowledge State and Strategy*, London (Sage), 1990; *Michael Burrage Rolf Torstendahl (eds.)*. *Professions in Theory and History. Rethinking the Study of Professions*, London (Sage), 1990.

Профессионализм историка и историческое знание

требожным силам, стремящимся разрушить единство историков как группы. Эти силы заключены в культурных направлениях и философских теориях, которые приписывают всем подходам равный интерес, и всем видам историописания – равную ценность. Мне придется еще не раз подробно рассматривать эти утверждения.

Роль специального знания интересна и с другой точки зрения. Если область академической профессии так же широка, как, например, медицина, она вызывает к жизни специализацию, которая может привести (а может и не привести) к появлению субпрофессий с собственными системами правил. Область деятельности, допустим, адвокатов – другая, она обладает особыми границами, которые строго охраняются внутри профессии. В обеих областях время от времени появляются новые специальности. Новые специалисты в области истории ментальностей, образования, географии рун, кораблестроения, гендерного разделения труда и т.д. и т.п. стремятся утвердиться, устанавливая особые правила для своей специальности. Существует, однако, одно принципиальное различие между специализациями в области истории и медицины. В каждой стране доктора имеют общую организацию, а если и существуют ассоциации специалистов, то они обычно связаны с общей организацией как ее ответвления. Сила организации заключается в общей национальной ассоциации, которая координирует всю деятельность докторов. У историков ситуация иная. Ассоциация историков отдельной страны обычно рассматривается как условность, как повод издать национальный исторический журнал, другие публикации, и возможно, собирать национальные конгрессы.

У докторов профессиональное единство опирается, прежде всего, на общие (национальные) ассоциации, подобные Американской медицинской ассоциации в США, Британской медицинской ассоциации, аналогичным организациям других европейских стран. То же наблюдается и в других практических профессиях. Специализация вторична для идентичности, главная ее составляющая – стремление быть врачом. Существуют медицинские журналы для докторов всех специальностей, но сами врачи выписывают и читают только один или два специализированных журнала по близкой им тематике¹⁴. У историков все наоборот. Общая национальная ассоциация – слабая малочисленная организация, не имеющая права говорить от имени историков всей страны. Немногие историки стали бы подтверждать свою идентичность как историков упоминанием о членстве в национальной ассоциации. Иногда членство подразумевает подписку на национальный журнал, зачастую в этом и состоит главная причина вступления в ассоциацию (особенно, если журнал хорошо издается и имеет давнюю традицию). Сейчас идентичность историка чаще связана со специализацией, в рамках которой он/она работает. Контакты внутри специальной области исследований, специальные журналы и другие публикации чрезвычайно востребованы. Национальные организации осознали это и часто пытаются удовлетворить спрос, издавая специализированные выпуски журнала, посвященные определенным областям исследований.

¹⁴ См. тематический выпуск *Trust and Professionalism*, *Current Sociology* 54, edited by Julia Evetts, 2006, 515-663.

Профессионализм историка и историческое знание

Медицинскую профессию, охватывающую врачей разных типов, полезно сравнить с академической профессией историков. У них много сходства. Существует общая профессиональная идентичность и целый набор специализаций, сформировавшихся на протяжении длительного периода времени, который у докторов оказался продолжительнее, чем у историков. Общая идентичность выступает в роли центростремительной силы, объединяющей профессию и противодействующей центробежной фрагментации.

Научная идентичность докторов тесно связана с их специальностью, но при этом они сохраняют общую идентичность врачей. Последняя определяется не столько словами, сколько принадлежностью к профессиональной организации. У историков нет общей организации, а профессиональная идентичность зачастую – лишь слово, обозначающее их как некую группу, отличную от заводских рабочих, компьютерщиков или архивистов. Тем не менее у них есть общее – Международный конгресс историков. Это побудило меня подробно проанализировать работу данных конгрессов и их взаимосвязь с профессионализмом историка.

Необходимо отметить, что в данном случае фрагментация не является негативным термином. Фрагментация в исследовательской дисциплине подразумевает лишь, что предшествующая единая группа исследователей заменяется несколькими объединениями. Такого рода фрагментация тесно связана со специализацией, и в некоторых аспектах ее можно считать преимуществом. Подчеркивая отсутствие негативного значения термина «фрагментация», необходимо рассмотреть развитие дисциплины с такими неопределенными границами, как

история. В этом заключается цель книги – детально проанализировать возникновение профессии историков, а также попытки сообщества историков разбиться на несколько групп, которые на самом деле таковыми не являлись.

Тема профессионализма – многоплановая и может исследоваться с разных точек зрения. Обычно ее рассматривают как процесс накопления методов, предоставивших историкам как группе лучшие инструменты для исследования прошлого. Этот процесс часто называют профессионализацией, считается, что он начался в прошлом, но не с нуля, что он отталкивается от уже признанной методологии, постепенно расширяя ее границы и действенность.

В книге представлен другой подход. Исторический профессионализм понимается здесь как нечто, установленное сообществом историков. Профессиональный историк должен подчиняться методам, которые другие ученые считают разумными и обоснованными с учетом приведенного материала источников.

Одна из задач исследования – прояснить историю развития исторического профессионализма. В этой связи нужно сказать еще вот о чем. Если профессионализм определяется способностью применять нормы, признанные сообществом историков, важно знать что-то и о преобладающей системе норм. В ряде случаев я буду утверждать, что существует два типа норм – минимальные требования и оптимальные нормы. Мастерство историка определяется по его/ее способности применять набор требуемых правил (минимальных требований) и в то же время определять, что является плодотворным и важным объектом исследования. Не вполне ясно, как нужно при-

Профессионализм историка и историческое знание

менять эту комбинацию правил, и всегда ли нормы находятся в согласии друг с другом.

Поскольку эта книга не является пособием для написания истории, я не буду указывать, как должны разрешаться конфликты в практике применения нормативных систем. Однако необходимо указать, что не существует единственной модели (или супернормы), которую можно было бы применить в случае, когда нормы ведут в разных направлениях. Историки сталкивались с этими проблемами с момента возникновения академического профессионализма. И хотя этот профессионализм изменился, им не удалось разрешить конфликт между тем, что является интересной и плодотворной историей согласно оптимальным нормам, и простыми, но основательными утверждениями, соответствующими минимальным требованиям. Здесь мы будем следовать за меняющимися концепциями профессионализма, фокус которых постоянно колебался между минимумом и оптимумом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Исторический профессионализм: меняющийся продукт академического сообщества в рамках дисциплины

Идея исторического профессионализма

Историки историографии зачастую рассматривают девятнадцатый век как период появления профессиональных историков, или же время, когда процесс профессионализации изменил историю как дисциплину. Чаще всего описываемое явление видится как серия связанных между собой событий. Однако разные авторы выделяют различные критерии, важные для классификации профессионализма, который они стремятся продемонстрировать. Так, Пим ден Боер и Кристоф Шарль считают критерием профессионального историка работу по найму; Габриэль Лингельбах полагает, что профессионализация историков зависит от образования и его содержания; Георг Иггерс (в 1997 г.) ссылался на идеи (представление истории как науки) и методы историков как на основополагающие условия их «профессионализации», но позднее (с 2008 г.) редко использовал этот термин; многие утверждают, что историки стали профессионалами благодаря развитию их методов в девятнадцатом веке, порой приводя сочетание критериев¹⁵.

¹⁵ P. den Boer. History as a Profession: the Study of History in France, 1818–1914 (Princeton, N.J.: Princeton U.P., 1998); C. Charle. Etre histo-

Профессионализм историка и историческое знание

Из-за различия последних авторы называют разные хронологические рамки данного процесса. Пим ден Боер относит этот период в целом к XIX в. или к 1818–1914 гг. применительно к Франции; Лингельбах считает, что процесс имел место в 1870–1914 гг. во Франции и США; другие склонны указывать примерно на середину XIX столетия.

В этом разделе оспариваются не только упомянутые критерии: работа историков по найму, образование или использование определенных методов, но прежде всего сама идея единого процесса профессионализации, который сделал историю «научной» (и соответствующего процесса развенчания этого научного образа). Идея процесса профессионализации в разных отраслях была весьма популярной у социологов 1960-х гг.; она опиралась на наличие «признаков», которые, как считалось, характеризуют профессионализм¹⁶. Со временем эта

rien en France: une nouvelle profession?, F. Bedarida ed., *L'Histoire et le métier d'historien en France 1945–1995* (Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1995), 21–44; G. Lingelbach. *Klio macht Karriere. Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in Frankreich und den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003); G. Iggers. *Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge* (Middletown: Wesleyan U.P., 1997), особ. Introduction; G. Iggers & Q.E. Wang. *A Global History of Modern Historiography* (Harlow: Pearson, 2008); особ. p. 121–125, где этого термина нет; cf. 74, где этот термин используется применительно к Ранке и его преемникам. Обзор проблемы см. в R. Torstendahl. *History, Professionalization of*, *The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (London etc., 2001), 6864–6869.

¹⁶ См., например, H. Wilensky. *The Professionalization of Everyone?* *American Journal of Sociology*, 70, 2, (1964): 137–158; обзор

концепция утратила популярность у социологов, и сегодня они предпочитают ее избегать. Похоже, историкам историографии стоит последовать их примеру, не просто из подражания социологии, но главным образом потому, что в ее основе лежит идея существования определенных «признаков», составляющих этот процесс.

Исторический профессионализм обычно рассматривается в связи с ситуацией в Германии, что отчасти оправдано той ролью, которую немецкие ученые сыграли в процессе возникновения профессионализма. Невозможно отрицать тесную связь историографии с государством и обществом, но внимание к этим предметам не должно заслонять от наших глаз философские импульсы, воздействовавшие на дисциплину, и ее внутреннее преобразование через продолжительные дискуссии об эпистемологии. И вновь ситуация в Германии привлекла наибольшее внимание исследователей, отвлекая их от анализа рассуждений французских, англоязычных, русских и прочих историков. Расхождения являлись довольно значительными, но историки, анализировавшие профессионализм, обычно были склонны унифицировать происходящее в рамках дисциплины.

Отвергнуть стоит не только идею единого процесса. Существует также сложное взаимоотношение между используемыми критериями. Одни фокусируют внимание на том, с чем должна иметь дело история, – на акторах и предметах исследования. Другие сконцентрированы, например, на методах. Две категории критериев будут именоваться здесь оптимальными нормами и минималь-

литературы о профессионализме см. в *J. Evetts*. Introduction: Trust and Professionalism: Challenges and Occupational Changes), *Current Sociology*, 54, 4, (2006): 515-531, особ. 519 о «признаках».

Профессионализм историка и историческое знание

ными требованиями соответственно¹⁷. В истории историографии внимание всегда уделялось либо одной категории, либо другой, но на практике они смешивались разными способами. Нельзя считать, что содержание этих категорий определено раз и навсегда. Напротив, то, что в одно время является желательным, становится обязательным в другое, и наоборот. Здесь профессионализм рассматривается как термин, обозначающий основу оценки исторического исследования. Предметом является идея «хорошей» и «плохой» истории или же плодотворного и не столь плодотворного исследования прошлого, то есть минимума и оптимума. По мере того как мы проследим несколько сдвигов в основной системе ценностей, мы увидим, что профессионализм менялся не один, а несколько раз. Об этих переменах и пойдет речь в данной главе.

Сообщества

Сообщество необходимо отличать от простой сети контактов благодаря разделяемой его членами системе ценностей. Главная забота ученых – правила, управляющие развитием их научных дисциплин.

Существует причина считать любой академический профессионализм более или менее связанным с сообществами. Хотя многие профессии утратили ощущение сообщества и активное общение между членами коллектива прекратилось, в научных кругах – ситуация иная. В качестве преподавателей профессора истории могут

¹⁷ Я использовал эти термины и понятия в своих статьях преимущественно на шведском языке. См. главу 3.

сблизиться с профессорами других дисциплин, но как исследователи они вместе с коллегами по дисциплине образуют группу экспертов. Эта группа, подобно исследователям в других дисциплинах, использует коммуникации как главный механизм формирования и сохранения профессионального сознания¹⁸. Виды коммуникации со временем меняются, в настоящее время Интернет, журналы, семинары, конференции и конгрессы являются главными инструментами создания таких сообществ и передают основное содержание их взаимодействия. Устная и письменная критика или похвала суть основные проявления этого взаимодействия, критика и похвала, в свою очередь, опираются на систему ценностей, которую отдельный ученый воспринял от своего окружения. Многие ученые могут внятно изложить эту систему, но сразу замечают, если кто-то из коллег отклоняется от нее.

Отклонения случаются. В одних ситуациях, в основном при диктаторских политических режимах, профессиональные ученые бывают вынуждены отказаться от автономии в отношении основополагающих ценностей, таких как принятая методология и критерии плодотворного исследования¹⁹. В ходе нормальной научной жизни

¹⁸ См. главу 3 и R. *Torstendahl*. Professionalism as ideology, in Hans Joas & Barbro Klein (eds.), *The Benefit of Broad Horizons*, Leiden & Boston, 2010 (Brill), 143-160.

¹⁹ K. *Schönwälder*. Historiker und Politik. Geschichtswissenschaft im Nazionalsozialismus (Frankfurt/Main: Campus, 1992); Ю.Н. Афанасьев. Феномен советской историографии / Ю.Н. Афанасьев. Советская историография. – Москва: РГГУ, 1996, 7–41. (Некоторые статьи в этой книге подчеркивают, какое политическое давление оказывалось на историков с тем, чтобы они отказались от своих профессиональных норм).

Профессионализм историка и историческое знание

изменения в системе ценностей происходят, когда ученому удастся убедить коллег, что такие изменения оправданы. Они превращаются в революцию, если группа инициаторов находит единомышленников, разделяющих их взгляды и готовых их распространять. В этом случае все сообщество может поменять свои основополагающие ценности.

Не вполне очевидно, когда именно начали формироваться сообщества историков. Сообществом здесь считается сеть индивидов, разделяющих основополагающие ценности, касающиеся исследований, и в той или иной форме анализирующих работы других историков. В Европе XVI–XVII вв. нет и следов национальных или международных сообществ историков. Если такие сообщества и существовали, то они оставались локальными. Их не было даже во Франции, хотя в XVII в. там уже велись дискуссии об основах истории, о том, как обнаружить подделки и когда стоит отбросить риторические красоты творений историков предшествующих поколений. Питер Бёрк, представивший обзор этих споров и последовавшего за ними кризиса, отчетливо демонстрирует, что критика истории во время этого «кризиса» по большей части вдохновлялась философами, такими, как Рене Декарт и Пьер Бейль. Он подчеркивает, что Декарт отвергал историю полностью – как письменные «истории», так и историческую прозу или «басни». Согласно этой эпистемологической критике вся история была искажена или полна предубеждений²⁰. Стоит отметить: когда историки старались опровергнуть подобные утверждения, они

²⁰ *Peter Burke. History, Myth, and Fiction: Doubts and Debates, in Oxford History of Historical Writing, 3 (Oxford: Oxford University Press, 2012), 261-281.*

обосновывали индивидуальные системы правил и не имели общего взгляда на то, что требуется от историков.

С этой точки зрения XVIII в. гораздо интереснее XVII столетия. Уже возникли тесные связи между некоторыми историками, а Германия стала местом зарождения сетей историков. Самой известной из них была Гёттингенская «школа» второй половины столетия. Герберт Баттерфилд изучил плодотворные связи внутри гёттингенского круга ученых: не все они были историками, но все интересовались историей. Из них выделялся Август Людвиг Шлёцер, один из лидеров и ведущий историк²¹. Петер Ханнс Рейль, Йорн Рюзен и Хорст Вальтер Бланке показали, что во многих университетах Германии – а она ими изобиловала – существовали группы взаимодействовавших ученых-гуманитариев²². Это является безусловным признаком рождения сообществ, хотя и на локальном уровне, не имевших еще национального значения. Поскольку ученые принадлежали разным дисциплинам, они не создавали системы правил для профессиональных историков.

Историки входили в число самых активных ученых, устанавливавших связи между собой и обсуждавших основы исторической мысли в Германии. Французское Просвещение отличалось от немецкого целым рядом

²¹ *Herbert Butterfield. The Rise of the German Historical School, in Man on His Past (Cambridge UK: Cambridge University Press, 1955), 32–61.*

²² *Reill, Peter Hanns. The German Enlightenment and the Rise of Historicism (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1975); Blanke, Horst Walter. Historiographiegeschichte als Historik (Stuttgart-Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog, 1991), 111–204; Von der Aufklärung zum Historismus (Paderborn etc: Schöningh, 1984), оsob. Blanke, Aufklärungshistorie, 167–200.*

параметров, но для нашего исследования наиболее важно, что во Франции дискуссии происходили по большей части не в университетах, а вне их стен. С одной стороны, это были споры между членами *Academie des inscriptions* [Академии надписей и изящной словесности], благоволившими эрудиции и вниманию к деталям, с другой стороны – диспуты «философов», зачастую ни во что не ставивших историков с их любовью к деталям и стилистической бедностью²³. В Шотландии – по-прежнему сохранявшей культурную традицию, отличную от английской, несмотря на унию 1707 г., – великие писатели, такие как Дэвид Юм, Уильям Робертсон и Адам Фергюсон, создали знаменитые исторические произведения, но не породили «школ». Аналогичную характеристику следует дать Эдварду Гиббону, самому известному английскому историку XVIII в., хотя влияние на публику Кэтрин Маколей было велико, а ее «История Англии» соперничала с его трудом по репутации и популярности. Все эти британские историки были частными лицами, не связанными с университетами или сетями, которые могли бы развиваться в сообщество²⁴. Таким образом, три страны, находившиеся на «передовой» европейского Просвещения, не смогли создать международное сообщество. На национальном уровне сети коммуникаций

²³ *Abbatista, Guido*. The Historical Thought of the French Philosophes, in *Oxford History of Historical Writing*, vol. 3, vols. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 406-427.

²⁴ *Allan, David*. Scottish Historical Writing of the Enlightenment, in *Oxford History of Historical Writing*, vol. 3 (Oxford: Oxford University Press, 2012), 497-517; *O'Brian, Karen*. English Enlightenment Histories, 1750 – c. 1815, in *Oxford History of Historical Writing*, vol. 3 (Oxford: Oxford University Press, 2012), 518-535.

существовали, но в сообщество с едиными правилами историописания они не объединились. И хотя в Италии в середине XVII в. было немало последователей Лодовико Антонио Муратори, сделавших антикваров модной профессией, «эрудитские исследования оставались уделом частных лиц», как подчеркнул Тортароло²⁵.

Историкам XVIII в. не хватало одной составляющей, необходимой для формирования сообщества, – журнала, который читали бы в разных кругах, который обеспечил бы основу обсуждения методов историописания в рамках страны, дал возможность проинформировать иностранных историков и даже вовлечь их в дискуссию.

Таким образом, до XIX в. сообщества историков оставались локальными и находились в начальной стадии развития. Сотрудничество и дискуссии, даже там, где они имели место, возникали в рамках размытых сетей, а не среди членов сообществ, разделявших одни и те же правила.

Профессионализм в духе Ранке

Когда историки историографии пытались охарактеризовать важность трудов Леопольда фон Ранке и его влияние на историографию, они выбирали разные способы. Одни подчеркивали важность того обстоятельства, что он использовал строгие исторические методы; другие – глубокое понимание им истории как краеугольного камня для постижения общества, прошлого и настоящего; третьи – его несравненное мастерство учителя,

²⁵ Tortarolo, Edoardo. Italian Historical Writing, 1680–1800, in Oxford History of Historical Writing, vol. 3 (Oxford: Oxford University Press, 2012), 364–383.

имевшего учеников не только из Германии, но из многих других стран²⁶.

Ранке, безусловно, выказал определенный интерес к историческому методу. Его ранняя книга о Гвиччардини, несколько позднейших эссе о франкских анналах и тому подобных сюжетах²⁷ показали, что он интересовался происхождением мифов и распространенных представлений о событиях прошлого. Однако было бы неверным считать этот интерес основополагающим. В общих историях Англии, папства, Германии эпохи Реформации или Пруссии рассуждения о методе являются весьма краткими и встречаются редко. Очевидно, что в этих книгах он стремился представить исторический нарратив – и обсуждение метода считал там неуместным.

²⁶ Невозможно перечислить все книги и статьи, в которых представлены взгляды на влияние Ранке на историографию. Помимо известных справочников, примечательны следующие работы: *Georg Iggers and Powell, J.M.* Leopold Von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline (Syracuse: Syracuse U.P., 1990); *Georg Iggers.* The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present (Middletown, CT: Wesleyan U.P., 1983); *Jaeger, F. and Rüsen, J.* Geschichte Des Historismus (München: Beck, 1992); *Mommsen, Wolfgang J.* (ed.). Leopold Von Ranke Und Die Moderne Geschichtswissenschaft (Stuttgart: Klett-Cotta, 1988). Многие современные работы об историзме исследуют только постранкеанский период, с 1880-х гг. до Первой мировой войны или до настоящего момента. *Meinecke, Friedrich.* Die Entstehung Des Historismus. Bd. 2, Die Deutsche Bewegung (München: Oldenburg, 1936).

²⁷ Его исследование «Истории Флоренции» Гвиччардини, озаглавленное *Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber* (1824), представляет собой приложение к «Истории латинских и германских народов», а эссе разных периодов изданы в томах 24 и 51/52 издания *Ranke, Leopold von, Sämtliche Werke*, vol. 1-52 (Leipzig: Duncker & Humblot, 1867).

Вторая характеристика историописания Ранке, отмеченная исследователями, — поразительная глубина его мысли. Ранке принадлежал к другому виду историков, чем его предшественники. Он любил размышлять об истории, делать ее источником понимания настоящего. Это, однако, не означало, что ученый приходил к поспешным выводам, перескакивая от прошлого к настоящему и будущему. Скорее, он пытался создать систему анализа надындивидуальных сущностей — прежде всего государств — и их моделей поведения в противоположность отдельным людям. Уже в труде, прославившем Ранке в Германии, *Geschichten der romanischen und germanischen Völker* [История романских и германских народов], он размышлял (с 1824 г.) над идеей основополагающей европейской системы государств. Эта идея задавала более широкую перспективу, нежели национально ориентированное историописание предшествовавших эпох. Такой род мысли лишь изредка проявлялся в его главных трудах — исключением является *Weltgeschichte* [Всемирная история], в основном он обосновывался в эссе, таких как *Die grossen Mächte* [Великие державы], где Ранке впервые обосновал приоритет международных отношений в политике государства. Он заявлял: «Я буду постоянно придерживаться великих событий, развития внешних отношений между разными государствами; последствия для внутренней ситуации, которая оказывается под воздействием внешней политики и имеет для нее значение, по большей части, будут исключены»²⁸. Другой важной работой, имевшей огромное значение для исторической

²⁸ Ranke, Leopold von, Meisterwerke (Leipzig: Duncker & Humblot, 1915).

мысли, был труд *Über die Epochen der neueren Geschichte* [О периоде новой истории] – серия лекций для баварского короля Максимилиана, при жизни Ранке не опубликованная²⁹. В этом замечательном тексте Ранке позволяет себе поразмышлять об истории, представляя упрощенный очерк исторических событий. Сама история отошла здесь на задний план перед теорией истории и теориями общества. Таким образом, Ранке был ярким исключением как среди историков своего времени, так и предшественников из-за своих стремлений понять историю глубже, чем позволяло простое повествование о событиях.

Наконец, третья характеристика касается педагогической деятельности Ранке. Его преподавательский стиль, несомненно, стоит проанализировать. Еще Конрад Фаррентрапп обратил внимание на многочисленных учеников Ранке и опубликовал письма многих из них³⁰. Позднейшая работа Гюнтера Берга представляет обзор содержания лекций и семинаров Ранке; автор стремился проанализировать степень его влияния, исследовав число слушателей³¹. К сожалению, большая часть материалов, содержащих интересные сведения о составе и количестве студентов, погибла, однако тщательные реконструкции и праздники, посвященные юбилеям Ранке,

²⁹ Опубликовано посмертно А. Дувом в 1888 г. в Ranke, Leopold von, *Weltgeschichte* (Leipzig: Duncker & Humblot, 1881); новое, критическое издание опубликовано в Ranke, Leopold von, *Aus Werk Und Nachlass* (München: Oldenbourg, 1971).

³⁰ *Varrentrapp, Conrad. Briefe an Ranke, Historische Zeitschrift* 105, 107 (1910-1911).

³¹ *Berg, Gunther. Leopold Von Ranke Als Akademischer Lehrer* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1968).

дают определенное представление о нем как о педагоге. Его преподавательский стиль рассматривается в четвертой главе, здесь мы лишь обратим внимание на тех, кто внимал мэтру. Сохранившиеся списки студентов свидетельствуют: чтобы послушать Ранке, люди приезжали из многих стран Европы, а некоторые преодолевали и куда большие расстояния. Кто-то посетил всего лишь несколько семинаров, другие учились годами.

Ранке был выдающимся писателем-историком своего времени и, судя по количеству страниц, поразительно плодовитым. Основная часть его книг основана на оригинальных исследованиях, которые сопровождались ссылками на труды предшественников. Почти все, что он написал, являлось первоклассной историей по меркам того времени. С точки зрения ученого, любой социальный феномен, и особенно государство, наполнены историей, и задача исследователя – обнаружить историю в государственных институтах и системах, следуя при этом представлениям каждой эпохи о божественном. Это означало, что никакое явление не могло считаться просто вехой на пути к позднейшим событиям. Такой тип мышления, важная часть его *Historismus* [историзма]³², сделала Ранке по-настоящему оригинальным автором.

Несмотря на это, он мог бы оказаться забытым всеми, за исключением немногих историков, если бы не ученики. В Германии почти все историки младшего поколения были учениками Ранке в первом, втором или третьем

³² See further Chapter 9 below with a discussion of viewpoints on Historismus in relation to Ranke.

удалении или хотели казаться таковыми³³. Его преподавание вместе с его качествами историка создали ему особую репутацию. Зеркальное отражение этой ситуации существовало во многих странах Центральной, Восточной и Северной Европы. Во Франции и Англии в третьей четверти XIX в. его воздействие было слабее, нежели в остальной Европе. Ранке имел солидную репутацию в Северной Америке и почитателей во всем мире³⁴.

Что принесло ему успех? Несомненно, необходимым условием было формирование сообщества, разделявшего его мысли и нормы. Его лекции, семинары и сочинения сформировали базовый уровень создания такого сообщества. Ранке беседовал с сотнями историков младшего поколения, убеждая их, что и каким именно образом произошло, давал им возможность размышлять о том, как проявляется соединение государства и обстоятельств времени в длительной перспективе. Многие разделили его взгляды, хотя бы отчасти, и самое важное, разделили его нормативные предписания того, чем должны заниматься историки. Многие его слушатели и ученики стали профессорами и преподавали ранкеанство, как они его понимали, своим студентам.

³³ О нескольких поколениях учеников Ранке см. *Weber, Wolfgang. Priester Der Klio. Historisch-sozialwissenschaftliche Studien Zur Herkunft Und Karriere Deutscher Historiker Und Zur Geschichte Der Geschichtswissenschaft 1800–1970* (Frankfurt/Main: Peter Lang, 1984), 210–262. Вебер рассматривает школы Дройзена и Моммзена, но обнаруживает меньше учеников, 262–280.

³⁴ О влиянии Ранке см. *Iggers, Georg, The Crisis of the Rankean Paradigm in the Nineteenth Century*, in *Leopold Von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline* (ed. G. Iggers & J.M. Powell), n.d., 170–179.

Совершенно очевидно, что последователи Ранке не считали историей повествование, не следовавшее неким методологическим принципам. Древние источники предпочитались более новым, а хронологическая близость к событию оказывалась важнее пересказа с чужих слов или традиции. Использование Ранке венецианских архивов истолковывалось как предпочтение дипломатических материалов. Тем не менее существуют утверждения самого Ранке и его ближайших учеников относительно характера методов, понимавшихся как необходимые, то есть минимальные требования. Это, конечно, зависело от воздействия историзма Ранке на общее представление о том, как следует писать исторические работы. Необходимо было представить не только безупречный рассказ, но также обратиться к историческому процессу с точки зрения идей государства и политики, сформулированных ученым. Эти концепции представляли собой формулу плодотворной и желательной перспективы в исторических исследованиях. Таким образом, профессионализм Ранке превратил оптимальные нормы в требования и сделал методологию лишь вспомогательной отраслью.

Так ранкеанство в своей исходной или модифицированной форме стало условием для профессиональных занятий историей. Без него невозможно было войти в сообщество историков, а это сообщество приобрело такой авторитет, что только очень немногие историки могли себе позволить оставаться вне его. Сообщество имело международные отделения и значительное влияние в Центральной, Восточной и Северной Европе, Северной Америке, но по-прежнему сохраняло четкие географические границы.

Профессионализм историка и историческое знание

Профессионализм как методы и методология

Несмотря на быстрый успех, ранкеанство сошло на нет еще до смерти самого ученого. В Германии появились новые звезды среди историков, в их числе теоретик Иоганн Густав Дройзен, повествователи Генрих фон Зибель, Теодор Моммзен и Генрих фон Трейчке. Однако ни один из них не обладал такой международной репутацией, как Ранке. Моммзен почти достиг ее, но только применительно к исследованиям античности, которые постепенно отделялись от истории в целом в результате фрагментации дисциплины. Научное сообщество больше не нуждалось в многотомных национальных историях, подобных тем, что писал Ранке. В последней четверти XIX в. и первой четверти XX столетия для академического мира стало актуальным детальное исследование частных проблем. Именно на них концентрировались докторские диссертации. Поэтому доминирующее в истории историографии представление о том, что после 1870 г. ранкеанский профессионализм победил в Западной Европе, ставшее популярным благодаря работам Георга Иггерса, вводит исследователей в заблуждение³⁵. Нечто иное стало основой системы ценностей и для национальных сообществ историков, и на международной арене в Европе и США, хотя все они и ссылались на Ранке как на образец.

Некоторые считали, что место, освободившееся после Ранке, могли бы занять французские историки Фю-

³⁵ *Iggers, Georg*. *Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge* (Middletown, CT: Wesleyan U.P., 1997), 23-30. Ту же самую идею Иггерс высказывает и в других книгах и статьях, но здесь она лучше всего обоснована.

стель де Куланж или Габриэль Моно или же британец лорд Актон. На самом деле ни один из них не имел публичного образа, подобно Ранке. Не было у них и многочисленных учеников, которые могли бы создать им репутацию за рубежом.

Возникла «мода» на исторические исследования, основанные на источниковедческих изысканиях. В Германии и Франции, начиная с 1820–1830-х гг., реализовывались крупномасштабные проекты издания средневековых источников. Эта модель быстро распространилась в большинстве европейских стран. Средневековые документы, хроники и анналы обнаруживались, реставрировались и истолковывались, что требовало продвинутых способов редактирования. Для издателей были созданы впечатляющие наборы инструментов, оказавшиеся полезными и для историков³⁶. По мере того как одержимость древними архивными материалами и их воспроизводством в новых европейских изданиях росла, критический стандарт публикации источника и оценки его содержания стал международным. Этому способствовала публикация руководств по историческим исследованиям, которые быстро вошли в моду. Отчасти они предназначались для студентов-историков в университетах, но некоторые из них вскоре стали руководством и для международного сообщества историков. В 1868 г. Иоганн Густав Дройзен впервые опубликовал свой *Grundzüge der Historik* [Очерк «Историки»], буклет, представлявший собой довольно сухую выжимку его

³⁶ Об этих проектах см. *Bresslau, H. Geschichte Der Monumenta Germaniae Historica* (Hannover: Neues Archiv, 1921); *Charmes, Xavier. Le Comité Des Travaux Historiques et Scientifiques. Histoire et Documents* (Paris, 1886).

лекций об историческом методе и немного исторической теории³⁷. Он не стал международным бестселлером, несмотря на небольшой формат и ясные предписания. Гораздо больший успех имел *Lehrbuch der historischen Methode* [Учебник исторической методологии] Эрнста Бернгейма, впервые опубликованный в 1889 г. и переиздававшийся до Первой мировой войны. Еще одно руководство, получившее международное признание, было опубликовано во Франции. Шарль-Виктор Ланглуа и Шарль Сеньобос издали учебник, озаглавленный *Introduction aux études historiques* [Введение в изучение истории] (1898), который был переиздан в 1899 г. Между этими авторитетными изданиями имелись существенные различия, носившие отчасти полемический характер³⁸.

Самым заметным было различие в подходах к задаче историка. Бернгейм (и Дройзен, хотя его текст весьма краток) видели эту задачу в прояснении самой истории. Здесь можно усмотреть связь с тем, как Ранке определял себя в качестве историка: «*er will bloss zeigen wie es eigentlich gewesen*». Проясняя историческое прошлое, историки должны были (согласно Бернгейму) указать, какой вариант развития событий в прошлом был более, а какой менее вероятен. Ланглуа и Сеньобос придерживались иного мнения. Они рассматривали работу историка как текст, в котором автору следовало избегать ложных

³⁷ В конце XX в. репутация Дройзена возросла благодаря интересу к его *Historik*. См., например, Rösen, Jörn. *Begriffene Geschichte: Genesis and Begründung Der Geschichtstheorie* J. G. Droysens (Paderborn: Schöningh, 1969); Nippel, Wilfried. *Johann Gustav Droysen. Ein Leben Zwischen Wissenschaft Und Politik* (München: Beck, 2008).

³⁸ Бернгейм подвергся критике Ланглуа и Сеньобоса и ответил им в позднейших изданиях своего *Lehrbuch*.

утверждений. Таким образом, вероятность прошлого противопоставлялась солидности исторического повествования. Различные мнения о менее значительных предметах были представлены в руководствах по историческим исследованиям, написанным на большинстве европейских языках с целью популяризации исторической методологии. Некоторые из них получили широкую известность и доминировали в историческом образовании не только на родине, но и в соседних странах. Так случилось с буклетом датчанина Кристиана Эрслева *Historisk Teknik* (1911)³⁹.

Итак, во второй половине XIX – начале XX в. началось обсуждение методологии истории. И хотя дискуссии были специализированными, подразумевалось, что все историки должны быть в курсе основных спорных вопросов, особенно тех, в отношении которых формировался консенсус. На самом деле большая часть правил, то есть нормативов работы с источниками, принятых ведущими учеными, были одними и теми же. Методологов разделяли доводы, при помощи которых они стремились обосновать правила и их нормативную основу.

Инструментом, при помощи которого все историки познакомились с нормативной системой методологии, был исторический семинар. Семинары стали обычным явлением лишь в последние два десятилетия XIX в., хотя некоторые немецкие профессора, в частности Иоганн Густав Дройзен, следовали примеру Ранке, начи-

³⁹ Эрслев опубликовал раннюю версию под другим заглавием в 1892 г. На норвежском языке она вышла в 1911 г. *Erslev, Kristian. Historisk Teknik* (Köbenhavn, 1911); норвежское издание Густава Шторма было менее успешным. *Storm, Gustav. Indledning i Historie* (Oslo, 1895).

Профессионализм историка и историческое знание

ная с 1860-х гг. Семинар стал эффективным способом распространения исторического метода; его участники рассаживались вокруг стола (стол был обязательным атрибутом), рассматривали какой-либо исторический текст, древний или новый, и обсуждали, какие выводы можно сделать о его происхождении, тенденциозности и содержании. У преподавателя, таким образом, имелась возможность передать как собственные взгляды, так и стандартное представление о том, что именно должен учитывать историк. Микрокосмы исторических сообществ разделяли основополагающие представления благодаря широко распространенным учебникам. Так был достигнут общий консенсус, и сформировалось международное сообщество ученых.

Появилась новая историческая литература, вдохновленная новыми интересами в области методов и методологии. Некоторые историки отличались радикальной манерой источниковедческого анализа. Такие методы порой резко меняли традиционные взгляды на историю, особенно на отдаленные периоды прошлого. В Германии этот процесс начался сравнительно рано, и постепенная переоценка прошлого не вызывала серьезных конфликтов. В других странах, где критический анализ источников имел недавнее происхождение и был более слаб, результаты могли оказаться шокирующими. Культурная адаптация критических переоценок прошлого в значительной степени зависела от выводов, к которым приходили историки в ходе своих критических изысканий. Одни обнаруживали, что имеющегося исторического материала недостаточно, чтобы обосновать выводы их предшественников, но тем не менее считали необходимым размышлять о степени вероятности того или иного

решения вопроса – в соответствии с *Lehrbuch* Бернгейма. Другие отбрасывали исторические нарративы, основанные на материалах, не выдерживавших историко-ведческой критики. Швед Лауриц Вейбулл прославился своей готовностью отвергнуть всю историю Севера, основывающуюся на «баснях и выдумках», как он заявил в своей книге 1911 г. Там он утверждал, что на основании подвергшихся наименьшим искажениям поэтических произведений, современных событий, можно создать лишь очень грубый очерк того, что происходило в Скандинавии около 1000 г.⁴⁰

Вейбулл был радикален в своей критике источников, но он делал подобные выводы на основе анализа, который могли принять другие исследователи. По сути, он весьма точно следовал нормам формулирования выводов, содержащимся в учебнике Ланглуа и Сеньобоса⁴¹. Но это было редкостью. Большинство исследователей предпочитало следовать осторожным нормам, предложенным Бернгеймом. Таким образом, у них была возможность взвесить все «за» и «против» и остановиться на наиболее вероятном, с их точки зрения, варианте развития событий.

⁴⁰ «Когда сказки и выдумки отброшены, становится ясно, что лишь случайные события и самые приблизительные очертания истории этого периода [конец X – начало XI вв.] могут быть научно обоснованы» – это знаменитая фраза из предисловия к *Weibull, Lauritz. Kritiska Undersökningar i Nordens Historia Omkring År 1000* (Lund, 1911).

⁴¹ *Torstendahl, Rolf. Källkritik Och Vetenskapssyn i Svensk Historisk Forskning 1820–1920, Studia Historica Upsaliensia*, 0081–6531; 15 (Stockholm: Svenska bokförl./Norstedt, 1964), 12; *Odén, Birgitta. Lauritz Weibull Och Forskarsamhället, Bibliotheca Hist. Lundensis* 39 (Lund, 1971).

Профессионализм историка и историческое знание

Не думаю, что большинство историков, работавших около 1900 г., заглядывало в учебники в поисках норм, обязательных для исполнения. И эти, и позднейшие учебники, похоже, служили ученым лишь справочниками, из которых они черпали поддержку своим идеям, а также использовали их в преподавании.

Обычно критика источников не оспаривалась. Но разногласия (иногда значительные) между теми, кто принимал критический анализ, оставались. Так, в Швеции некоторые историки соглашались с критикой источников, но не с выводами Вейбулла. В Дании существовала традиция критического анализа, впервые предложенная, вместе с радикальными выводами, в работах Каспара Палудан-Мюллера, позднее сложившаяся в систему методологии Кристиана Эрслева, более осторожного в отношении выводов. В Дании и Норвегии исследователи (Эдвин Йессен и Ингвар Нильсен) применяли к материалу саг те же критические методы, что и Вейбулл, но пришли к другим выводам.

Пример из скандинавской историографии не означает, что страны региона обладали какими-то особыми качествами исторического профессионализма. Вероятно, подобные споры можно обнаружить и в других странах. Скандинавия, однако, имела одно преимущество. Старые политические конфликты отошли на второй план, поэтому историография не занималась оправданием национальных предрассудков, а была открыта для ученых споров об источниках и их значении в отличие от других европейских стран, где история была поставлена на службу национальной политике.

С возникновением Международного конгресса исторических наук у историков из разных стран появилась

площадка для встреч. История конгрессов восходит к 1900 г. (его предшественник собрался в 1898-м, хотя название появилось позднее)⁴². Несмотря на противоречия, царившие в европейских странах в начале XX века, движение за международное сотрудничество историков получило поддержку европейских ученых, что свидетельствовало об их стремлении найти форум для дискуссий и организацию, которая стала бы символом сложившегося сообщества. К 1923 г. сформировался постоянно действующий орган – *Comité international des sciences historiques* (CISH) [Международный комитет исторических наук (МКИН)].

Как отмечал Карл-Дитрих Эрдманн в своей книге, посвященной истории CISH, вопросы методов и методологии были основными темами дискуссий первых международных конгрессов. Переводчики и издатели английской версии книги Эрдманна назвали четвертую главу «Споры о методологии: Рим, 1903-й», пятую – «Торжествующий профессионализм: Берлин, 1908-й». Однако современного читателя это может ввести в заблуждение. Темы были специализированными и охватывали такие разнообразные предметы, как римская археология, кодификация права, составление и происхождение Но-

⁴² *Erdmann, Karl Dietrich. Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences, 1898–2000* (New York & Oxford: Berghahn, 2005); Книга сначала была опубликована на немецком языке: *Erdmann, Karl Dietrich. Die Ökumene Der Historiker. Geschichte Der Internationalen Historikerkongresse Und Des Comité International Des Sciences Historiques* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987). В английском издании была добавлена глава, охватывающая 1985–2000 гг., написанная Вольфгангом Х. Моммзеном, под редакцией Вольфганга Х. Моммзена и Юргена Коки.

Профессионализм историка и историческое знание

вого Завета («международные» конгрессы по-прежнему оставались только европейскими). В Риме этим темам были посвящены специальные сессии. Пять лет спустя, в Берлине, на первый план вышли экономические темы и методы, вдохновленные Лампрехтом, а сам Лампрехт получил право прочитать лекцию. Берлинский конгресс распустил специальную группу по методологии. Вместо этого организаторы распорядились, чтобы все лекции предоставляли в первую очередь существенную информацию или обсуждали «вопросы метода и научной деятельности»⁴³.

Эрдманн отмечал, что в первое десятилетие XX в. конгрессы стали «более научными» и занимались в основном тем, что считалось научным процессом. На секциях разворачивались настоящие дебаты, где сторонники разных взглядов на теорию и метод бескомпромиссно излагали свои суждения. Критическое отношение к нововведениям, касавшимся методов и методологии, исходило от французских участников. Так, Франсуа Симиан более всего возражал против разбивки дискуссий о методах по разным секциям и отсутствия секций по методологии⁴⁴.

Примечательно, что Симиан был историческим социологом, пропагандировавшим идеи Дюркгейма среди историков и (исторических) экономистов. В 1898 г. он издал критическую рецензию на *Introduction* Ланглуа и Сеньобоса, а в 1903-м опубликовал двухчастную статью в *Revue de synthèse historique*, где представил радикаль-

⁴³ Erdmann, Karl Dietrich. Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences, 1898–2000, 22–65.

⁴⁴ Ibid., 49.

ную критику трех книг об историческом методе, одной из которых была монография Шарля Сеньобоса *La Methode historique appliquée aux sciences sociales* [Исторический метод, примененный к социальным наукам] (1901)⁴⁵. Интерес Симиана к дебатам показывает широту дискуссии. Он сурово критиковал Сеньобоса за непонимание субъективности отбора информации историком и ограниченности исторического знания по сравнению с социальными науками, выступал за систематическое сравнение различных социальных феноменов по отдельности и резко критиковал идею переплетения всего в совокупности (в своем французском тексте он использовал немецкое слово *Zusammenhang*), которую методологи истории рекомендовали как исходный пункт исследования⁴⁶.

Очевидно, что главной целью международной организации являлась стабилизация нормативных систем методов и методологии, но этого можно было достичь лишь благодаря постоянной открытости всех важных аргументов. Философская основа методологии не была едино-

⁴⁵ *Simiand, François*. (Review of) «Introduction Aux Etudes Historiques», <http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_Des_sciences_Sociales/index.html> (n.d.); *Simiand, François*, *Méthode Historique Et Science Sociale*, <http://www.uqac.quebec.ca/zone30/Classiques_Des_sciences_Sociales/index.html> (n.d.) Две другие книги, рецензируемые Симианом: *P. Lacombe*. *De l'histoire considérée comme science* (Paris: Hachette, 1894), и *Henri Hauser*. *Enseignement des sciences sociales*. (Я не смог найти эту книгу ни в одном библиотечном каталоге, включая каталог *Bibliothèque National de France*). Хочу поблагодарить профессора Ф. Штайнера (Сорбонна), который привлек мое внимание к деятельности Симиана как распространителя идей Дюркгейма..

⁴⁶ *Simiand, François*. *Méthode Historique Et Science Sociale*.

Профессионализм историка и историческое знание

образной, даже когда методы в целом не оспаривались. Это немаловажно, поскольку большая часть дискуссий на национальных площадках, когда они не касались политизированных тем, концентрировалась на методах, рассматриваемых с разных точек зрения. Разные национальные сообщества нуждались в контрольной точке и получили ее в лице международного сообщества. Необходимо, однако, отметить, что единодушие ограничивалось вопросами метода и методологии. Как только речь заходила о теоретических вопросах (а это случалось часто), будь то в социальной теории (марксизм и другие виды материализма) или в эпистемологии (Дильтей и неокантианцы), озвучивались самые разные точки зрения.

Так было создано сообщество историков, более интернациональное по своей природе, нежели то, что сформировалось вокруг Ранке и его идей в середине XIX в. Центральной идеей стали методы и методология. Обязательным условием — поддержка этой идеи национальными сообществами (нельзя забывать: история все еще была национальной дисциплиной).

Национальные комитеты могли иметь свою собственную повестку, обычно связанную с интерпретацией национального прошлого способом, отражавшим современную политическую ситуацию. Поэтому для интернациональных коммуникаций историков первостепенное значение имел консенсус относительно важности методов и методологии для профессионального историка.

Таким образом, второе явление исторического профессионализма, постепенно сменившего ранкеанство в 1880–1890-х гг., осуществилось через метод и методологию. Ранкеанский профессионализм 1830–1880-х гг. опре-

делялся, прежде всего, нормами отбора тем и предметов исследования. Профессионализм, доминировавший после 1890 г., концентрировался на методах и методологии и делал знаком профессионального историка и его/ее профессионализма правильное использование общепринятых методов. Поразительно, что «вопрос объективности» (как он назван в знаменитой книге⁴⁷) не находился в центре европейских споров об истории. Порой в них затрагивались проблемы беспристрастности и «истинной репрезентации исторической реальности», но мнения по этим вопросам не вызывали заметной конфронтации академического сообщества историков. Ранкеанцы могли найти основу для своих оценок в ценностной концепции государства в трудах Ранке (но некоторые из них могли склоняться к беспристрастности). Те, кто выбирал профессионализм, определявшийся методом, зачастую считали, что метод – это одно, а оценочные суждения – совсем другое (но некоторые пытались включить правила соотнесения с объектом и/или беспристрастности в нормативную систему). Это означало, что ни один профессионал не оказывался защищенным от обвинений в недостатке «объективности», а последняя сама по себе была сложным предметом. Таким образом, до 1900 г. у историка, стремившегося продемонстрировать свой профессионализм, не было альтернатив ранкеанству и другому его виду, связанному с методами. Только вокруг этих двух видов успешно сформировались международные сообщества, которые разделяли нормы и разрабатывали представления о ценности данных идей для профессионализма.

⁴⁷ *Novick, Peter. That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession (Cambridge UK: Cambridge U.P., 1988).*

Профессионализм историка и историческое знание

Ретроспективный взгляд превращал профессионализм ранкеанского типа в часть процесса («профессионализации»), который во второй половине XIX в. продолжился в развитии методологии. Чтобы представить этот процесс линейным, оказалось необходимым подчеркнуть методологическую часть учения Ранке (а также Нибура и Моммзена). Я не собираюсь утверждать, что ее не существовало. Но она не находилась в центре профессионализма, распространявшегося в рамках ранкеанского сообщества по Европе и Северной Америке. Только в 1880-х гг. и позднее методы и методология стали для исторического профессионализма центральными. Таким образом, минимальные требования вышли на первый план исторического профессионализма. Большинство историков признавали также оптимальные нормы, которые зачастую оказывались теми же самыми, что сформулировал Ранке, но им отводилось второстепенное место по сравнению с минимальными требованиями.

Это может послужить объяснением возраставшей роли национальных тем в историографии конца XIX в. Когда оптимальные нормы – то, с чем должна иметь дело история, – рассматривались как менее важные для исторического профессионализма, поле оставалось открытым. Государственные интересы, как справедливо отмечал Иггерс, благоволили националистической и консервативной историографии. Мой вывод, однако, заключается в том, что это был всего лишь побочный эффект доминирования методологии, а не основная черта исторического профессионализма данного периода⁴⁸.

⁴⁸ См. Иггерс: «Поразительно, как профессионализм, с развитием научного этоса и научных практик, сопровождавших его, повсюду привел к возраставшей идеологизации историописания»:

*Расширение рамок профессионализма:
экономическая и социальная история*

В первой четверти XX в. национальная тематика зачастую отвергалась группами историков, которые предпочитали выдвигать на первый план в исторических сочинениях социальные и экономические проблемы. Конечно, это не означало, что методы и методология перестали быть костяком нормативной системы в рамках сообщества. Однако методы, возникшие в связи с издательскими проектами XIX в., не предназначались для исследований в области социальной и экономической истории, не были значимы при решении таких проблем. В этом отношении просматривается сходство между борьбой Карла Лампрехта против немецкого исторического сообщества на рубеже веков и борьбой Марка Блока за свою репутацию в первый период «Школы Анналов». Оба находились в оппозиции к доминировавшей нормативной системе своих национальных сообществ. Лампрехт, однако, проиграл свое сражение в долгосрочной перспективе (единственной страной, в которой сохранилась восходящая к нему исследовательская традиция, является Финляндия⁴⁹), а Марк Блок свое выиграл. Марк Блок не породил международного движения за новые исторические нормы в форме методологии или за новый стандарт формулировки выводов на основании источни-

Iggers, Georg. Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, 28.

⁴⁹ *Tommila, Päiviö.* Studies in the History of Society in Finland Before World War II, *Scandinavian Journal of History* 6, no. 1 (1981), 143–160.

Профессионализм историка и историческое знание

ков. Он сражался и выиграл битву за приоритет исследовательских тем, отличных от тех, что доминировали в исторических дебатах раньше, и в этом он не был одинок. Историки экономики и экономисты со склонностью к истории, такие, как Густав Шмоллер, Макс Вебер, Альфред Маршалл, Р.Х. Тоуни и Эли Ф. Хекшер, разделяли его подход. Все они прославились у себя на родине одновременно как экономисты и как историки, но у них было немного активных учеников. Даже высокая международная репутация этих ученых ничего не могла поделать с тем фактом, что их влияние на направления исследований в историческом сообществе было ограниченным⁵⁰. На международном конгрессе в Осло в 1928 г. работала отдельная секция по экономической и социальной истории. Там Эли Хекшер прочитал доклад «Экономическая теория и экономическая история», в котором призывал к «широкому использованию теории» для того, чтобы «понять, что именно составляет экономическую историю». Согласно его краткому резюме это означало, что «теоретический подход так же необходим экономической истории, как он нужен современной экономике». Этот документ был в наибольшей степени ориентирован на теорию из всех резюме, опубликованных конгрессом. Сопоставимо с ним лишь резюме доклада В.П. Волги-

⁵⁰ О Маршалле и Тоуни см. *Coleman, D.C. History and the Economic Past. An Account of the Rise and Decline of Economic History in Britain*, n.d., 63–77; о Хекшере см. on *Hasselberg, Ylva. Industrisamhällets Förkunnare: Eli Heckscher, Arthur Montgomery, Bertil Boëthius Och Svensk Ekonomisk Historia 1920–1950* (Hedemora: Gidlunds, 2007); о Шмоллере см. *Grimmer-Solem, E. The Rise of Historical Economics and Social Reform in Germany, 1864–1894* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 246–279; *Kocka, Jürgen* (ed.), *Max Weber, Der Historiker* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986).

на (Москва) о социализме и равенстве. В той же секции Марк Блок выступил с докладом *Le problème des systèmes agraires*. Краткие резюме в документах конгресса не позволяют сделать далеко идущих выводов. Важно уже то, что Хекшеру и Блоку, а также историку Ганзы Фрицу Рёригу, советскому специалисту по Франции Евгению Тарле и нескольким другим историкам было позволено представить взгляды, далеко выходявшие за пределы проблемного поля, определенного политической историей. Хекшер похоже, не удовольствовался тем, что допускало сообщество, поскольку в своем докладе призвал к расширению занятий «собственно экономическими проблемами» вместо того, что сам отнес к социальной истории или истории права и институтов⁵¹. Три упомянутые им категории точно описывали все то, чем занимались остальные участники секции экономической и социальной истории.

На самом деле существовало различие между экономическими историками, вдохновлявшимися экономической теорией, и социальными историками того типа, который представлял Марк Блок. Первые вскоре дали выход своим устремлениям, породив организации, распространявшие экономическую историю, в частности Британское общество экономической истории, основанное в 1926 г., и Американскую ассоциацию экономической истории, созданную в 1940-м. Однако окончательно с исторической дисциплиной они не порывали (существовало несколько кафедр экономической истории), а Международная ассоциация экономической истории

⁵¹ VIe Congrès International Des Sciences Historiques: Resumés Des Communications Présentées Au Congrès (Oslo: CISH, 1928), 257–296.

Профессионализм историка и историческое знание

была создана только в 1960 г. Они начали издавать журналы по экономической истории. Первым из них стал *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, основанный в 1903 г. В 1920-х гг. появились *The Economic History Review* (1927) в Британии, *The Journal of Economic and Business History* (1928) в США и *Annales d'histoire économique et sociale* (1929) во Франции. Социальная история неслучайно не упомянута в названиях всех британских и американских журналов.

Социальные историки постепенно приняли тот факт, что историки определяли свой профессионализм через минимальные требования, и предпочли либо покинуть дисциплину, либо остаться незаинтересованными членами исторического сообщества и создать собственную платформу. В ретроспективе социальная история Блока представляла собой сознательную борьбу против методологической парадигмы профессионализма, но в рамках исторической дисциплины. Он стремился расширить поле истории и изменить ее оптимальные нормы для достижения этой цели. Однако победу Блока праздновали посмертно, уже после Второй мировой войны, унесшей его жизнь. В это время были восприняты новые представления о задачах истории, особенно во Франции. Как социальный историк в 1920–1930-х гг. Марк Блок оказался в хорошей компании. Многие другие влиятельные экономические и социальные историки, подобно ему, не находили в методологическом профессионализме опоры своим исследованиям, по сути, экономическая история и социальная история развивались в разных направлениях сами по себе, более или менее независимо от материнской дисциплины – истории.

Появление исторических социальных наук

Для большинства ученых методологический профессионализм доминировал в научном сообществе историков до 1950-х гг. Это не означает, однако, что все дискуссии первой половины XX в. были связаны с текстами и их критикой. Эрдманн утверждает, что с начала XX столетия «традиционная “историзирующая” историография с ее характерными элементами – критикой текстов, герменевтикой, интеллектуальной историей, политикой, событиями, индивидами, нарративом – столкнулась с вызовами этнологии, социологии, психологии и количественных подходов»⁵². Может показаться, что описание расхождений внутри сообщества историков преувеличено. Специалисты по экономической и социальной истории шли своим путем, начиная с 1920-х гг., существовали иные направления, например цивилизационный (макроисторический) подход Арнольда Тойнби, ставший знаменитым, помимо группы, объединившейся вокруг «Анналов», реструктурированных перед самой войной. И после войны многие исторические журналы продолжали публиковать статьи по традиционным отраслям исторических исследований. «Анналы» (получившие новое название *Annales ESC* в 1946-м) составляли исключение, за которым последовали другие, в частности *Past and Present* (1952).

Помимо утверждений о вызове со стороны социальных наук, Эрдманн, несомненно, прав, заявляя, что Парижский конгресс 1950 г. представлял собой «важный шаг в развитии теоретического самосознания истори-

⁵² Erdmann. Toward a Global Community of Historians, 206.

Профессионализм историка и историческое знание

ческой дисциплины». Труднее, однако, указать на инновации, хотя программа передает общее ощущение новизны. Ее деление по предметам стало по-настоящему инновационным. Были сформированы семь основных секций с развернутыми докладами:

- 1) *антропология и демография;*
- 2) *история идей и чувств;*
- 3) *экономическая история;*
- 4) *социальная история;*
- 5) *история цивилизаций;*
- 6) *история институтов;*
- 7) *история политических фактов.*

Первые шесть заголовков могли бы быть заимствованными из содержания «Анналов», седьмой был добавлен в последнюю минуту по настоянию сэра Чарльза Уэбстера.

Но не стоит обманываться названиями секций. Структурирование каждой из них было вполне традиционным, в соответствии с четырьмя периодами: Античность, Средние века, Новое время, Новейшая история. В некоторых итоговых докладах тот или иной период опускался. Доклады имели широкий охват и давали обзор последних работ. Иногда они даже касались ряда азиатских и африканских стран, но только применительно к их колониальному опыту. Споры порой становились бескомпромиссными и очень критичными. Так, говорят, что Эрик Дж. Хобсбаум назвал доклад Колина Кларка об экономической истории нового времени *«est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en histoire économique* [примером того, как не надо заниматься экономической историей]». Он мимоходом упомянул концепции Кларка и его

статистический метод в критическом духе, но сконцентрировался на анализе Кларком одного-единственного критерия, роста или, по словам самого Кларка, экономического прогресса, проявлявшегося в индустриальном развитии⁵³. Еще более интересным было вступительное слово Хобсбаума, председательствовавшего на заседании секции, в котором шла речь о докладе польского историка Мариана Маловиста о «современной» социальной истории. Прочитируем его фрагментарно.

«Я предлагаю согласиться с двумя утверждениями, сделанными профессором Маловистом в его докладе:

А) Как и он, я предлагаю определять социальную историю как историю социальных групп и их взаимоотношений.

В) Как и он, я полагаю, что самая важная задача здесь представить отчет не о проделанной работе – пока что сделано совсем немного, – но о проблемах, решение которых наиболее важно.

Позвольте мне уточнить. Было проделано много работы – но не историками: американские исследования по социальной структуре городов («Черная Метрополия», «Город Прерий», «Город Янки» и т.п. и, конечно же, замечательные исследования «средних» городов) проведены социологами; исследования, подобные *Banlieu* профессора Пьера Жоржа – географами; интересные исследования британских городов – Мидлсбро, Лондона – архитекторами и планировщиками; обзоры британских индустриальных зон в межвоенный период – в основном

⁵³ IXe Congrès International Des Sciences Historiques à Paris ...1950, Vol. II, Actes (Paris: CISH, 1950), 116; Clark in IXe Congrès International Des Sciences Historiques à Paris ...1950, Rapports (Paris: CISH, 1950), 242–258, особ. 244.

Профессионализм историка и историческое знание

«экономистами. Свой вклад внесли демографы, но историки – практически никакого».

В своем длинном вступлении он затем сказал, что отношения между классами и классовая борьба должны занимать центральное место в социальной истории, и завершил речь, напомнив слушателям, что они – историки, специализирующиеся в социальной истории, но обязанные писать историю, а не социальную историю, потому что в реальной жизни историю разделить нельзя⁵⁴. Ничего подобного еще не звучало на исторических конгрессах. Хобсбаум не сказал, что историки должны ориентироваться на американских социологов, но был близок к этому. Он также похвалил представителей других социальных дисциплин за то, что они поставили важные проблемы, проигнорированные историками. Таким образом, он практически выразил «желание превратить историю в “историческую социальную науку”», как выразился Эрдманн применительно к другой группе историков на Парижском конгрессе.

Группа историков, упомянутых Эрдманном, была связана с «Анналами». Среди членов группы «Анналов» он упоминает Эмара, Бутрюша, Фурастье, Франкастеля, Фридманна, Лефевра, Ренуара, Вараньяка и Вольфа, но также указывает Чиполлу, Дона, Постана, де Рувера и Сапори, принадлежавших к широкому кругу «Анналов». «Общим у них было убеждение в сдвиге парадигмы от историзма к исторической социальной науке»⁵⁵. Это бу-

⁵⁴ IXe Congrès International Des Sciences Historiques à Paris ...1950, Vol. II, Actes, 144–147.

⁵⁵ *Erdmann, Karl Dietrich*. Toward a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and the International Com-

дет верно, только если понимать последнее предложение в широком смысле. Все эти ученые склонялись к смене акцентов в истории, то есть к новым оптимальным нормам, но большинство из них не ориентировались на социальные науки.

Таким образом, нарисованная Эрдманном картина Парижского конгресса, на котором доминировали историки, стремившиеся превратить историю в историческую социальную науку, вряд ли является точным описанием конгресса и присутствовавших там людей. Она также создает ложное впечатление об идеях, доминировавших в историческом сообществе того времени. Превращение истории в историческую социальную науку не приветствовалось на конгрессе. В докладах или документах конгресса невозможно найти свидетельств в пользу такого утверждения. Скорее, Хобсбаум – радикал, не упомянутый, однако, Эрдманном, – четко указал: он хочет, чтобы историки оставались историками, но нового типа. В других докладах, посвященных основным темам конгресса, можно встретить такие же взгляды на интересы историков. Примером тому могут служить доклады Пьера Франкастеля и Жоржа Фридманна о новом и современном периоде применительно к теме «истории цивилизаций». Франкастель считал историю цивилизаций новой отраслью истории, нуждавшейся в собственных методах, а Фридманн полагал, что единственным плодотворным методом изучения отношений между развитием техники и цивилизацией Нового времени является заимствование этнологических подходов. Технология является частью цивилизации, а не автономным

фактором, угрожающим вечным ценностям. Фридманн также утверждал, что не придерживается общего взгляда на факторы влияния (как это принято у историков), но желает довести рассмотрение этого вопроса до психофизиологического уровня, на котором можно будет проследить их воздействие в новых, созданных технологией, условиях жизни⁵⁶. Если социальные науки и упоминались в позитивном смысле на Парижском конгрессе, это происходило в подобном контексте. Из всех участников именно Хобсбаум ближе всего подошел к тому, чтобы призывать к «социальной науке истории».

Еще до Парижского конгресса произошло нечто более важное для исторического сообщества, нежели сделанные там декларации. Этим событием стала публикация в 1949 г. монографии Фернана Броделя *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* [Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II], которую он защитил тремя годами ранее в качестве докторской диссертации. Благодаря этой книге Бродель быстро приобрел большое влияние во французском академическом сообществе, заняв такие важные посты, как директор «Анналов», директор *École des hautes études en sciences sociales* [Практической школы высших исследований], директор *Maison des sciences de l'homme* [Дома наук о человеке] и член *Collège de France*.

Его успех не ограничивался Францией. За ее пределами слава Броделя опиралась исключительно на его работы, к числу которых относилась не только выдающаяся монография 1949 г., но также ряд эссе и мелких работ,

⁵⁶ IXe Congrès International Des Sciences Historiques à Paris ... 1950, Rapports, 341–366 (Francastel), особ. 341–343; 367–381 (Friedmann), особ. 367–368.

а позднее другой великий труд, сопоставимый с *La Méditerranée*, а именно, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XV–XVIII ème siècle* [Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.] (1979). Пожалуй, справедливо будет сказать, что ни одному историку после Ранке не удавалось настолько потрясти устоявшиеся представления исторического сообщества, как Броделю. Однако необходимо отметить, что в (довольно сжатых) докладах и документах Парижского конгресса трудно найти следы его влияния. Его имя упомянуто в сносках к докладам Маловиста и Франкастеля. Сам Бродель не был автором доклада, он не упомянут среди участников, а его имя не всплывало в ходе дебатов, как можно было бы ожидать⁵⁷. Тем не менее его репутация была прочной.

Что же нового было в том представлении об истории? Легко указать на некоторые термины – такие, как *la longue durée*, *les conjonctures* и *l'histoire événementielle*, но не так-то просто понять, что нового было в подходе к нормам истории в труде Броделя. По мнению историков историографии, детально изучавших этот вопрос, главным в его идее истории являлось то, что она была связана с социумами, которые необходимо рассматривать в своей целостности. Этот аспект тотальности подразумевал *histoire globalisante*, которая должна была сохранять единство и не теряться во множественных деталях. Главная перспектива должна быть глобальной, согласно Агирре Рохасу, и это означало, что не существует исто-

⁵⁷ Это утверждение основывается не на систематическом анализе документов, но на чтении материалов самых важных дебатов. Упомянутые примечания см. в *Rapports*, 308, 356. И доклады, и материалы (*Actes*) не имеют индекса.

Профессионализм историка и историческое знание

рических событий или обстоятельств исключительно экономических, политических, религиозных, географических, культурных или семейных. Они прежде всего должны быть помещены в их социальный контекст. Историки обязаны пытаться ставить как поразительные события, известные всем, так и кажущиеся банальными события повседневности в контакт с социальной тотальностью. «Социальная тотальность, прошлая, настоящая и будущая, составляет это реальное единство – основу и оправдание для единообразного и глобального представления о глобальной истории, за которое боролся Бродель. В качестве побочного продукта оно предоставляет сетку координат для подхода к проблемам, с которыми сталкивается историк и социолог»⁵⁸. Примечательно, что в этой интерпретации Бродель выступает именно за такую связь между всеми социальными явлениями в истории, какую сурово критиковал социолог-историк Симиан полувеком раньше. Пьер Дэ, в своей довольно прозаичной биографии страстно и поэтично описывает открытость, с какой Бродель рассматривал пространство и географию, а также экономические последствия той инфраструктуры, которую обеспечивало Средиземное море⁵⁹.

Если бы историческое сообщество столкнулось с оппозицией, обосновывавшей подобные вещи в виде абстрактных понятий, вопреки принятому у историков вниманию к методам и методологии как профессиональным критериям, оно вряд ли бы подчинилось. Но речь шла о потрясающей книге и восхищенном ее приятии многими

⁵⁸ *Aguirre Rojas, C.A.* Fernand Braudel et les sciences humaines (Paris: Harmattan, 2004), 45.

⁵⁹ *Daix, Pierre.* Braudel (Paris: Flammarion, 1995), 229–32.

историками не только во Франции, но и во всей Европе, Латинской Америке, других частях света, хотя Бёрк напоминает нам, что не все рецензии были положительными и для критики были причины⁶⁰. В целом, однако, реакция показала, что многие читатели были покорены.

Сам по себе успех Броделя не принес перемен, хотя он и стал центром исторического сообщества, и его присутствие постоянно ощущалось. Например, Джо Толлебек показал, как важен был Бродель для бельгийских и голландских историков на Международном историческом конгрессе в Риме в 1955 г., несмотря на то, что его там не было⁶¹. Бродель пользовался большим влиянием на молодых членов исторического сообщества, подвигая его к переменам в нормативной системе дисциплины. Он отбрасывал тень даже в свое отсутствие, а его имя часто упоминалось в дискуссиях.

Эрдманн также отметил, что американский историк Томас К. Кокран, подобно Броделю, отсутствовавший на конгрессе 1955 г., написал статью «История и социальные науки». Эрдманн склонен классифицировать ее как образец того, что Анри Берр назвал «синкретизмом», а не синтезом. Тем не менее в своих рассуждениях Ко-

⁶⁰ *Peter Burke*. The French Historical Revolution. The Annales School, 1929–1989 (Cambridge UK: Polity, 1990), 38–42.

⁶¹ *Tollebeek, Jo*. A Diversity of Experiences: Belgian and Dutch Historians in Rome, in *La Storiografia tra Passato e Futuro. Il X Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma 1955) Cinquant'anni Dopo (Roma: Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, 2008)*, 243–269, особ. 261f. Бродель был вместе с шестью другими специалистами соавтором доклада *Commerce et industrie en Europe du XVI au XVII siècle*, *Relazioni*, vol. 4 Rome Congress (1955), 227–303.

Профессионализм историка и историческое знание

Кокран сформулировал призыв к историкам использовать социологические и экономические подходы к истории. Он приводит несколько примеров и утверждает: «теоретические конструкторы или модели имеют свою ценность, придавая смысл и организацию информации, которая иначе была бы расплывчатой». Вывод Кокрана тоже стоит процитировать:

«История как одна из социальных дисциплин по-прежнему является историей с ее интуитивными прозрениями и методологическими ограничениями. Опираясь на недостаточную информацию, историки все равно должны составить представление о качественных аспектах ситуации [...]. Требовать, чтобы историки считали часть своей дисциплины, прежде всего, аналитической и синтетической, а не просто описательной, означает призывать к расширению масштаба исторического исследования, отбросить ограничения, подразумеваемые утверждением профессора Барра о том, что исследование социальной причинности как таковое не является «историей», выйти за пределы предписания о том, что главным предметом истории является описание событий так, как они случились, искать более широкий интеллектуальный подход, включающий в себя интерес к социальной теории; и признать, что, поскольку история является отбором факторов из бесконечного универсума, эксплицитная основа отбора уменьшает неверную интерпретацию»⁶².

В дискуссиях Дэвид С. Лэндс взял на себя задачу замещать отсутствовавшего Кокрана. Лэндс старался смяг-

⁶² Доклад Кокрана в документах Римского конгресса: X Congresso Internazionale Delle Scienze Storiche, Relazioni, vol. 1 (Firenze: Sansoni, 1955), 481–504, цит. 503–504.

чить резкость статьи. В его изложении Кокран только рекомендовал историкам заимствовать некоторые методы из других дисциплин, руководствуясь здравым смыслом⁶³. Именно это имел в виду Анри Берр, когда характеризовал американскую Новую историю как синкретизм. В последовавшей дискуссии критики сконцентрировались на эмпирическом масштабе предложения Кокрана, а не на теоретическом его аспекте, и никто из участников не обсуждал возможность использования социологических и экономических теорий в историописании⁶⁴.

Хотя международные конгрессы устраивались раз в пять лет и не проводились во время войны, они служили местом встреч историков и площадкой для формулирования инноваций в дисциплине. А инновации имели место. В начале 1950-х гг. изменилось представление об исторической дисциплине. Дискуссии на Парижском и Римском конгрессах 1950 и 1955 гг. показали: многие ведущие историки из разных стран осознавали происходящие перемены. Инновациям редко противились, и они постепенно были представлены в виде поворота к использованию теории социальных наук и результатам, которые специалисты в этих дисциплинах получили с помощью подобных теорий. Изменение в системе ценностей исторического сообщества имело своих сторонников. Их намерения состояли в том, чтобы усилить оптимальные нормы исторического профессионализма, но было еще не всегда понятно, как именно этого добиться.

⁶³ X Congresso Internazionale Delle Scienze Storiche, Atti (Firenze: Sansoni, 1955), 176–177.

⁶⁴ Ibid., 177–186.

Профессионализм историка и историческое знание

Такое положение сохранялось недолго. В историографии возникли новые направления, проявившиеся в 1960–1970-х гг. Одним из них стала общая американизация социальных наук в Европе, что вызвало значительное влияние американской социологии не только на европейских социологов, но и на историков. В Скандинавии (особенно в Швеции и Норвегии) это влияние было сильным и означало возникновение социальной истории, основанной на количественном анализе информации, обрабатываемой при помощи компьютеров⁶⁵. В целом, количественные методы в истории получили большое влияние и чаще сосредоточивались на социальной истории⁶⁶. Специфическим направлением этой квантитативной социальной истории, вдохновленной социологией, явилась деятельность группы молодых и еще не завоевавших всеобщего признания историков, объединившихся вокруг журнала *Geschichte und Gesellschaft*, основанным в 1975 г., когда группа уже существовала. Поскольку несколько лидеров группы были связаны с университетом Билефельда, они стали известны как Билефельдская школа. Основной ее целью было способствовать развитию нового направления исторических исследований, вдохновленных социальными науками, так что ее девизом стала фраза «историческая социаль-

⁶⁵ *Torstendahl, Rolf*. Thirty-Five Years of Theories in History. Social Science Theories and Philosophy of History in the Scandinavian Debate, *Scandinavian Journal of History* 25, no. 1 (2000): 1–26.

⁶⁶ Популярными введениями были: *Rowney, Don K. and Graham, J.Q.* (eds.). *Quantitative History: Selected Readings in the Quantitative Analysis of Historical Data* (Homewood, Ill.: Dorsey P., 1969); *Aydelotte, W.O. et al.* (eds.). *Dimensions of Quantitative Research in History* (Oxford: Oxford University Press, 1972).

ная наука» (*historische Sozialwissenschaft*), и она была антимарксистской⁶⁷. Другое направление представляли «новые левые», придерживавшиеся исторического материализма, вдохновленного марксизмом, но отвергавшие советский марксизм⁶⁸. Третьим новым направлением стала история, основанная на теориях зависимости и недоразвития; она предлагала новый взгляд на мир, сформулированный Андре Гундер Франком в связи с теорией мировых систем, которую на основе работ Броделя развил Иммануил Валлерстайн⁶⁹. Четвертое направление — общее возрождение и оживление марксистских взглядов и теорий на Западе с конца 1960-х до начала 1980-х гг.

Эти новые направления историографии единодушно отбрасывали существовавшие ранее приоритеты профессионального исторического сообщества. По мнению их представителей, методы должны быть подчинены выбору важных перспектив и проблем. В то же время ни

⁶⁷ Главными членами этой группы были Ханс-Ульрих Велер, Юрген Кока, Райнхард Козеллек, Генрих Август Винклер и Ханс-Юрген Пуле. Все они имели связи с Билефельдом. В широком смысле это направление включало и других, например, Вольфганга Моммзена и Хартмута Кальбле.

⁶⁸ Изначально «новыми левыми» называли британскую группу противников ядерного оружия, публиковавшихся в *New Left Review* с 1960 г. С ростом интереса к марксизму (ортодоксальному и неортодоксальному) в конце 1960–1970-х гг. группа выросла. Часть ее авторов составляли историки, такие, как Э.П. Томпсон и Перри Андерсон. См. R. Blackburn. A Brief History of New Left Review на сайте <<http://www.newleftreview.org>>.

⁶⁹ Frank, André Gunder. Capitalism and Underdevelopment in Latin America (New York: Monthly Review P., 1967); J.D. Cockcroft, Frank, A.G., and Johnson, D.L. Dependence and Underdevelopment: Latin America's Political Economy (Garden City, N.Y.: Anchor P., 1972).

Профессионализм историка и историческое знание

одно из этих направлений не стремилось создать отдельную отрасль истории, но пыталось реформировать историю как дисциплину. До сих пор я полностью соглашался с характеристикой, которую Георг Иггерс дал тому, что он назвал «средней фазой» развития социальной науки истории. Тем не менее его работа создает впечатление, что дисциплина испытывала трансформацию такого же рода, как та, что произошла благодаря Ранке, или та, что сделала основой профессии методы и методологию. Это верно по двум причинам.

Во-первых, представители новых направлений, разделявшие некоторые общие цели, не были согласны между собой в том, чем должны быть заменены существовавшие оптимальные нормы. Круг «Анналов», вдохновленный трудом Броделя, привлекал внимание к географическим факторам, демографии и изменениям в долгосрочной перспективе; Эрик Хобсбаум склонялся к марксистским взглядам с классовой перспективой. Сочетание исторического материализма с более общей социальной перспективой «Анналов» сделало его взгляды отдельным направлением. Билефельдская группа подчеркивала отношения общества и государства в перспективе социальных наук; новые левые, как и историки марксистского возрождения в целом фокусировались на классовой перспективе и ее воздействии на общество; а историки развивающихся обществ считали основополагающим воздействие политики европейских и североамериканских государств на бывшие колонии и остальной мир. Таким образом, хотя новые направления перевернули соотношение оптимальных норм и минимальных требований, их идеи относительно нового оптимума сильно различались и порой превращали их представителей в

откровенных врагов. Стоит усомниться и в том, что они считали друг друга союзниками в борьбе против общего противника.

Второй причиной, по которой интерес к социальной науке истории, не означал такого же изменения исторической дисциплины, как более ранние ее трансформации, явилось то, что существовавшие представления об основополагающей ценности методологических минимальных требований и важности нарративно-герменевтической политической истории были по-прежнему значимыми для существенных сегментов исторического сообщества. Это не означает, что инновации с трудом распространялись в сообществе. Напротив, в горячих спорах в Германии 1980-х гг. о том, чем должна заниматься история и как историк должен работать с прошлым (*Historikerstreit*), очевидно проявлялось то обстоятельство, что значительная часть – если не большинство – признанных историков хорошо представляли себе вызов, с которым столкнулись старые нормы, и отказывались принять нововведения⁷⁰. Хотя в других странах не было таких открытых разногласий в рамках исторических сообществ, но нет сомнений в том, что социальная наука истории не была принята всеми. Многие историки предпочитали придерживаться нормативной системы, которая доминировала раньше.

⁷⁰ *Peter, J.* Der Historikerstreit Und Die Suche Nach Einer Nationalen Identität Der Achtziger Jahre (Frankfurt/Main: Peter Lang, 1995); *Geiss, I.* Die Habermas-Kontroverse: Ein Deutscher Streit (Berlin: Siedler, 1988); *Habermas, Jürgen.* The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate (Cambridge, MASS: MIT P., 1989); *Wehler, Hans-Ulrich.* Entsorgung Der Deutschen Vergangenheit?: Ein Polemischer Essay Zum «Historikerstreit».

Профессионализм историка и историческое знание

Так исторический профессионализм достиг новой точки. Невозможно было прийти к согласию даже после того, как инновации перестали быть новыми. То, что раньше было единым сообществом историков, разделилось, и вместо средней фазы, существовавшей под знаком социальной науки истории, как говорит Иггерс, возникли разные виды профессионализма, которые пошли в разных направлениях.

От одного к нескольким сообществам

Если период 1950–1980-х гг. можно рассматривать как время двойных стандартов в истории, то это тем более верно по отношению к периоду, начавшемуся после 1980-х гг. К тому времени новые подходы к истории получили широкое распространение, их поддерживали историки, считавшие статистическую основу социальной истории утомительной и скучной. Социальная антропология уже предложила историкам новый взгляд, теперь в центре внимания оказались ментальности людей или групп. Это новое направление исторических исследований родилось в кругу «Анналов» и быстро распространилось по Европе и Северной Америке.

Когда постмодернизм был перенесен из литературы в поле истории, возникла еще более сложная ситуация. Встал вопрос, может ли история как дисциплина или ученая профессия когда-либо освободиться от подчинения языку настолько, чтобы стало возможным показывать нечто большее, чем сознание историка. Лингвистическая теория французского и российского происхождения была применена к истории и историческим источникам, а США, наконец, внесли свой вклад в виде теории

истории как риторики Хейдена Уайта, получившей поддержку многих, включая Ханса Келлнера и Франка Анкерсмита⁷¹. В 1990-х гг. казалось, что постмодернистская перспектива побеждает настолько, что сможет бросить вызов всем видам исторического профессионализма. Если бы теории Уайта и Анкерсмита победили, история была бы помещена в ту же категорию, что и литературные произведения. В своей книге 1997 г. Иггерс меланхолично формулировал вывод о возможном конце исторической дисциплины и просвещения.

Но катастрофы не произошло. Историки по-прежнему занимаются исследованиями и пишут книги. Их посредником, как и прежде, остается язык, а постмодернизм низложен до положения одного из многих направлений мысли, уже миновавших свою высшую точку. Многие молодые исследователи рассматривают его в качестве одной из многих опций, несмотря на содержащийся в нем вызов всей структуре.

Сообщество историков, которое стало создаваться при жизни Ранке им самим и его учениками, достигло своего расцвета в конце XIX – начале XX в. Затем возникла конкуренция, сначала таких специальностей, как экономическая история, затем – реформаторов самой

⁷¹ *White, Hayden. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe* (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins U.P., 1973); *White, Hayden Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism* (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins U.P., 1978); *White, Hayden. The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation* (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins U.P., 1987); *Kellner, Hans. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked* (Madison, Wis: U. of Wisconsin P., 1989); *Ankersmit, Frank. History and Topology. The Rise and Fall of Metaphor* (Berkeley etc.: U. of California P., 1994).

Профессионализм историка и историческое знание

дисциплины. Сообщество, несомненно, раскололось после успехов разных видов социальной истории, желавших превратиться в социальную науку. В последние два десятилетия XX в. и начале XXI столетия новые направления мысли приобрели влияние в историописании, но не достигли всеобщего признания. Теперь сообщество разделено не на две, а на несколько частей, каждая со своей программой.

Профессионализм историков не имеет больше опоры в едином сообществе. Формально дисциплина по-прежнему существует, но расхождения между учеными разных сообществ велики. Можно быть профессионалом согласно нескольким различным моделям, отчасти конфликтующим между собой, поэтому трудно утверждать, что именно твой профессионализм придает тебе особое положение и делает тебя «настоящим историком».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Возвращение историзма? Неоинституционализм и «исторический поворот» в социальных науках

В последние двадцать лет в социальных науках произошел «поворот» в сторону истории. Движущей силой этого тренда стал так называемый неоинституционализм. Существуют разные трактовки этого термина, но общее для них – признание особой роли социальных установлений для членов общества. «Социальные установления» в данном контексте означают некоторые ограничения или принуждения. Подразумевается, что люди не просто говорят: мне это нравится, и потому я выбираю именно это. Существуют социальные ограничения, принуждающие соблюдать определенные правила.

Люди действуют с оглядкой на общество, пытаясь понять, что от них требуется, какие ожидания на них возлагаются – со стороны работы, семьи, партии, церкви. Эти организации или институты сформировались исторически, они предъявляют индивиду вполне ощутимые требования, их влияние сказывается на желаниях и приоритетах людей. Так история (прошрое) воздействует на поступки человека, совершаемые в настоящее время. Коротко говоря, в этих тезисах и заключается суть того

Профессионализм историка и историческое знание

явления, которое мы называем новым институционализмом, или неoinституционализмом.

Следующие наблюдения призваны лишь очертить проблему. Итак, неoinституционализм и его следствие поворот к истории в социальных науках – не лишены предшественников. Особенно любопытно, что неoinституционализм схож с некоторыми формами историзма как течения мысли, характерного для середины XIX века.

Леопольд фон Ранке и Дуглас Норт – эти ученые, казалось бы, настолько далеки друг от друга, насколько это вообще возможно представить. Ранке (1795–1886) воспринимается как достопочтенный «памятник» историографии. Согласно его воззрениям история дает ответы на хитросплетения, острые вопросы современности и раскрывает секреты жизни. Прежде, до Ранке, эти вопросы считались прерогативой философии, ее доменом. Философы начала XIX века с пренебрежением относились к современникам-историкам.

Фихте считал историков, поглощенных работой с эмпирическими данными, неспособными к интеллектуальной рефлексии, которую может дать лишь философия. Ранке пересмотрел это положение. Он начал критику гегельянства, представлявшего историю как логический процесс развития, описываемый как тезис – антитезис – синтез. Подобный схоластический подход разрушает все жизненное, говорил Ранке в лекциях, посвященных характеристике исторических эпох (лекции адресовались королю Баварии)⁷². С тех пор, после 1854 года, Гегель нередко воспринимается как скучный и тенденциозный

⁷² R. Torstendahl. Professionalism as Ideology, in H. Joas & B. Klein (eds.), *The Benefit of Broad Horizons*, Leiden (Brill), 2010, 143–163.

мыслитель, представитель не яркой и живой мысли, но сухой теории, в то время как Ранке и историков его школы начинают воспринимать в качестве обладателей ключа к пониманию истинной жизни и истории человечества. Этот ключ и представлял собой то, что позже было суммировано в концепте «историзм» или «историцизм».

Второй из названных мной великих основателей двух направлений мысли – Дуглас Норт⁷³. Норт (р. 1920) был награжден в 1993 г. премией по экономике, учрежденной в честь Альфреда Нобеля (хотя Нобель никогда не предусматривал награждать экономистов). Норт получил экономическое образование, но уже в начале карьеры сделал главным направлением своих исследований экономическую историю. Он считал, что экономику следует изучать с точки зрения ее функционирования в обществе, а не по теоретическим моделям, как делали другие экономисты. Более того, полноценное изучение социальных феноменов предполагает их углубление в прошлое – непосредственно близкое или отдаленное.

Норт заглянул глубоко в прошлое и почерпнул из истории, начиная с ее первоначальных стадий, некоторые наблюдения над экономическими моделями. Работая над этим, он обнаружил нечто, для названия которого использовал позаимствованный у Ричарда Хайека термин *collective learning*. Коллективное знание состоит из опытов, прошедших проверку временем и уже вошедших в наш язык, институты, технологии и способы действия (как сказал Норт в своей нобелевской лекции). Коллективное знание составляет ядро его концепции института,

⁷³ О профессионалах в разных профессиях см. *Torstendahl. Professionalism as Ideology, in The Benefit of Broad Horizons*, 2010.

Профессионализм историка и историческое знание

который включает в себе фундаментальные для общества принципы и общественные идеи. В средневековой Западной Европе таким институтом являлась церковь, в настоящее время – рынок. Институты могут изменяться или исчезать, но их способы фильтрации нашего опыта меняются медленно. Благодаря такой «историзации» общества, Норт стал пророком для многих представителей социальных наук. В сущности, Норт придал новое значение концепту *path dependence*⁷⁴.

Кажется, этот термин появился в его книге «Институты, институциональные изменения и экономические представления» (опубликована в 1990 г.), употреблен там всего лишь несколько раз и заметной роли не играет. Но это не должно сбить с толку читателя: идея *path dependence* присутствует во всей второй части книги. Рынок и другие институты, понимаемые как системы правил, делают возможным создание организаций (например, торговых и индустриальных компаний). Институты «погружают» эти организации в историю: решения принимаются по определенным правилам. Поэтому они нацелены на непрерывность и традицию в данной системе правил. Таким образом, даже когда Норт не пользуется понятием *path dependence*, он придерживается именно этой идеи.

⁷⁴ Норт (North), Дуглас Сесил, американский экономист. Тесно связывал рыночную экономику с социальными и политическими институтами и считал, что изучение изменений последних должно быть неотъемлемой частью экономической теории. Первым в начале 1960-х гг. привлёк внимание к клиометрии, новому направлению в изучении экономической истории, основанному на статистическом анализе данных. The Nobel Prizes 1993 / Ed. by Tore Frängsmyr. Stockholm (Nobel Foundation), 1994 (internet, <http://nobelprizeorg>).

Сказанное относится к книге 1990 года. Я не собираюсь углубляться в анализ изменений, происходивших в размышлениях Норта. Достаточно заметить, что для многих специалистов стала неожиданной предложенная им интерпретация *path dependence*. Для понимания концепции Норта следует прояснить понятие «институт».

Норт является «институционалистом», а это означает, что он не разделяет позицию, подчеркивающую роль рынка и только рынка (во всех его ипостасях и проявлениях — экономической, политической, религиозной и других) как фактора, который формирует условия, определяющие поведение человека. Сторонники классических теорий, приверженцы особой роли рынка, развивают концепции о конкуренции товаров, идеологий и философий на уже упомянутых основаниях. Институционалисты же рассматривают как часть теории то, что было создано человеком в ходе истории и привнесено в развитие социальных систем и норм. В этом случае история является фундаментальным основанием.

И последнее замечание вводного характера. Существуют две точки зрения относительно того, какого рода социальные установления следует включать в понятие «институт». Некоторые понимают под «институтами» и нормативные системы (рынок, политическую демократию), и такие организации, как, например, парламенты разных стран или же отдельные компании.

Норт делает различие между нормативными системами, к которым относятся институты, функционирующие в соответствии со специфическими целями, заложенными в самом определяющем их понятии, и организациями, созданными в соответствии с нормами, типичными для институтов как таковых. Я продолжу более подробное

Профессионализм историка и историческое знание

развитие аргументации как одной, так и другой позиции, однако хотел бы подчеркнуть, что, по моему мнению, ни одна из них не является однозначно предпочтительной. Далее я буду употреблять те понятия и те их значения, которые использовал Норт.

Читатели могут возразить: мы согласны с тем, что и Ранке, и Норт, а также их последователи подчеркивают значимость истории. Однако данный факт не является основанием для утверждения о сходстве их идейных позиций. Понимание истории может иметь различные интерпретации, и два мыслителя могут вкладывать разное содержание в историческое развитие человечества. Это, несомненно, так, поэтому я более тщательно анализирую их аргументации, особенно аргументацию Ранке, которая относится к пониманию основ историзма.

Во введении к книге «История историзма»⁷⁵ Ф. Йегер и Й. Рюзен начинают со следующего заявления: «Историзм является специфическим стилем исторического мышления и соответствующего понимания исторической профессии. Это тип мышления, сосредоточенный на возможности познать специфику прошедших эпох как отличных от настоящего. В то же время этот стиль мышления направлен на поиск всеобъемлющих отношений между различными эпохами». Такая характеристика историзма является достаточно общепринятой, но ни в коей мере не единственной. О.Г. Эксле подчеркивает широкий диапазон использования и многозначность понятия историзма, так как он применялся представителя-

⁷⁵ Jaeger F. Rüsen J. Geschichte des Historismus. Eine Einführung. München, 1992 (в переводе я стремился быть как можно ближе к оригиналу, но не полностью передаю цитату. – Р.Т.).

ми различных областей знания и в разные исторические периоды⁷⁶.

С 1880-х гг. в Германии развернулась дискуссия по поводу понятия *Historismus*⁷⁷. Само понятие имеет более раннее происхождение, но стало употребляться для обозначения определенной историографической школы с 1930-х гг., когда Фридрих Майнеке ввел его в оборот в том смысле, который и стал доминирующим в ходе названной дискуссии в Германии⁷⁸. Более ранним было понимание историзма как «фундаментальной историзации размышлений по поводу человечества, его культуры и ценностей», если заимствовать формулировку, предложенную Эрнстом Трельчем в 1922 г.⁷⁹ Но если вернуться к Ранке и его взгляду на историю (который он еще не называл историзмом), то основные положения, как представляется, выглядят следующим образом:

1) европейские народы составляют специфическое сообщество в смысле общей идентичности, которая укреплялась ими в процессе войн и борьбы за превосходство;

2) государства представляют собой образования, которым присуще собственное (коллективное) понимание обязанностей их подданных;

⁷⁶ Oexle O.G. *Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus*. Göttingen, 1996. S. 41–53.

⁷⁷ Iggers G. *Historismus im Meinungsstreit* // Oexle O.G. & Rüsen J. (eds.). *Historismus in den Kulturwissenschaften*. Köln etc., 1996. P. 7–27.

⁷⁸ Meinecke F. *Die Entstehung des Historismus*. Vol. 1–2, München, 1936.

⁷⁹ *Der Historismus und seine Probleme*, Gesammelte Schriften 3 (1922/1977). P. 9.

Профессионализм историка и историческое знание

3) нельзя рассматривать времена, события или ситуации только как средство достижения последующей фазы истории («каждая эпоха прямо связана с Богом»⁸⁰, – говорил Ранке, – и это означает, что она имеет свою собственную особую ценность);

4) непрерывность (и отсутствие резких скачков) создают историю человечества.

В современных работах, особенно в исследованиях Рюзена, заметна тенденция рассматривать *Historismus* как способ или метод организации знания. Для него особое значение имеет то, как Ранке и последующие историцисты учились извлекать знание о прошлом, нежели что они считали наиболее важным в прошлом, в чем, по их мнению, была суть историзма. Рюзен назвал это *Wissenschaftsparadigma* [парадигмой научного знания]. Основными составляющими понимания историзма Ранке он считал беспристрастность историка и значимость работы с первоисточниками. В этом отношении нет единства мнений. Так, для Трёлляча решающим был имевший философскую основу вопрос что: что было важным в концепции истории Ранке? Что составляло основу исторического развития? Что представляла собой мотивация поступков человека в прошлом? Многие следовали за Трёлльчем, рассматривая поставленные вопросы как фундаментальные для понимания историзма Ранке.

Георг Иггерс обратил внимание на то, что за пределами Германии в академическом сообществе конца XIX столетия не было общепринятым связывать с именем Ранке разрыв с предшествовавшей традицией. Габриель Моно видел в нем одного из тех историков, которые спо-

⁸⁰ Ranke, Leopold von. Op. cit. P. 59–63.

собствовали трансформации исторической дисциплины к середине столетия. Неверно было бы, как справедливо отмечает Иггерс, полагать, что Ранке сформировал традицию профессиональной подготовки историков, за которую впоследствии его превозносили американские, немецкие и немецкие европейские историки.

Немецкие неоранкеанцы (особое направление исторической мысли, расцвет которого приходится на рубеж XIX и XX вв.) преодолели некоторые метафизические предположения, из которых исходил Ранке. Как подчеркивал Иггерс, «для Ранке государство – это “идея Бога”, соединявшая в себе идеальное и реальное, и это теоретическое наследие было впоследствии развито неоранкеанцами»⁸¹.

Невозможно решить, что в действительности представляет собой историзм. Есть ряд различных интерпретаций, основанных на разных текстах, относящихся к разным периодам. Если оставаться в рамках творчества Ранке и его времени, то тогда мы должны отказаться от признания историзма как методологии. Для Ранке другие аспекты были гораздо более важными, чем метод, даже если он и комментировал эту тему. Возможно, он и обучал своих учеников методам (наряду с другими вещами), но наиболее значимыми для него в процессе обучения были идеи государства и континуитета, идеи, которые оказали глубокое воздействие на всех его учеников и последователей и имели фундаментальное значение для формирования исторического сообщества, состо-

⁸¹ Iggers G. The crisis of the Rankean paradigm in the nineteenth century // Iggers G.G. & Powell J.M. (eds.). Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline. Syracuse (Syracuse U.P.), 1989. P. 170–179.

Профессионализм историка и историческое знание

явшего из тех, кто разделял эти взгляды и нормы⁸². Это сообщество разделяло идеи европейской исторической идентичности, непрерывности всего процесса развития и божественной коллективной природы государства. Идеалистически-реалистическая (*real-geistlich*) природа государства, понимаемая как божественная идея (*die Gedenken Gottes*), распространялась и на все государственные институты.

В контексте философии периода Романтизма не следует понимать термин «божественное» слишком буквально. В основном, он служит раскрытию особой природы тех явлений, которые характеризует и которые находятся над уровнем повседневности, творений рук человеческих, имеют отношение к вечности. Идея «круга» или цикла в интерпретации Ранке акцентирует возможность для историка рассматривать каждый период и общество как обладающее собственными целями, но не как ступеньку к чему-то еще.

Если следовать Рюзену, то нет ничего удивительного в обнаружении сходства между историзмом и экономическим институционализмом. Развивая различные интерпретации по поводу исторического места *историзма*, Рюзен придерживается идеи об отсутствии противоречий в истории. По его мнению, *историзм* не заменил философию Просвещения, а вобрал ее в себя. Поэтому философия Просвещения не возродилась в идее «современности» (модерне) и модернизации в XX в., скорее, все разрывы между эпохами стерты и *историзму* нет

⁸² Iggers G. The crisis of the Rankean paradigm in the nineteenth century // Iggers G.G. & Powell J.M. (eds.). Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline. Syracuse (Syracuse U.P.), 1989. P. 170–179.

конца⁸³. *Историзм*, таким образом, оказывается способным выживать в новых формах.

В Германии состоялась бурная дискуссия по этому поводу. Обсуждался вопрос, принадлежит *историзм* определенному периоду развития историографии или нет. Позиция Рюзена представляется привлекательной, но слишком упрощенной. Предполагается, что различные позиции в истории идей способны выжить в новых формах внутри последующих, успешно конкурировавших с ними направлений науки и философии. Противоречия, таким образом, полностью исчезают. Очевидно, что Рюзен не это имеет в виду. Однако если считать, что содержание понятий «модерн» и «прогресс» вбирает в себя концепт *историзма*, толкуемый в этом духе, то такой взгляд на историю представляется весьма перспективным⁸⁴.

Соблазнительно разрешить дискуссию о *Просвещении, историзме и модерне*, декларировав, что существует «встроенное» в человеческий разум неразрешимое противоречие между ретроспективной, исторической интерпретацией изменений в настоящем и прошлом, с одной стороны, и проспективной их интерпретацией с точки зрения прогресса и пользы – с другой. Любое заявление такого рода является, однако, несерьезным, так как мы не знаем, существовало ли данное положение всегда и распространяется ли оно повсеместно. Кроме того, мы должны исключить возможность других аль-

⁸³ Я разберу позже в краткой форме вопрос о важности научного сообщества для развития профессионализма.

⁸⁴ Rösen J. Historismus als Wissenschaftsparadigma. Leistung und Grenzen eines strukturgeschichtlichen Ansatzes der Historiographieggeschichte // Historismus in den Kulturwissenschaften. P. 126.

тернатив, что непросто. Представляется, что постмодернизм стал попыткой сделать иной выбор, и эстетизм Хейдена Уайта и Франка Анкерсмита, возможно, создаст одну из альтернатив⁸⁵.

Когда я говорил, что институционализм Норта является возвращением *историзма*, я не имел в виду, что он включает в себя более ранние идеи научных школ. Напротив, я полагаю, что *историзм* и родственные ему идеи умерли достаточно давно и не участвовали в формировании теорий социальных наук. Историзация человеческого опыта, предпринятая Нортом, вновь пробудила их к жизни. Это было сделано им не на индивидуальном уровне, что следовало бы ожидать от ученого, представляющего сциентистское направление экономической мысли, существенным элементом которой является методологический индивидуализм. Норт, совершенно так же, как Ранке и некоторые другие историки XIX столетия, являвшиеся представителями этой школы, воспринимает институты и коллективы как некие образования, аккумулирующие опыт. Отдельные люди, действующие внутри организаций, которые в соответствии с позицией Норта являются институтами, связаны коллективным опытом этих организаций.

Различие между *историзмом* историков XIX века и Норта, в основном, состоит в том, что Норт редко рас-

⁸⁵ Рюзен допускает амбивалентное высказывание по этому поводу. С одной стороны, он указывает, что *Historismus* – это эквивалент *Verwissenschaftlichung* истории (т.е. речь идет о профессионализации с упором на нормативную систему дисциплины). С другой стороны, Рюзен подчеркивает переломный момент от XIX к XX в., когда парадигма *Historismus* отступает под влиянием социальных наук с их аналитическими методами. (Ibid. P. 129–30, 133–34).

суждает о действиях политиков и их окружения, а больше о менеджерах компаний или администраторах государственных учреждений и их окружении. Тем не менее у них сходная проблематика: прошлое – это не только база для интерпретаций актуальной ситуации, история накладывает свои ограничения на возможные действия акторов. В этом *историзм* и неонституционализм Норта совпадают.

Норт утверждает: «Теория *path dependence* является способом концептуально сузить диапазон выбора и связать во времени процесс принятия решений. Это не рассказ о неизбежности, при которой прошлое предрекает будущее... Мы можем теперь интегрировать изменения, связанные с *path dependence*, в институты, которые характеризуются устойчивыми моделями долговременного роста или упадка. Поскольку зависимое от пройденного пути направление развития уже определено, сеть внешних обстоятельств, процесс формирования организаций и исторически обусловленное субъективное моделирование результатов закрепляют это направление»⁸⁶.

Фактически Норт разработал понятие *path dependence* и развил некоторые его аспекты достаточно недавно. Цитата из его книги «Понимание процесса экономических изменений», опубликованной в 2005 г., дает представление об этих новых аспектах. «Вопрос, как человеческие общества пытаются сформировать свое будущее, заставляет нас иметь дело непосредственно с фундаментальным аспектом процесса изменений, его исторической природой. Мы не в состоянии понять, куда мы идем, без

⁸⁶ North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge etc., 1990. P. 98–99.

понимания того, где мы находились. Как соотносится прошлое с настоящим и будущим – это и есть содержание понятия *path dependence*, понятия, которое используется, используется неверно и использованием которого злоупотребляют»⁸⁷. В этой связи Норт развенчивает суждение о том, что идея *path dependence* означает только то, что «выбор настоящего определяется системой институтов, унаследованных от прошлого».

Смысл этого понятия значительно шире. Идея *path dependence* «в более всестороннем ее понимании» требует признания того, что институты порождают организации, «выживание которых зависит от увековечивания этих институтов». И эти организации, в свою очередь, предоставляют ресурсы для поддержания жизнеспособности соответствующих институтов. Однако Норт не удовлетворяется этим объяснением и предлагает еще более емкое понимание *path dependence*: «Взаимодействие убеждений, институтов и организаций во всеобъемлющей структуре артефактов делает *path dependence* фундаментальным фактором непрерывности развития общества»⁸⁸.

Таким образом, Норт выделяет три уровня понимания *path dependence*. Первый состоит в том, что мы постоянно обращаемся к прошлому, когда осуществляем свой выбор

⁸⁷ White H. Interpretation in History and The Historical Text as Literary Artefact // White H. Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism. Baltimore & London (John Hopkins U.P.), 1978; Ankersmit Frank. Historical Representation // History and Tropology. Rise and Fall of the Metaphor. Berkeley, Los Angeles & London, 1994. См.: Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Пер. с англ. М. Кукарцевой, Е. Коломоец, В. Катаева. М., 2003.

⁸⁸ Ibid. P. 52.

будущего. Это объяснение было отброшено как неинтересное. Второй – предполагает, что организации (в понимании Норта) имеют законный интерес в континуитете институтов, унаследованных от прошлого. Организации не приемлют неожиданных изменений в обществе, а, наоборот, заинтересованы в том, чтобы оно продолжало движение по избранному пути. Наконец, третий смысловой уровень включает системы верований и убеждений, которые, как и организации и институты, призваны сохранять непрерывность социального развития. Сам человеческий разум – основной творец *path dependence*⁸⁹. Общества, вместо того чтобы впадать в зависимость от революционных изменений (их считал необходимыми во избежание жесткости социальной структуры Манкур Олсон⁹⁰), приобретают «эффективный механизм адаптации», посредством которого они меняют или создают институты по мере возникновения новых проблем⁹¹.

Норт защищает идеи, созвучные концепции исторического развития, которую Ранке надолго ввел в обиход историков. Эта концепция состоит в том, что изменения носят постепенный характер и зависят от предыдущего опыта и знаний, накопленных социумом.

⁸⁹ North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge etc., 1990. P. 98–99.

⁹⁰ Olson M. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. New Haven (Yale U.P.), 1982. На рус. яз.: Возвышение и упадок народов: Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. Новосибирск, 1998. См. также: Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. – М., 1995.

⁹¹ *Idem*. Understanding the Process of Economic Change. Princeton & Oxford (Princeton U.P.), 2005. P. 51–52.

Однако есть весьма существенное различие между концепциями развития общества, предложенными Ранке и Нормом. Для Ранке государство всегда являлось несущей конструкцией общества, и все социальные организации, которые он считал достойными упоминания, были органами государства. Они являлись либо политическими организмами, имеющими собственные права (парламенты, государственные советы, правительства и т.п.), либо административными единицами, обеспечивающими поддержку монарха или других акторов, принимающих политические решения. Для Норта главная структура – это общество, и он редко упоминает о государствах, даже при определении политической стратегии. Интересы Норта лежат в такой области, как процесс изменения в сфере общественной экономики; главные элементы, которые он признает и рассматривает, – те, что влияют на спрос и предложение.

Несмотря на фундаментальные различия во взглядах и оценках значимости изучения разных аспектов исторической жизни, в выборе тех из них, о которых стоит писать, оба исследователя демонстрируют глубокое согласие по вопросам исторического развития и понимания истории. Используя разные термины (это легко приводит к тому, что аналитик не улавливает сходства их идей), они описывали тот же континуитет и то же представление о коллективном опыте, который как бы накладывает история на общество и индивидов. Понимание мира и Ранке, и Нормом определяется историческим развитием, аккумулируемым в социальных образованиях, которые окружают индивида. *Path dependence* – это современная вариация, новый термин для обозначения понятия, которое всегда стремился акцентировать Ранке, речь идет о

Рольф Тоштендаль

Geschichtlichkeit [историчности]. Оба концепта опираются на представление о том, что социальная жизнь не поле импровизаций; этот процесс развивается исторически, не становясь, однако, предсказуемым.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Диспуты, семинары и профессиональное сообщество: конец комплексной подготовки профессиональных историков

Когда молодой шведский историк Фредрик Фердинанд Карлсон (1811 – 1887) путешествовал по Европе в 1834–1836 гг., он побывал в Италии, Австрии, Франции и провел довольно много времени в Германии. Он учился в нескольких университетах, и его выбор не был случайным. Его целью было получить хорошее всестороннее образование, подобающее будущему историку.

Визиты конкретным людям имели место, в основном, в Германии, сам Карлсон отметил, что в Австрии от вас ожидают, что «вы станете наносить визиты ученым». Он не упоминает о подобных визитах в Италии или Франции, но подробно рассказывает о встречах, состоявшихся в Германии⁹². Только что став магистром (в Швеции

⁹² Дневник Карлсона за время путешествия, 1834–1836 гг., The Swedish National Archive (Riksarkivet), Stockholm, Carlson's collection. Я подробнее писал об этом дневнике в моей неопубликованной диссертации лиценциата (*R. Torstendahl, F.F. Carlson som historiker intill 1857* [1961]), а также недавно в короткой историографической статье: Fredrik Ferdinand Carlson in: R. Björk and Alf W. Johansson (eds.), *Svenska historiker*, Stockholm (Norstedts), 2009. Стоит отметить, что дневник трудно читать, он полон странных сокращений личного характера. Здесь упомянуты только имена, которые легко читаются.

Рольф Тоштендаль

тогда еще не существовало более высокой ученой степени на философских факультетах, в отличие от Германии, где, как обнаружил Карлсон, легко можно было стать доктором наук), он получил рекомендации к лучшим ученым от своих преподавателей из Упсалы. Встречаясь с ними, молодой человек порой получал рекомендательные письма к другим ученым и т.п. Карлсон использовал эти встречи для расширения своих контактов, нанес визиты множеству профессоров, зачастую слушал их лекции, если встречался с ними во время семестра. Он стремился обрести связи с представителями разных факультетов, но в своем дневнике рассказывал, в основном, о визитах к многочисленным профессорам философии, ряду богословов, нескольким историкам права, многим историкам и археологам. Карлсон встречался с такими выдающимися личностями, как Франц Грильпарцер и Август Вильгельм фон Шлегель, с философами Францем Баадером и Эдуардом Гансом, филологами Якобом Гриммом и Георгом Фридрихом Кретцером, археологами Карлом Готфридом Мюллером, Фридрихом Вилкеном и Эдуардом Герхардом, общался с Карлом Фридрихом Эйхгорном и Карлом фон Савиньи, самыми известными историками права своего времени, а также с прославленными историками своего времени: Фридрихом Кристофом Дальманном, Арнольдом Херрманном, Людвигом Геереном, Генрихом Лео, Фридрихом фон Раумером, и, что важнее всего, с Леопольдом фон Ранке.

У нас еще будут причины вернуться к Карлсону, но прежде стоит отметить ряд обстоятельств, связанных с его перемещениями по Германии. Очевидно, что ни он сам, ни его наставники при помощи рекомендательных писем, которые он просил и получал, не пытались напра-

Профессионализм историка и историческое знание

путь его в какое-то определенное русло. Письма служили лишь средством войти в мир ученых, как это было тогда принято. В то же время подобное письмо от наставника означало, что он не забыл своих старых друзей на континенте. Карлсон использовал рекомендации именно так, как это и подразумевалось. Он наносил визиты в домах, кому были адресованы рекомендательные письма, и встречался с ними там. Зачастую он знакомился с их семьями и близкими знакомыми, слушал их лекции, когда это оказывалось возможным. Предметами этих лекций были философия, богословие, право и история всех периодов. Он явно стремился расширить свои научные горизонты. Записи в его дневнике содержат порой резкую критику того, что говорили некоторые авторитетные ученые, но его доводы сводились к тому, что их лекции были всего лишь «невнятным бормотанием» и не подразумевали отсутствия интереса к предмету или критике метода.

Формирование академического сообщества профессором Ранке

У Ранке Карлсон нашел нечто иное. Он был одним из многих немецких и иностранных студентов, собиравшихся вокруг ученого, чья репутация тогда росла. Многие студенты, безусловно, приняли идеи истории Ранке и находились под впечатлением от его методов преподавания. И хотя Карлсон был не слишком щедр на похвалу в своем дневнике, он несколько раз отмечал, что лекции Ранке – интересные и пробуждают мысль. Карлсон изучал и работы Ранке (его История пап прямо упомянута в нескольких местах). Впечатление, произведенное

Ранке, подтверждается тем, что его лекции Карлсон слушал чаще, чем лекции любого другого профессора. Из дневника следует, что ему было позволено участвовать в *Übungen* [практикумах] Ранке⁹³. Это примечательно, поскольку оказаться в числе избранных считалось большой честью⁹⁴.

Остальные профессора были местными или, в крайнем случае, национальными знаменитостями, но Ранке привлекал слушателей со всего мира. Широкий круг успешных историков рассматривал его в качестве лучшего представителя своей дисциплины. Как показали Конрад Фаррентрапп и Гюнтер Берг, Ранке был выдающимся преподавателем своего времени. Фаррентрапп процитировал ряд весьма лестных писем, исполненных восхищения, но стоит помнить: часть информации исходит от празднований дней рождения Ранке или академических юбилеев⁹⁵. Берг в своих работах пытался не только представить обзор содержания лекций и семинаров Ранке, но и проанализировать масштаб его влияния на слушателей. По его подсчетам, лекции Ранке прослушали около 1100 человек на протяжении всех 85 курсов, но эта цифра весьма приблизительна. Слушателями

⁹³ *Übung* Ранке (Sw. *övning*) упоминается дважды, 18 ноября и 2 декабря 1835 г., но Sw. *hos Ranke* (дома у Ранке или, возможно, на лекции Ранке) встречается часто.

⁹⁴ *Berg G. Leopold von Ranke als akademischer Lehrer* (Göttingen 1968) 52–56. Берг упоминает Карлсона в своем списке слушателей Ранке и отмечает его как участника *Übungen*, хотя и отмечает, что точное время этого неизвестно.

⁹⁵ *Varrentrapp C. Briefe an Ranke von einigen seiner Schüler: Sybel, Carlson, Herrmann, Pauli und Noorden, Historische Zeitschrift* 107 (1911) 44–69, особ. 62–64, 68–69.

являлись не только студенты. Последние обязаны были регистрироваться, и их число значительно колебалось. К тому же большинство оригиналов регистрационных списков погибло. Берг использовал случайные наблюдения и другие источники, чтобы представить более точную картину. Согласно его подсчетам, в 1820-х – начале 1830-х гг. число студентов выросло с двадцати или тридцати почти до пятидесяти (в 1835 г.) и превысило сто человек (в 1837 г.). Своего пика популярность Ранке достигла в 1841–1842 гг., когда студентов было более 150. После 1848 г. число студентов, слушавших курсы Ранке, резко упало, и в 1860 г. их снова было лишь двадцать⁹⁶. (По сведениям Карла Рисберга Эскилдена, Ранке как лектора все больше критиковали в 1860-х гг.⁹⁷) Для составления списка из почти пятисот имен известных слушателей Ранке Берг использовал биографии студентов, многие из которых посещали не один курс, а также сохранившийся список участников *Übungen* Ранке 1865 г.⁹⁸, включавший не только студентов, но и другие категории слушателей. Больше всего впечатляет количество иностранцев (и не только европейцев), записавшихся на курсы слушателями. Многие из них оставались участниками *Übungen* несколько лет.

Карлсон подружился с ближайшими учениками Ранке, особенно с Альфредом фон Роймонтом, позднее – дипломатом и другом Ранке; Эрнстом Геррманном, став-

⁹⁶ Ibidem, 56–57.

⁹⁷ *Eskildsen K.R.* Leopold von Ranke, la passion de la critique et le séminaire d'histoire' in: C. Jacob ed., *Lieux de savoir. Espaces et communautés* (Paris 2007), 471.

⁹⁸ *Berg.* Leopold von Ranke, 220–242.

шим профессором в Марбурге; Георгом Вайтцем, вскоре прославившимся как редактор *Monumenta Germaniae historica* и профессор в университетах Киль и Гёттингена⁹⁹. Они встречались за общим ужином, и дискуссии в таких случаях проходили весьма оживленно. Вопреки привычке, эти встречи Карлсон описывал в своем дневнике весьма обстоятельно. Зачастую там высказывались мнения о немецких историках того времени, особенно старшего поколения, и Раумер, Шлоссер, Геерен и Лео нередко подвергались суровой критике.

Даже если бы Карлсон не заявлял об этом в дневнике, он очевидно находился под влиянием Ранке и собравшихся вокруг него молодых ученых. Точнее будет сказать, он разделил их взгляды и подходы, стал членом «академического сообщества», новой группы, выраставшей рядом с Ранке. До этого профессора не создавали «школ», выходивших за рамки личной верности и местного признания. Так рождалось международное академическое сообщество¹⁰⁰.

Карлсон стал ранкеанцем и привез свои свежеприобретенные убеждения домой, в Швецию. По возвращении, в 1836 г., он отправил Ранке письмо, в котором выразил благодарность «за многие блага, приобретенные в ваших наставлениях» и за любезный прием, оказанный ему в Берлине¹⁰¹. В 1877 г. Карлсон, уже будучи министром, содействовал награждению Ранке шведским орденом Полярной Звезды. В благодарность ученый по-

⁹⁹ Письма от Реймонта и Вайтца. National Archives, Stockholm, Carlson's collection.

¹⁰⁰ См. выше, гл. 2.

¹⁰¹ *Varrentrapp. Briefe an Ranke*, 44–69.

слал экземпляры своей работы о Харденберге Карлсону и королю Швеции¹⁰². В сопроводительном письме бывшему ученику он признался, что те дни, когда Карлсон и другие слушали его лекции, были лучшими в его преподавательской карьере¹⁰³.

У себя на родине Карлсон стал влиятельным профессором (с 1849 г.), политиком, министром церкви и образования, но, несмотря на многочисленные обязанности, никогда не забывал, что он историк, и в 1860-х гг. основал историческую ассоциацию в Упсале, членами которой стали его студенты. Первые собрания ассоциации под председательством Карлсона проходили в форме семинаров (или *Übungen*) в духе Ранке, но через несколько месяцев ему пришлось вернуться к своим обязанностям в Стокгольм¹⁰⁴. В 1880 г. Карлсон был избран первым президентом Шведской исторической ассоциации, сформировавшей национальную платформу для историков и издававшей журнал *Historisk tidskrif*. В 1850-х гг. ученый издал первые два тома своего главного труда – шведской

¹⁰² Карлсон был министром церкви и образования в 1863–1870 и 1875–1878 гг.

¹⁰³ Письмо датировано 6 января 1878 г. National Archives, Stockholm, Carlson's collection.

¹⁰⁴ *Torstendahl R.* Disputation eller information. Den pedagogiska linjen i Historiska föreningens verksamhet in: *Hundra års historisk diskussion. Historiska föreningen i Uppsala, 1862–1962. Studia historica Uppsaliensia* 8 (Uppsala 1962), 9–48; *Torstendahl R.* Fredrik Ferdinand Carlson, 209; *Torstendahl R.* Att göra studenter till professionella historiker, in D. Ludvigsson (ed.), *Historiker i vardag och fest. Historiska föreningen i till professionella historiker», in D. Ludvigsson (ed.), Historiker i vardag och fest. Historiska föreningen i Uppsala 1862–2012, Uppsala (Stud. hist. Ups. 124), 25–40.*

Рольф Тоштендаль

политической истории 1654–1718 гг., в 1880-х он все еще трудился над восьмым томом, так и не успев завершить его до своей смерти в 1887-м. В этой работе влияние Ранке очевидно. Но тон на международной арене и в самой Швеции уже задавали историки других направлений, значительно отличавшихся от стиля Ранке.

Жизнь Карлсона-ученого хорошо иллюстрирует то, что происходило с исторической дисциплиной между 1830 и 1880 годами. Когда в 1834 г. молодой магистр отправился в тур по Европе, его цель, которую разделял и его преподаватель истории Эрик Густаф Гейер, состояла в ознакомлении с разными взглядами на то, как следует писать историю, с различными представлениями о методе, содержании и стиле исследований. Позднее, когда Карлсон не был поглощен политикой, он постоянно работал, развивая исторический профессионализм ранкеанского типа.

Роль диспутов

В начале XIX в. история рассматривалась как род общего знания. Те чиновники и преподаватели, которым читался несколько растянутый курс истории, нуждались лишь в общем обзоре. Еще более общие сведения получали студенты младших курсов, слушавшие лекции на кафедре истории (и всех остальных кафедрах) для того, чтобы получить разрешение учиться на «высших» факультетах богословия, права и медицины. Немногие из них оставались в университетах с тем, чтобы стать профессорами, но и они не сразу решились отказаться от занятий другими дисциплинами и специализироваться в истории.

Профессионализм историка и историческое знание

Традиционная система университетского преподавания истории, как и других дисциплин, основывалась на лекциях профессоров и назначенных преподавателей, обладавших *venia legendi* или *ius docendi*, то есть имевших разрешение читать лекции или право преподавать. Чтобы стать преподавателем и занимать определенные государственные посты, недостаточно было прослушать лекции и сдать экзамен. Студент должен был принимать активное участие в диспутах.

Специальной истории *disputatio* по историческим предметам не существует. Вид дискуссии, охватываемый этим термином, – старая средневековая их форма, возникшая вместе с университетами. Она развилась в разные виды диспутов, определявшиеся, скорее, формой и целью дискуссий, нежели их темой, особенно если речь шла о дискуссии на «низшем» факультете философии, охватывавшем разные виды наук и искусств. Исторические предметы не были выделены в особый вид до конца XVI – начала XVII в.

Диспуты должны были показать, способен ли их участник усвоить знания, необходимые для обоснования какого-либо положения или группы связанных между собой положений. Это могли быть тезисы в нашем понимании термина (такие, как 95 тезисов, которые Лютер прибил к двери замковой церкви в Виттенберге), или же текст, сообщавший о выводах некоего профессора с рядом присоединенных к нему положений. Позднее это мог быть документ, написанный самим защищающимся, где демонстрировались результаты его исследования. Данная форма и в XXI веке используется при получении степени доктора философии. (Степень магистра в XIX в. превратилась в докторскую степень.)

Когда в европейских университетах впервые появился *disputatio*, он считался формой дискуссии, зародившейся в античной Греции. Диалоги Платона дают прекрасный пример того, какими представлялись идеальные диспуты. Сократ представал в качестве идеального преподавателя, который заставлял оппонентов признать то, что они вначале отрицали, демонстрируя таким образом силу своего метода преподавания, *maieutike techne*, то есть искусства подачи материала. Парижский университет был лидером интеллектуального обмена мнениями такого рода. Как показано Ольгой Вейерс, диспут являлся одной из трех основных форм преподавания в университете периода Высокого средневековья: *lectio* (занятие), *quaestiones* (вопросы) и *disputatio* (диспут). Последний принимал разные формы в зависимости от факультета¹⁰⁵. От Античности средневековые университеты унаследовали систему упражнений, являвшихся одновременно риторическими и диалектическими. Диалектические упражнения разыгрывались между двумя учеными оппонентами, но самым популярным был схоластический диспут. Он заключался в рассмотрении вопроса в ходе дискуссии между магистром и его студентами или между несколькими магистрами и бакалаврами. Вейерс подчеркивает разнообразие форм диспутов в системе образования, а также предметов дискуссии. Диспут мог возникнуть на основе лекции, но чаще всего принимал форму вопроса. Обычно темой диспута становился вопрос, часто возникавший в ходе чтения текста, целью дискуссии было нахождение правильного ответа. Ма-

¹⁰⁵ Weijers Olga. La disputatio à la Faculté des arts de Paris (1200–1350 environ), Amsterdam (Brepols), 1995.

гистр играл важную роль в определении окончательного ответа, взвешивая и сопоставляя доводы *respondentes* и *opponentes*¹⁰⁶. Тем не менее существовали диспуты без заданной темы, так называемые диспуты *quodlibet*, когда магистр должен был отвечать на любые вопросы, заданные любым участником. То были торжественные диспуты, устраивавшиеся только перед Рождеством или Пасхой, но очень популярные в Европе XIV в. В Эрфурте, Праге и Париже диспуты *quodlibet* стали традиционными.

Если в Позднее Средневековье диспуты отличались большим разнообразием, то в европейских университетах XVI и XVII вв. усилилась тенденция единообразия. Инструментом перемен стало издание пособий по искусству устроения диспутов. Во-первых, гуманисты в континентальных университетах подчеркнули различие между «современным» диспутом и обычаями «древних». Во-вторых, пособия излагали четкие правила ведения диспута. Хотя между авторами пособий и случались разногласия, они сходились в ряде важных вопросов и стремились к общим целям¹⁰⁷.

Главным новшеством, согласно Дональду Фелипе, стала стандартизация ролей оппонента, респондента и *praeses*. Поиск значимого ответа на некий фундаментальный вопрос больше не являлся предметом диспута. Респондент должен был защищать свой тезис от воз-

¹⁰⁶ Weijers Olga. Disputations at the medieval universities, in Marion Gindhart & Ursula Kundert (eds.), *Disputatio 1200–1800. Form Funktion und Wirkung eines Leitmediums universitärer Wissenskultur*, Berlin & New York (De Gruyter) 2010, 21–33.

¹⁰⁷ Felipe Donald. Ways of disputing and *principia* in 17th century German disputation handbooks, in Gindhart & Kundert 2010, 34–61.

ражений оппонента, но он не был обязан доказывать свою точку зрения. Оппонент должен был использовать силлогическую форму в своих доводах против респондента. *Praeses* рассматривался как «старший» или «глава» по отношению к респонденту (так у Фелипе), он имел право исправлять и подкреплять ответы респондента. Он также мог направлять и наставлять оппонента в его работе¹⁰⁸. Поскольку основные принципы ведения диспутов были установлены в XVI в., задача реформаторов XVII в. заключалась в оттачивании формы, и Фелипе показывал, как три пособия, написанные Иоганном Фельвингером, Иоганном Конрадом Даннхауером и Абрахамом Каловым, отмечали все детали диспутов и их организации. Важность этих пособий заключалась, по мнению Фелипе, скорее в широком наборе тем, считавшихся подходящими для обсуждения, чем в своде правил¹⁰⁹.

Ханспетер Марти считал важным водоразделом в истории диспута зарождение в XVII в. традиции публиковать диссертацию. Текст, таким образом, стал играть новую важную роль в рамках процедуры, а диссертация обрела вес по сравнению с устной дискуссией. Конечно, устная часть защиты диссертации осталась, но она все время должна была соотноситься с опубликованным текстом и его содержанием¹¹⁰. Марти назвал 1680 г. примерной датой, до которой главным являлся диспут, хотя

¹⁰⁸ *Felipe Donald*. 2010, 35–38.

¹⁰⁹ *Felipe*. 2010, 60–61.

¹¹⁰ *Marti Hanspeter*. Disputation und Dissertation. Kontinuität und Wandel im 18. Jahrhundert, in Gindhart & Kundert 2010, 63–85, esp. 64–66, 68.

и ранее диссертации хранились в особых коллекциях¹¹¹. Он отмечал, что в XVIII в. известные профессора жаловались на использование заранее написанных речей во время диспута и осуждали то, что считали механическим производством диссертаций¹¹². Влиятельные *praesides* превращали диспуты в некий вид сражений, и в середине XVIII в. многие были этим не довольны¹¹³. Реформаторы, считавшие, что с усилением *praesides* оппоненты утратили влияние, требовали усилить весомость мнения последних. Критики диспутов стремились подчеркнуть содержание, а не форму дискуссии относительно темы диссертации. Некоторые считали даже, что и язык, на котором формулируются аргументы, не важен. Подобные вызовы традиционализму и царству латыни в академических коммуникациях были еще редкостью, но тенденция просматривалась отчетливо: от процедуры к содержанию. Ритуальные диспуты, по мнению ряда критиков, следовало запретить, а дискуссии должны стать полезнее для нужд современного государства и общества¹¹⁴.

Вплоть до начала XIX в. диспуты оставались делом всего факультета, а не только одной дисциплины в его рамках. Уже в Средневековье диспуты, проводимые на разных факультетах, отличались друг от друга, но это были незначительные вариации общей темы, зависевшие главным образом от особенностей трех «высших факультетов». Поскольку меня здесь прежде всего инте-

¹¹¹ Marti. 2010, 72f.

¹¹² Marti. 2010, 74.

¹¹³ Marti. 2010, 76–77.

¹¹⁴ Marti. 2010, 83–85.

Рольф Тоштендаль

ресует профессионализм в одной дисциплине – истории, я не стану говорить о различиях, но подчеркну единообразие диспутов в рамках факультета искусств, который только в XVIII в. превратился в философский факультет и только в середине XIX в. стал равным факультетам богословия, права и медицины.

Длительное доминирование устных дискуссий и фокус на достижениях респондента и оппонента во время самого диспута были характерными, но не общими чертами. Наиболее важным стало постепенное возрастание роли *praeses*, который в XVII и XVIII вв. мог задавать вопросы, исправлять и респондента, и оппонента. Отчасти это объяснялось тем, что диспуты оставались частью университетского образования.

В XIX в. университет начал приобретать новую роль. Подающему надежды студенту было уже недостаточно защитить несколько страниц текста, написанных его профессором, в качестве респондента; теперь он должен был сам написать тезисы и защищать их от критики независимого оппонента. Постепенно формулирование «тезисов» и защита их от критики оппонента перестали быть главными ингредиентами диспута и окончательно исчезли около середины XIX в. *Praeses* по-прежнему председательствовал на диспуте, но его присутствие стало менее заметным, чем ранее. По крайней мере, с середины XIX в. основными задачами диспута стали научная новизна диссертации и способность респондента убедительно ее доказать¹¹⁵.

¹¹⁵ Hammerstein Notker. Vom Interesse des Staates. Graduierungen und Berechtigungswesen im 19. Jahrhundert, in Rainer Christoph Schwinges & Marie-Claude Schöpfer Pfaffen (eds.), Examen, Titel Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13.

Профессионализм историка и историческое знание

Основополагающим *raison d'être* диспута явилось приращение знания, а оно могло быть достигнуто только благодаря диссертации. В этом заключалась одна из важных трансформаций европейских университетов начала XIX в. Часто большое внимание уделяется *Bildung* и Вильгельму фон Гумбольдту, и в этом ключе рассматриваются его реформы Берлинского университета. Тем не менее новые научные интересы университетов Европы означали, что их профессора считали себя в первую очередь учеными, а не чиновниками¹¹⁶.

Диспуты превратились в формальное завершение долговременного исследовательского проекта. Результатом, как и раньше, оставалось получение ученой степени, но примерно с середины XIX в. оно связывалось не только с факультетом, но и непосредственно с одной из университетских дисциплин. Респондент X становился доктором философии (PhD) по истории, как обычно говорилось. Это было важно, поскольку в государстве возник спрос на профессионалов высокого уровня, и диплом PhD стал необходимым условием карьеры в ряде профессий. Школьные учителя (прежде всего, учителя *Gymnasium*) делились на несколько категорий, и верхние их слои формировались из тех, кто успешно защитился в университете. Конечно, ученая степень требовалась и в университетской карьере, но там постов было немного, а конкуренция сурова. Другим полем деятельности для тех, кто написал и защитил диссертации, являлись

bis zum 21. Jahrhundert, Basel (Schwabe), 2007, 169–194.

¹¹⁶ Wittrock B. The modern university: the three transformations, in S. Rothblatt & B. Wittrock (eds.), *The European and American University since 1800*, Cambridge (C.U.P.), 1993, 303–362, особ. 302–319.

библиотеки и архивы, в которых также можно было достичь положения профессора¹¹⁷.

Специальное образование историков-исследователей

Только во втором и третьем десятилетиях XIX в. историческая дисциплина начала развивать собственные правила исследования. Правда, в XVIII в. прецеденты случались в Италии и Франции, а в Германии некоторые профессора стремились определить методы и поле исторического исследования, но это были одиночки, которые шли в разных направлениях и не имели последователей¹¹⁸. Таким образом, царил плюрализм, и только сильная личность типа Ранке (с его международным влиянием) посмела бросить вызов разнообразию и предложить определенные оценки государств, отдельных акторов истории и событий прошлого.

Другой аспект перемен в исторической дисциплине, имевших место в первой половине XIX столетия, относился к форме преподавания. До этого времени все преподавание сводилось к лекциям. Профессора порой суммировали основное содержание своих лекций (иногда это

¹¹⁷ Подробнее об истории их развития в разных странах Европы см. *Porciani Illaria & Raphael Lutz* (eds.). *Atlas of European Historiography*, London (Palgrave), 2010, где приведены качественные и количественные данные по каждой стране.

¹¹⁸ *Reill P.H.* The German Enlightenment and the Rise of Historicism (Berkeley, LA 1975); *Blanke H.W. and Rüsen J.* eds. *Von der Aufklärung zum Historismus* (Paderborn 1984), о.сб. 167–200; *Blanke H.W.* *Historiographiegeschichte als Historik* (Stuttgart-Bad Cannstadt 1991), 111–204.

Профессионализм историка и историческое знание

делали предприимчивые студенты), суммированное копировалось и продавалось. Только в середине XIX в. пришло понимание, что история, которую следует знать студентам, должна быть представлена в книгах. Наконец, во второй половине столетия пособия и специально написанные учебники были признаны в качестве основы обучения.

Постепенно завоевал популярность преподавательский стиль Ранке, его групповые занятия с продвинутыми студентами. Неформальные *Übungen*, изначально устраивавшиеся у него дома, позже стали называть «историческим семинаром». Такая форма особенно подходила для демонстрации, как именно следует осуществлять исторический анализ. Хотя Ранке какое-то время имел большой успех в качестве лектора, долговременный эффект его преподавательского стиля был тесно связан с *Übungen* (семинарами, как мы бы их назвали). По свидетельствам участников, во время занятий Ранке проявлял энтузиазм, который пробуждал и в своих студентах. История семинара отличается от истории *disputatio*. Она гораздо короче истории последнего, но тоже довольно интересна. Интересно также, что две эти традиции в некоторой степени перемешались между собой в европейских университетах XIX в. Семинары обрели многие характеристики определенных видов диспутов: там часто присутствовали оппоненты, старавшиеся найти ошибки в рассуждениях защищавшегося, и был председатель, *praeses*, следивший за корректностью процедуры. В конце XIX в. семинары стали менее формальными, и сам термин начали использовать менее строго, называя семинаром практически любое собрание людей с целью распространения информации или обсуждения серьезных вещей, не имевших отношения к науке.

Исторические семинары скорее всего появились в Германии в 1820-х гг. Несмотря на свое внимание к институциональным формам, даже Маркус Хуттнер, написавший интересную статью о происхождении исторического семинара (в Германии)¹¹⁹, не смог установить год проведения первого занятия. Причина заключается в том, что в Германии первые семинары, вероятно, проходили на базе исторических ассоциаций при университетах. Хуттнер обнаружил, что исторические семинары существовали в Кенигсберге и Бреслау, а «общества» (*Gesellschaften*) изучения истории – при университете Франкфурта-на-Одере в 1820-х и 1830-х гг., иногда в качестве альтернативы предлагались «практикумы» (*Übungen*). Однако, согласно Хуттнеру, центром первых семинаров стал Лейпциг, где филологические семинары действовали в 1810-х гг., а в 1830-х идея была перенесена на историю. Исторические «практикумы» также существовали на протяжении нескольких лет в начале столетия (с 1809 г.)¹²⁰. Хуттнер отмечает, что Ранке был студентом в Лейпциге в 1814–1817 гг., участвовал в филологическом семинаре, особенно в обществе исследования греческого языка и литературы. Его *Übungen*, таким образом, появились не на пустом месте.

Интерес Хуттнера вызывали вопросы институционализации исторических исследований и преподавания истории, и он искал корни этих феноменов. Я не стремлюсь преуменьшить важность его интересных изыска-

¹¹⁹ *Huttner M.* Historische Gesellschaften und die Entstehung historischer Seminare..., in M. Middell, F. Hadler & G. Lingelbach, *Historische Institute im internationalen Vergleich*, Leipzig, 2001, 39–84.

¹²⁰ *Huttner*, 2001, 50–52, 59.

Профессионализм историка и историческое знание

ний, привлекая внимание к тому факту, что акцент на институционализации семинаров (приведший его к поиску их корней в XVIII в., к Иоганну Кристофу Гаттереру и ранним историческим обществам¹²¹) не позволил ему уделить внимания условиям роста профессионализма, которые анализируются здесь. Воздействие первых семинаров и практикумов ограничивалось кругом историков определенных университетов. Они не вводили кодекса норм, которым должен был следовать профессиональный историк, не распространяли стандарта профессионализма, какой могло бы создать «историческое сообщество» международного класса или даже сообщество историков из разных государств Германии либо разных немецких университетов.

Тем не менее важно отметить, опираясь, в основном, на исследование Хуттнера (другие тоже проводили исследования по вопросам институционализации¹²², но они уступают ему в охвате), что процесс исторического исследования в Германии начала XIX в. переживал переходный период. Еще сильно было влияние филологии, ее новых значимых форм. Не все они закрепились, но практикумы (*Übungen*) использовались некоторыми преподавателями до Ранке, и термин «семинар» ни в коем случае не был изобретен его учениками, когда они заняли посты

¹²¹ *Huttner*, 2001, 52–56.

¹²² Нужно упомянуть две важные работы: о Берлине и тамошних упражнениях, которые были введены Фридрихом Рюсом в 1812 г., см. *Lenz Max*. *Das historische Seminar*, in *Geschichte der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin*, Halle, 1910, vol. 3, 247–260; о происхождении форм организации обучения см. *Heimpel Hermann*. *Über Organisationsformen historischer Forschung*, in *Historische Zeitschrift*, vol. 189 (1959), 139–222.

профессоров. Важное отличие от ранних «семинаров» и *Übungen* заключалось в том, что ученики Ранке следовали его педагогическим методам и разделяли его цели.

Задолго до эпохи копировальных машин студенты, работавшие в семинарской группе, собирались вокруг стола и изучали один и тот же текст (порой доступный в нескольких экземплярах); но часто им приходилось полагаться на резюме текста, подготовленное автором или руководителем семинара. Семинары зависели от количества изданий средневековых (и других) источников, ибо в них участники семинара могли найти материал, который, как предполагалось, они должны были уметь анализировать. Парадигмой издания источников стала *Monumenta Germaniæ historica*¹²³. Во время семинаров профессор вместе со студентами изучал тот или иной текст, помогал им понять его особенности, делал свои выводы на основании анализа. Это был новый способ вовлечения студентов в практические исторические исследования.

Начиная с 1860-х гг. и позднее семинары стали более институализированными в стиле, который, по словам Эскилдсена, Ранке не любил¹²⁴. Как правило, практические занятия проходили в специальных помещениях для семинаров, где студенты собирались вокруг большого стола и часто имели под рукой библиотеку, именовавшуюся библиотекой семинара. Модель семинарской рабо-

¹²³ Bresslau H. Geschichte der Monumenta Germaniae Historica, 42 (1921) (Neues Archiv, Hannover).

¹²⁴ Eskildsen. Leopold von Ranke, 478–480; idem, Leopold Ranke's Archival Turn: Location and Evidence in Modern Historiography, Modern Intellectual History, 5 (2008), особ. 427, прим. 9; Eskildsen. Hermann von Holst.

Профессионализм историка и историческое знание

ты, распространившаяся в Восточной и Северной Европе и США, таким образом, отошла от импровизированной формы *Übungen* Ранке, обрела институциональную форму, в которой обязательным атрибутом стал семинарский стол. Формы служат определенной цели. Расположение студентов и молодых исследователей вокруг стола контрастировало с иерархической моделью преподавания с кафедры, которое раньше было нормой, и давало им ощущение равенства с преподавателями, учившими их критически анализировать источники. Этот анализ состоял из двух ингредиентов: метода и исторического понимания. Для Ранке и многих других в середине XIX в. понимание того, что такое история, каковы ее движущие силы и место человечества в истории в целом, являлись основными темами. Формирование критического подхода было связано с этой основной целью, а также с методами в строгом смысле.

Ранкеанский профессионализм, распространявшийся через семинары и его учеников, концентрировался на представлениях ученого об истории и ее акторах, а не на историческом методе. Согласно Ранке, европейские государства были связаны в систему. Государства имели божественное происхождение, формировались в истории и должны были играть важную роль в жизни людей через свои бюрократические органы. Не менее важными являлись взаимодействия государств в их внешней политике, которая, по мнению ученого, определяла внутреннюю политику (так называемый приоритет внешней политики)¹²⁵. Критический анализ Ранке источников для его «Истории романских и германских народов», опублико-

¹²⁵ См. выше, гл. 2.

ванный в Приложении¹²⁶, завоевал ему репутацию новатора в области методов, что вряд ли справедливо. Некоторые ученики Ранке, например, Вайтц и Гизебрехт, стали известны своими достижениями в области критического анализа источников, но сам он интересовался ими лишь постольку, поскольку они были необходимы для изучения прошлого. Сутью ранкеанского профессионализма, таким образом, являлось его оригинальное и новаторское представление о государствах и исторических обстоятельствах их акторов, как было показано во второй главе.

Итак, процесс институционализации был важен, но для учеников Ранке он служил лишь усилению эффективности форм, распространявших ранкеанский профессионализм. В этом отношении Хуттнер, а также Мидделл¹²⁷, Хадлер¹²⁸ и Лингельбах «добавляют вес» институционализации. Хадлер отметил, что интерес к этому процессу вырос в 1980-х гг. с развитием истории институтов в ГДР¹²⁹. Лингельбах подчеркивал, что институционализация была процессом, параллельным «профессионализации»¹³⁰.

¹²⁶ *Ranke L. von.* Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber, Leipzig, 1824.

¹²⁷ *Middell Matthias.* Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Kultur- und Universalgeschichte institutionalisieren? Das Beispiel Leipzig, in Middell, Hadler & Lingelbach (eds.), Historische Institute im internationalen Vergleich, Leipzig 2001, 85–110.

¹²⁸ *Hadler Frank.* Geschichtsinstitute an ostmitteleuropäischen Wissenschaftsakademien. Budapest, Prag und Warschau im Vergleich, in Middell, Hadler & Lingelbach (eds.), Historische Institute im internationalen Vergleich, Leipzig 2001, 285–307.

¹²⁹ *Hadler.* 286–287.

¹³⁰ *Lingelbach G.* Klio macht Karriere. Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in Frankreich und den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 2003.

Профессионализм историка и историческое знание

Горг Иггерс, прояснивший различие между «профессионализацией» и «наукообразием» (*Verwissenschaftlichung*), заявил, что рост «наукообразия истории в Германии был, скорее, связан, не с наукой в строгом смысле, но с профессионализацией, «а именно, с институционализацией исследования и преподавания»¹³¹. Я придерживаюсь иного взгляда и на важность институтов для профессионализма, и на его развитие. Иггерс, Лингельбах, а также некоторые другие интерпретируют «профессионализацию» как единый процесс (с разными составляющими, подчеркивает Иггерс¹³²). Я же рассматриваю профессионализм в качестве нормативной системы, варьировавшейся в разных сообществах. Поэтому я не придаю большого значения институционализации как таковой. Вместо этого внима-

Also idem «Institutionalization and Professionalization» in OHNW 3 (2012), 78–96, and idem, Konsequenzen der Strukturierung nationaler Wissenschaftssysteme für disziplinäre Institutionalisierungsprozesse, in Middell; Hadler & Lingelbach (eds.), Historische Institute im internationalen Vergleich, Leipzig 2001, 111–133.

¹³¹ Iggers G. Ist in der Tat in Deutschland früher zur Verwissenschaftlichung der Geschichte gekommen als in anderen europäischen Ländern, in W. Küttler; Rüsen J. & Schulz E. (eds.), Geschichtsdiskurs, vol. 2, Frankfurt/Main (Fischer), 1994, 73–86, quote from 75.

¹³² Иггерс возражал против высказанной мной ранее критики употребления им и другими исследователями термина «профессионализация». Я имел в виду: они допускают, чтобы термином обозначался единый процесс. Иггерс подчеркнул, что он сам, а также ден Боер и Лингельбах использовали разные характеристики. Но какие бы характеристики они ни учитывали, они все относятся к одному процессу большой длительности. Ни Иггерс, ни другие не отмечают различий в профессионализме, которые я считаю важными. Iggers G. A Comment on Rolf Torstendahl 'Historical Professionalism: A Changing Product of Communities Within the Discipline, in Storia della Storiografia, 56 (2009), 27–28.

ние должно уделяться содержанию преподавания в семинарах, его стремлению укрепить и распространить профессионализм, передав участникам особый набор правил, состоящий из минимальных требований и оптимальных норм.

Распространение семинаров и исторических школ

Сопереживание прошлому и желание его прояснить передавалось от преподавателя к студентам¹³³. Бывшие участники семинаров Ранке продолжали использовать лучшее в его новаторских методах преподавания, его *Übungen*. Исторические семинары с такими же целями создавались учениками Ранке во многих немецких университетах (с 1855 г. и до конца века): в Гёттингене в начале 1859-х гг. Георгом Вайцем¹³⁴, в Мюнхене в 1857 г. Генрихом фон Зибелем (продолжен Вильгельмом Гизебрехтом), в Марбурге в 1864-м Эрнстом Геррманном. Семинары, имевшие те же цели, что и практикумы Ранке, оказались успешными и в последние десятилетия XIX в. широко распространились в Европе и Северной Америке. Чарльз К. Адамс провозгласил в 1869 г., что его семинар, первый в США, следует завезенной из Германии форме для того, чтобы научить студентов работать в качестве исследователей¹³⁵. Модель семинара завоевы-

¹³³ *Eskildsen*. Leopold von Ranke, 472–474.

¹³⁴ Год начала *Übungen* Вайтца в Геттингене не указан в статье: Georg Waitz, in *Allgemeine deutsche Biographie*, vol. 40, esp. 112–113.

¹³⁵ *Eskildsen K.R.* The Portrait of Hermann von Holst: Ethos and Objectivity in Nineteenth Century Historiography (unpublished manuscript, 2009).

Профессионализм историка и историческое знание

вала популярность и в других странах, к чему мы еще вернемся.

Георг Иггерс справедливо подчеркнул: немецкие исследователи, утверждавшие, что в конце XIX в. немецкий историзм приобрел признание исторических сообществ всего мира, сильно преувеличили его влияние. «То, что было заимствовано историографией за пределами Германии, было, прежде всего, не историзмом, но скорее, ученым стилем институционализированного университетского обучения. В Америке, Франции и других странах различали ранкеанские методы критики источников и его философские предпосылки»¹³⁶. Вызывает удивление, как часто иностранные слушатели *Übungen* принимали ранкеанство полностью и, вернувшись в родные края, превращали профессиональные идеи учителя в основу преподавания истории. Однако постранкеанский историзм с его националистической окраской развития не получил. В конце XIX в. профессионализм в общепринятом смысле этого слова начал отличаться от своей ранкеанской основы, его сутью стал метод. Я также считаю нужным подчеркнуть важность других ученых, помимо Ранке, в развитии критического метода анализа источников, особенно историков младшего поколения, например, Вайнца из числа учеников Ранке, и Эрнста Бернгейма, ученика Вайтца, ставшего профессором в Грайфсвальде и автором одного из самых успешных учебников по историческому исследованию конца XIX столетия.

Необходимо рассмотреть еще один вопрос: были в Германии или где-либо еще альтернативные школы профессиональных норм, то есть другие сообщества исто-

¹³⁶ Iggers in Küttler etc. (1994), 83.

риков? В ретроспективе отчетливо видно, что в XIX в., кроме школы Ранке, существовали и другие направления. Вольфганг Вебер утверждал: были еще две важные школы, а влияние Ранке преувеличено. Его исследовательский метод заключается в том, чтобы нанести на карту «наследование» от учителя к ученикам, и он отмечает всех ученых. Его доводы неявно опираются на количественные методы (цифры обычно не приводятся), но учитывается влияние университетов. Он не приводит четкого рейтинга немецких университетов применительно к длительному периоду, который рассматривает, но намекает на различие между центром и периферией системы. Учитываются все профессора (*ordinarius*), а также некоторые из тех, кто не достиг этого статуса. Таким образом, он рисует картину, в которой присутствуют три школы исторических исследований, что означает: содержание идей играло лишь второстепенную роль¹³⁷. Две школы-«соперницы» школы Ранке появились во второй половине XIX в., то есть позднее, чем она. Иоганн Густав Дройзен был главой одной школы, главой другой – Теодор Моммзен.

Дройзен стал профессором в Киле в 1840 г. в возрасте 32 лет. Он стремился занять место Ранке в Берлине, но получил там кафедру только в 1859 г., после краткого периода политической деятельности и нескольких лет работы в Йене. Как подчеркнул Вильфрид Ниппель, соперничество с Ранке было скорее личным, чем профессиональным: Дройзен считал Ранке человеком с «трус-

¹³⁷ Weber W. Die Priester der Klio. Historisch-sozialwissenschaftliche Studien zur Herkunft und Karriere deutscher Historiker und zur Geschichte der Geschichtswissenschaft, 1800–1970, Frankfurt/M etc. (Peter Lang), 1984.

ливым умом» и без чувства морали. Ученики Дройзена были немногочисленны, но разделяли его идею объединения «малой Германии» во главе с Пруссией¹³⁸ и передали ее, в свою очередь, своим ученикам. Школа, таким образом, основывалась на политической идее, а не на профессиональных нормах, хотя Йорн Рюзен и показал, что Дройзен сформулировал самостоятельную теорию исторической интерпретации¹³⁹. Однако она распространялась лишь в сжатом виде в печати и, конечно, в лекциях, обращенных к студентам. Лишь после посмертной публикации материалов лекций Дройзен обрел репутацию мыслителя. Он считал, что методы имеют второстепенное значение и подчеркивал политическое значение истории.

Школа Теодора Моммзена была в большей степени устремлена к профессионализму, но она имела дело,

¹³⁸ Сложные отношения Дройзена с Ранке (которого он не любил) и немецким академическим сообществом стоят отдельного исследования, которое представил Вильфрид Ниппель. Он показал, что политика отнимала большую часть времени Дройзена, начиная с 1840-х гг., и что он критиковал Ранке главным образом потому, что считал его «немужественным» и недостойным занимать кафедру в столице Пруссии, Берлине. *Wilfried Nippel. Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik* (München: C.H. Beck, 2008), 40–61. См. также *Nippel W. Das forschende Verstehen, die Objektivität des Historikers und die Funktion der Archive. Zum Kontext von Droysens Geschichtstheorie*, in S. Rebenich & H.-U. Wehler (eds.), *Johann Gustav Droysen. Philosophie und Politik – Historie und Philologie*, Frankfurt/New York (Campus), 337–391.

¹³⁹ О школе Дройзена см. *Weber. Die Priester der Klio*, 262–272; см. также *Nippel*, 2008, 219–238 о лекциях Дройзена по теории истории. Выводы Рюзена см. в: *Rüsen J. Begriffene Geschichte: Genesis und Begründung der Geschichtstheorie* J. G. Droysens (Paderborn: Schöningh, 1969). См также ниже, гл. 7.

прежде всего, с методами и содержанием исследований истории Древнего Рима и развивала идеи Бартольда Георга Нибура первой половины столетия. Сам Моммзен стал профессором в 1858 г., а до того занимал посты на государственной службе. Это привело к сложностям при основании школы античных исследований с Моммзеном во главе, несмотря на его популярность¹⁴⁰.

Необходимо отметить следующее. Во-первых, считавшиеся соперницами школы возникли позднее школы Ранке, которая была признана в 1830-х гг., то есть за двадцать лет до того, как Дройзен обрел своих берлинских учеников, а Моммзен получил кафедру; во-вторых, в Германии не было школ, сформировавших альтернативную концепцию исторического профессионализма. Так же трудно обнаружить соперницу и в других европейских странах. В Англии доминировало представление об истории как части искусств, а не профессиональном ученом занятии. Томас Б. Маколей, Генри Галлам и другие историки склонялись к политике, иные, подобные Уильяму Стеббсу, отдавали приоритет церковной карьере или, наоборот, боролись с церковью и своими собственными религиозными убеждениями, как Энтони Фроуд и лорд Актон. Все они написали важные исторические труды, но не пытались создать систему норм историописания или основать школу последователей. Хотя Стеббс и Актон являлись своего рода дистанционными учениками Ранке, их влияние за пределами Британии оставалось ограниченным¹⁴¹. Во Франции не было

¹⁴⁰ См. *Weber*, 1984, 272–280, об учениках Моммзена.

¹⁴¹ *Bentley Michael*. Shape and Pattern in British Historical Writing, 1815–19445», in *ОННВ* vol. 4 (2011), 204–224.

Профессионализм историка и историческое знание

и следов формирования профессионального сообщества вплоть до 1870-х гг. и новых теоретических выводов Габриэля Моно и Н.Д. Фюстеля де Куланжа, несмотря на то, что историки предшествовавших поколений обрели славу: имена Гизо, Баранта, Минье, Тьерри и Мишле были хорошо известны за пределами Франции, но ни один из них не создал школы, не сформулировал правил, которым должен следовать историк для того, чтобы стать «настоящим» – профессиональным-историком¹⁴². Ситуация изменилась в 1870-х гг., когда идеи Фюстеля де Куланжа о том, как важно подвергать сомнению прошлые утверждения, вдохновили и философов, и историков. Так, Шарл Сеньобос, один из двух авторов *Introduction aux études historiques* (1898), был горячим приверженцем позиции Фюстеля¹⁴³. Но внимание к историческим нормам, которое таким образом преподавалось во Франции, не породило школы последователей. Пособие Ланглуа и Сеньобоса не использовалось как связующее звено профессионального сообщества, а профессиональные идеи, отстаивавшиеся Фюстелем, Ланглуа и Сеньобосом, стали лишь подводным течением европейской историографии.

С другой стороны, многие иностранцы, подпавшие под влияние Ранке во время пребывания в Берлине, пытались ему подражать. Примером может служить упомянутый выше Фредрик Фердинанд Карлсон. В 1862 г. он сформировал из своих лучших студентов общество, в котором сам стал председателем и советником. Сохра-

¹⁴² Pim den Boer. Historical Writing in France, 1800–1914», in ОННВ, vol. 4 (2011), 184–203.

¹⁴³ Pim den Boer, 2011, 199.

нившиеся статуты и протоколы первых собраний показывают, что их содержание было сходным с практиками Ранке, но Карлсона вскоре поглотила политика. В 1890 г. идея семинара была подхвачена Харальдом Хьярне, который явился своего рода шведским неоранкеанцем¹⁴⁴. Еще один случай немецкого влияния прослеживается в Дании. Кристиан Эрслев задержался для учебы в Берлине во время длительного путешествия, занявшего 1878-й и начало 1879 г. По завершении учебы в Копенгагене он уже был известной фигурой среди датских молодых историков, когда отправился в Берлин на лекции вместе со студентами и слушал Карла Вильгельма Нича и Дройзена. В их лекциях он обнаружил образовательные методы, указывавшие на источники и требовавшие от студентов активного чтения, и это его заинтересовало (хотя знаменитой, по словам Эллен Йоргенсен, лекции Дройзена о методологии и энциклопедии истории Эрслев не услышал). Со временем Эрслев стал главным методологом истории в Скандинавии и в 1896 г. учредил в Копенгагене «филолого-историческую лабораторию», которую возглавлял до 1903 г.¹⁴⁵

¹⁴⁴ О Карлсоне см. *Torstendahl R. Fredrik Ferdinand Carlson*, in *Svenska historiker*, Stockholm (Norstedts) 2010; *Torstendahl R. Att göra studenter till professionella historiker*, in *Historiker i vardag och fest. Historiska föreningen i Uppsala 1862–2012*, Uppsala (Studia hist. Ups., vol. 244), 2012, 25–40. О Хьярне см. *ibidem* и *Torstendahl R. Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn I svensk historisk forskning, 1820–1920*, Uppsala (Stud. hist. Ups. 15), 1964, 249–272, 278–296.

¹⁴⁵ *Jørgensen Ellen. Historiens studium i Danmark i det 19. aarhundrede*, København (Bianco Luno) 1943, 230–246, особ. 234, прим. 3. В единственной полной биографии Эрслева (Leo Tandrup, *Ravn*, vol 1–2, Copenhagen 1979) мало информации об этом. Лекция Дройзена, впервые прочитанная в 1857 г., трижды читалась в Йене, а затем

Профессионализм историка и историческое знание

Интересно проанализировать, как во второй половине XIX в. знакомили с профессиональной историографией студентов в России. По словам Дюлы Свака, профессионализм появился в России благодаря Соловьеву¹⁴⁶. Возможно, это и верно, в зависимости от того, что подразумевается под данным термином, но Соловьев не создал новых методов профессионального образования. Согласно информации, содержащейся в книге, посвященной первым пятидесяти годам существования Московского университета, первая попытка организовать в России исторический семинар была сделана в Санкт-Петербурге 1850-х гг. Михаилом Куторгой¹⁴⁷, но никаких следов от нее не осталось. Человеком, которого обычно считают основателем семинаров в рамках российского университетского образования, считается Владимир Герье, который начал вести регулярные семинары для студентов в Московском университете в 1865 г.(?) по возвращении из заграничного путешествия. В Германии он участвовал в работе семинаров Рудольфа Кёпке, одного из первых учеников Ранке. Нанятый Георгом Генрихом Перцем, он несколько лет был связан с *Monumenta Germaniae historica*, а в 1856 г. стал временным профессором в Берлине. Там он проводил *kritische Übungen* с молодыми историками¹⁴⁸. Нить, таким образом, ведет обратно к Ранке, хотя

14 раз в Берлине между 1859/60 и 1882/83 гг. См. *Nippel*, 2008, 219.

¹⁴⁶ *Szvák G.* The Golden Age of Russian Historical Writing: The Nineteenth Century», in ОННВ vol. 4, 2011, 303–325, особ. 315.

¹⁴⁷ Антощенко А.В., Свешников А.В. Исторические семинары как место знания // Историческая культура императорской России / под ред. А.Н. Дмитриева. – М: ВШЭ, 2012, 138–160, о Куторге, 138.

¹⁴⁸ ADB vol. 16, Leipzig (Dunker & Humblot) 1882, 673–75.

Кёпке и не входил в число самых знаменитых его учеников. В сопоставлении со средними европейскими показателями основание семинара в середине 1865 г. является ранним, и вклад Герье был должным образом оценен рядом российских исследователей¹⁴⁹. Павел Милюков, один из его студентов в 1878–1879 гг., в своих мемуарах вспоминал, однако, что считал лекции Герье скучными, а экзамены по ним — основанными на двух книгах. Милюков высмеивал семинары Герье по контрасту с теми, что вел Павел Виноградов. «Он привлекал нас и в отличие от Герье не отделялся от нас, не снисходил до нас, не сердился на наши вопросы, но, напротив, поощрял и обращался с нами как с такими же историками, как он сам». Дальше он говорил: «Только благодаря Виноградову [на его семинарах] мы поняли, что значила современная научная работа, и научились ей до некоторой степени»¹⁵⁰. Очевидная неприязнь к Герье и симпатия к Виноградову может отвлечь внимание от того факта, что, как подчеркивает Милюков, он и его однокурсники почувствовали себя историками в ходе семинарской работы с Виноградовым и там получили представление об исторических исследованиях. Виноградов привез эту традицию из Германии, усвоив ее во время обучения в семинаре Теодора Моммзена в середине 1870-х гг. Конечно, на представленном Милюковым рейтинге его учителей сказалось то, что он сам был профессором истории (до начала политической карьеры, завершившейся его изгнанием после 1917 г.) и, возможно, искажил картину семинаров. Примечательно, что Виноградов стал уважаемым профессо-

¹⁴⁹ Антощенко, Свешников, 139 с прим.

¹⁵⁰ Милюков П. Воспоминания. — М.: Вагриус, 2001, с. 92.

Профессионализм историка и историческое знание

ром в Британии, сначала в Ливерпуле (с 1906 г.), затем в Оксфорде, где организовал семинары, подобные тем, что раньше вел в Москве¹⁵¹. Теоретические же дискуссии в российских журналах начались рецензией К.Н. Бестужева-Рюмина на «Методы исторического исследования»¹). Фримена, изданные на русском языке в 1886 г. В 1913-м А.С. Лаппо-Данилевский опубликовал свою «Методологию истории». Как и многие подобные книги, выходившие в начале XX столетия, она в духе Бернгейма сочетала рассуждения о философии истории с методологией и практическими советами¹⁵².

Заключение

В этой главе я пытался показать, что в течение XIX в. произошло фундаментальное изменение образования молодых историков, необходимое для того, чтобы считаться профессионалами. В начале века доминировала традиция общей подготовки в истории. Хорошо образованный историк имел общее представление, дававшее ему возможность читать хорошие лекции по всем отраслям истории. Когда вводилось деление исторических курсов, как это порой происходило, оно обычно означало либо деление на мировую историю в целом и историю «своей» страны, либо деление по периодам, которое отделяло Античность от Средневековья и нивелировало

¹⁵¹ Антощенко А.В. Виноградов Павел Гаврилович // Историки России. Биографии / под ред. А.А. Чернобаева. – М.: Росспен, 2001, 351–361.

¹⁵² Медушевская О.М. Становление и развитие источниковедения // И.Н. Данилевский и др. Источниковедение. – М.: РГГУ, 1998, 67–87.

значение «современного» периода. Причина заключалась в том, что археология требовала новых методов изучения Античности, а издания средневековых документов и *scriptores* дали медиевистам арсенал новых методов.

Способность преподавать историю традиционно демонстрировалась во время диспутов, за столетия они видоизменились, и в начале XIX в. были, в основном, сфокусированы на тексте, предложенном для обсуждения. Диссертация и ее автор стали более значимыми, чем устная дискуссия, продолжавшая, однако, оставаться важной частью диспутов. Изменения диспутов хорошо соотносятся с новыми формами образования, постепенно складывавшимися в первой половине XIX в. Появились семинары, которые благодаря Ранке стали основой профессиональной подготовки. Сообщество ученых, группировавшихся вокруг Ранке, восприняли его взгляды на методологию, прежде всего, его идеи о роли государства и представления о развитии – историзм. Семинары Ранке назывались *Übungen* и не были формализованы так, как это стало обычным позже. Благодаря множеству учеников Ранке решающим образом повлиял на новую систему подготовки историков, которые теперь должны были проявить свои научные таланты в семинарах, прежде чем их допускали в сообщество настоящих историков, способных учить новое поколение студентов.

Представления Ранке об истории и государстве вышли из моды задолго до того, как семинары были полностью признаны в качестве необходимой формы образования. Поэтому новые методы и критика источников не занимают столь важную часть наследия Ранке, как это часто считается. Ранке даже не был единственным историком, имевшим школу активных учеников, но его со-

Профессионализм историка и историческое знание

перники в Германии, Дройзен и Моммзен, не смогли так же успешно распространить свои идеи в Германии или за рубежом, не создали альтернативных понятий профессионализма. Не появились соперники и в других странах Европы. Там, где победила традиция Ранке, семинары укрепились и приобрели те институциональные формы, какие им придали его ученики. В числе стран, в которых процветало ранкеанство, назывались США, Швеция и Дания. В России, где связь с Ранке была слабой, семинары тем не менее появились в 1860-х гг. Неясно, однако, имели ли они до 1880 г. функцию вступительного испытания, определявшего, кого из учеников можно признать профессиональным историком.

Для исследователей перемены оказались громадными. Многие иностранцы, отправившиеся в Германию для дальнейшего образования, восхищались сочетанием мастерства и проницательности, которое демонстрировали руководители семинаров, помогая студентам анализировать тексты в деталях, что и являлось основной задачей этих занятий. Во второй половине XIX в. были заложены основы немецкого доминирования в истории, которое, по сути, закончилось дважды: с Первой мировой войной и – позже – с приходом к власти нацистов и началом Второй мировой войны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Факт, истина и текст: поиск прочного основания исторического знания около 1900 года.

Введение

Методология – систематическая интерпретация методов – может развиваться в двух разных направлениях. Один методолог может искать объединяющие элементы в разных методах, признанных в его дисциплине, и пытаться систематизировать результаты своих поисков. Другой – рациональные доводы в пользу использованных методов, и при помощи этих доводов связать методы с эпистемологической идеей или философией. Оба подхода к методологии могут склоняться к нормативности, но не обязательно таковыми являются. Один более таксономичен, другой – скорее философский, но границу между таксономией и философией определить трудно.

В нижеследующем анализе трех методологических работ Дройзена, Бернгейма и Ланглуа и Сеньобоса учитываются как таксономия, так и философия, но основное внимание уделено эпистемологическим основаниям методологии, которые они предлагали¹⁵³. Все три работы

¹⁵³ Grundriss der Historik Дройзена при его жизни издавался

интересны с этой точки зрения. Во многих отношениях их авторы обосновывают идеи, которые по-прежнему выдвигают в спорах. Поскольку все они стремятся доказать возможность прочного исторического знания, важно рассмотреть их вместе, хотя исследователи проявляют интерес к этим работам в разной степени. Так, в последние десятилетия текст Дройзена анализировали гораздо чаще, чем сочинения Бернгейма или Ланглуа и Сеньобоса. В новом свете, пролитом на труды Дройзена в работах Рюзена и Ниппеля, важно соотнести его таксономическую методологию (с ее неокантианскими оттенками) с попыткой Бернгейма представить серьезную кантианскую философскую основу в косвенных доводах и критическим подходом Ланглуа и Сеньобоса к наследию Канта.

трижды, в 1868, 1875 и 1882 гг. (Leipzig: Veit & Co.). Здесь использовалось переиздание третьего издания, подготовленное Э. Ротакером и вышедшее под заглавием *Grundriss der Historik* (Halle-Saale: Max Niemeyer, 1925). Позднее рукописи лекций Дройзена по данному предмету были изданы Р. Хюбнером под заголовком *Historik: Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte* (Munich: R. Oldenbourg, 1937) и П. Леем под заголовком *Historik: Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857), Grundriss der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/1858) und in der letzten gedruckten Fassung (1882)* (Stuttgart-Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog, 1977). *Lehrbuch der historischen Methode* Эрнста Бернгейма (первое изд. 1889) претерпела серьезную авторскую правку. Я использовал издания 1903 и 1908 гг. (опубликованы в Лейпциге Дункером и Хумблотом). Издание V. Langlois and C. Seignobos, *Introduction aux études historiques* (Paris: Librairie Hachette, 1898) было переиздано тем же издательством в 1899 г. Все переводы цитат из этих книг принадлежат Р.Т.

*Посткантианская философия
и методология истории*

Начиная с Античности, считалось, что история должна искать истинное знание о прошлом. Задача была нелегкой, это признали довольно рано. Античные историки и философы порой привлекали внимание к тому, как трудно достичь «истины» в истории. После Канта любая теория истории должна была соотноситься с теориями знания, сформулированными им и его последователями. Представление о том, что чувственные перцепции относятся к познающему «субъекту» и вызваны тем, что именовалось «вещью в себе», легко было применить в истории. Это привело к длительным спорам о возможности обрести идеал «объективности» и проявить историю как «реальное прошлое», а не только как «объект», зависящий от перцепций «субъекта». Предполагалось, что исследующий «субъект» накладывает свой отпечаток на результат, а объективность остается недостижимым идеалом.

Были и другие представления о том, что должны делать историки и чего они могут достичь. Историк-позитивист Т.Х. Бокль пытался обнаружить закономерности исторического развития, которые могли объяснить или помочь объяснить развитие цивилизации. Попытки ученого не вызвали благосклонности историков, но его книги и идеи широко обсуждались и помогли сформировать общественное мнение – по большей части негативное – относительно этого типа исторических исследований. Бокль был англичанином, но его вдохновение пришло из Франции, от Огюста Конта. Помимо Конта, и другие французские мыслители сформулировали идеи, более

или менее вписывавшиеся в традицию моральных наук конца XVIII в. (например, Сен-Симон и утописты).

Представление о том, что историки должны пытаться получить объективное историческое знание, было широко распространено и доминировало на протяжении значительной части XX в., но никогда не было свободно от критики. Наиболее интересным исследованием в этом направлении является книга Питера Новика об объективности в американском академическом сообществе историков¹⁵⁴. Новик прежде всего показывает, что историки не могли размышлять о своей профессии, не соотнося ее с объективностью, которая виделась либо как достижимая цель, либо как недостижимый идеал, к какому все равно стоило стремиться.

Вплоть до конца XIX в. историки по большей части были более скромными, нежели философы. В XIX столетии они предпочитали обсуждать методы, а не теорию. Тем не менее ряд историков уже в XVIII в. высказали свои взгляды на теорию истории. Большинство из них лишь изредка формулировали методологические правила. В их пособиях невозможно найти последовательной философии истории или полнокровной исторической эпистемологии¹⁵⁵. Они обычно дают совет, что делать с

¹⁵⁴ Novick Peter. That Noble Dream: The Objectivity Question and the American Historical Profession (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1988).

¹⁵⁵ Из тех, о ком я хоть что-то знаю, упомяну Хладениуса, Гаттерера и Рюса. Все они немцы, но могли быть и другие труды историков других стран. См. *Blanke Horst Walter. Historiographiegeschichte als Historik* (Stuttgart-Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog, 1991). Бланке, кажется, недооценивает оригинальность труда Рюса. Причина тому – использование в качестве мерки *Historismus*. Труд Рюса

определенными видами материала или в определенных ситуациях в исследованиях. Работы Ранке об историографии (особенно о Гвиччардини), его главный труд об историческом методе, подпадают под ту же категорию, что и его критический анализ исландских саг и летописей Нестора. Подобные исследования источников раннесредневековой истории предпринимались многими профессорами из Гёттингенского университета, которых Герберт Баттерфилд считал основателями «немецкой исторической школы»¹⁵⁶. Труд Ранке был совсем не похож на пособие или введение в историографию. Его слава основывалась на его высоком положении в рамках академического сообщества, а не на содержании книги. Для Ранке основные проблемы его остальных работ (включая ту, приложением к которой являлся данный критический анализ) были связаны с государством, системой государств и моральностью миропорядка. Он был оригинален в этом отношении и приобрел заслуженную славу, достигнув полного развития историзма¹⁵⁷. Труд-

был отмечен Гербертом Баттерфилдом (*Butterfield Herbert. Man on His Past* [1955] (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), но он мало о нем говорит.

¹⁵⁶ *Butterfield. Man on His Past*, 32–61.

¹⁵⁷ Такова позиция Майнеке. Она была оспорена, и важно отметить, что Historismus не оставался неизменным (см., например, *Oexle Otto Gerhard. Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus* (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1996); *Historismus am Ende des 20. Jahrhunderts: Eine internationale Diskussion*, ed. Gunter Scholtz (Berlin: Akademie Verlag, 1997), с важной статьей Г. Иггерса. Дискуссия об Historismus в последние годы привела к пересмотру старых стереотипов. См., например, три статьи Ирмлин Файт-Браузе (*Veit-Brause Irmline. Die Historismus-Debatte, Neue politische Literatur* 1 (1998), 36–66; *The Turnings of Historicism*, in *Power, Con-*

нее увидеть в нем методолога, даже если Георг Иггерс в ряде историографических работ всем своим авторитетом утверждал представление о Ранке как об основателе «научной истории» (*Wissenschaft* континентальной Европы). Он предполагал, что это связано с методологией, хотя подтверждал свое предположение размышлениями Ранке об истории¹⁵⁸.

В некотором смысле новое отношение к развитию исторического профессионализма выросло из развития историзма. Важно, что новые методологические пособия публиковались и были приняты большинством сообщества европейских историков. И.Г. Дройзен опубликовал свой труд *Grundriss der Historik* в 1868 г.¹⁵⁹ (исправленные издания вышли в 1875-м и 1882 г.), но в своей методологической части книга представляла собой, скорее, заметки к лекциям, нежели пособие: методологические рекомендации перемежались эссе о принципах историзма. Поэтому в качестве пособия труд Дройзена был превзойден *Lehrbuch der historischen Methode* Эрнста Бернгейма (первое издание – 1889 г.) и *Introduction aux*

science, and Opposition, ed. A. Bonnell et al. (New York: Peter Lang, 1996), 405–430; and Historicism Revisited, *Storia della Storiografia* 29 (1996), 99–125).

¹⁵⁸ См., например, *Iggers G. Introduction*, in *International Handbook of Historical Studies*, ed. G. Iggers and H. T. Parker (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1979), 1–14; *Iggers G. New Directions in European Historiography*, revised ed. (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1984), 18–21, 26. Иггерс уделяет мало внимания Бернгейму и Ланглуа и Сеньобосу.

¹⁵⁹ Первое популярное издание вышло в 1868 г. В. Ниппель показал, что Дройзен впервые издал *Historik* 1858 г. Частным образом, исключительно для своих слушателей. *Nippel*, 2008, 219–20.

etudes historiques Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса (1898 г.). Эти книги являлись прежде всего методологическими (начиная с 1903 г., сочинения Бернгейма включали больше философии истории), хотя и отражали стремление авторов связать методологию с эпистемологическими принципами, и имели широкое хождение.

Были и другие (не слишком многочисленные) историки, писавшие книги в том же жанре. Интерес к методологии свидетельствует о новом направлении, в котором проводились исторические исследования в университетах. Постепенно представление о том, что студентов необходимо обеспечивать пособиями, дававшими понятие об исторических методах, становилось общепринятым. Некоторые книги появились в первой половине XIX в., например, небольшое сочинение Рюса (прим. 3), пособия И.Г. фон Фессмайера, Дж.Э. Фабри и К.И. Крауса, изданные в первое десятилетие XIX в., *Lehrbuch* Ф. Рема, 1830 г. Но даже в ученых пособиях по историческим исследованиям не хватало убедительных доводов в пользу методологии; они в основном содержали систематическое изложение исторического материала и указывали, где его можно найти. По-немецки такие работы назывались *Quellenkunde*, к этому жанру относились *Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts* В. Баттенбаха (первое издание – 1858 г.) и его *Das Schriftwesen im Mittelalter* (1871 г.), а также многие публикации, связанные с французскими и немецкими проектами издания средневековых исторических сочинений. В книгах по истории историко-

графии (например, в книгах О. Лоренца¹⁶⁰, Ф.К. Вегеле¹⁶¹, и Л. Вахлера¹⁶², в эссе лорда Актона об исторических исследованиях и немецких исторических школах, в которых он представил континентальных историков, их методы и концепции¹⁶³) также были изложены ряд важных правил и несколько аргументов в пользу исторической методологии. Немногие из них обращались к методам исследования разных типов материала, еще реже объяснялось, почему нужно применять именно эти методы. Самой известной из подобных книг, которые не будут здесь рассмотрены, стали «Методы исторического исследования» Э.А. Фримена (1886 г.), представлявшие собой серию эссе, а не систематический анализ методологии.

Таким образом, сочинения Дройзена, Бернгейма, Ланглуа и Сеньобоса явились чем-то новым. Они стремились объяснить, как достичь прочного знания истории. Такова была их общая цель, хотя Дройзен и отдавал приоритет философии. Все три книги имели разные

¹⁶⁰ *Lorenz O.* Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Ausgaben, vol. 1–2 (Berlin: Hertz, 1886–1891).

¹⁶¹ *Wegele Franz X.* Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus (Munich and Leipzig: R. Oldenbourg, 1885).

¹⁶² *Wachler L.* Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wtederherstellung der litterarischen Cultur in Europa (Göttingen: Rower, 1812–1820).

¹⁶³ *Acton J. E. E. D.* A Lecture on the Study of History (London: Macmillan, 1896); German Schools of History in Historical Essays and Studies (London: Macmillan 1907), 344–392. В первом буклете Актон утверждает, что разные работы Ранке составляют «лучшее введение, из которого мы можем научиться техническому процессу, благодаря которому в наше время прославилась современная история» (52).

философские основания, но все авторы отказались от релятивистских идей в отношении знаний. Их различия были менее важны, чем общие методологические цели, что и привлекало историков, многие из которых считали эти работы взаимозаменяемыми пособиями по историческим исследованиям. В сочинениях Бернгейма или Ланглуа и Сеньобоса студенты знакомились с правилами, которые составляли суть метода и легко усваивались. Книга Дройзена давала меньше советов. В этом, вероятно, и кроется причина падения ее популярности (в начале XX в. она первой из трех работ утратила значение как методологическое пособие). Однако позднее Дройзен, в отличие от коллег, приобрел репутацию мыслителя.

Начало XX в. стало свидетелем перемены в общем подходе к историческому профессионализму. Раньше акцент ставился на теорию государства, системы государств или отдельной нации. Теперь в центре оказался методологический элемент, без знания правил анализа источников историк больше не мог считаться профессионалом. Методология стала центральным элементом профессионализма историков благодаря нескольким факторам¹⁶⁴. Один из них – подъем национальных исторических ассоциаций. Этот процесс уверенно шел по всей Европе (и за ее пределами) во второй половине XIX в. Ассоциации разделялись по философским и политическим направлениям, лишь методология оставалась

¹⁶⁴ Об историческом профессионализме см. *Torstendahl R. History, Professionalization of*, in *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (London: Elsevier, 2001), 6864–6869, и *Torstendahl R. Assessing Professional Developments. Historiography in a Comparative Perspective in An Assessment of Twentieth-Century Historiography*, ed. R. Torstendahl (Stockholm: Vitterhetsakademien, 2000).

общим знаменателем. Другим фактором стало распространение научных исторических журналов, в которых критические рецензии новых исторических публикаций подогревали интерес к методологии¹⁶⁵. Повышению роли методологии способствовала и деятельность международной организации историков, ставшей известной как *Comité international des sciences historiques* (создана в 1898 г.). Уже в программах первых международных конгрессов 1900 и 1903 гг. методологии придавалось важное значение, а объектом дискуссии стали способы, какими признанные методы могли бы получить философское обоснование¹⁶⁶.

Таким образом, интерес к методологии был значительным. Но, хотя К.Д. Эрдманн и подчеркивал это в работах по историографии данного периода, историки историографии редко обращались к содержанию методологии, их интересовала не эпистемология, а «философия истории»¹⁶⁷.

¹⁶⁵ О журналах см. *Stieg Margaret*. The Origin and Development of Scholarly Historical Journals (Alabama: University of Alabama Press, 1986). См. также *Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich*, ed. Matthias Middell (Leipzig: Akademische Verlagsanstalt, 1999).

¹⁶⁶ *Erdmann Karl Dietrich*. Die Ökumene der Historiker: Geschichte der internationalen Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987). Выше, глава 2.

¹⁶⁷ Примечательно, что ни Фютер, ни Барраклу в их великолепных историографических обзорах разного времени не сочли нужным упомянуть пособия Дройзена, Бернгейма и Ланглуа и Сеньобоса, хотя они и рассматривают методологическую переориентацию в дисциплине. (*Fueter E*. Geschichte der neueren Historiographie, in *Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte*, Abt. 1 (Munich

Было бы преувеличением сказать, что Иоганн Густав Дройзен стремился отыскать прочное основание исторического знания. У него была другая цель. Его *Grundriss der Historik* лишь отчасти являлось пособием по методологии¹⁶⁸, огромное значение в его работе имеет философский контекст. Как отмечал сам автор в предисловии, «цель этой книги будет достигнута, если она побудит читателей к дальнейшему обсуждению затронутых проблем. Эти проблемы связаны с природой и предназначением метода и охвата нашей дисциплины» (предисловие к изданию 1868 г., xii). Для книги в сто страниц такая цель была довольно амбициозной. «Заново открывший» и переиздавший эту брошюру в 1924 г. Эрих Ротакер высоко ее оценивал. Книгой Дройзена начиналась серия репринтов, с помощью которой Ротакер намеревался проиллюстрировать парадигму взаимодействия философии и специальных дисциплин (viii). Позже брошюра Дройзена получила новую редакцию, целью которой была демонстрация оригинальности мысли ученого, а не обсуждение его методологических взглядов. Редакторы стремились прояснить истинное значение кратких утверждений Дройзена по большей части за счет рукописей его лекций. Поскольку моей задачей здесь является анализ функционирования книги в качестве пособия,

and Berlin: Oldenbourg, 1911); Barraclough G. History, in Main Trends of Research in the Social Sciences and the Humanities (The Hague: Unesco, 1978.)

¹⁶⁸ При жизни Дройзена текст слегка изменялся от издания к изданию, в 1868, 1875 и 1882 гг. Здесь использовалось издание 1925 г. См. прим. 1.

Профессионализм историка и историческое знание

для меня важен оригинальный печатный текст, а не его контекст, предыстория или намерения автора¹⁶⁹.

Ротакер приводит три примера взаимодействия, которое он имеет в виду. Дройзен в большей степени, нежели Ранке, испытал на себе влияние Гегеля, кроме того, на него оказал воздействие склонный к философствованию филолог Август Бёк. Это сочетание создало идеалистическое наследие, которое существенно преобразилось в брошюре. На протяжении всей книги Дройзен защищал это идеалистическое наследие от вмешательства натурализма. Наконец, Ротакер считал невозможным отрицать, что Дройзен своей работой оказал влияние на лидеров историко-философского движения – Дильтея, Риккерта и Зиммеля, и Ротакер приводит примеры этого (viii). После Второй мировой войны в Германии развернулась масштабная дискуссия о политических последствиях исторической теории Дройзена, ее отношении к Канту, Гегелю и другим предшественникам. Дискуссия в большей степени фокусировалась на лекциях Дройзена об *Historik*, нежели на тексте его *Grundriss*. В 1969 г. была обнародована интерпретация Йорна Рюзена, которая долгое время оставалась авторитетной. Рюзен революционизировал толкование Дройзена, рассматривая его *oeuvre* в целом, вместо того чтобы считать *Historik* исключением. В своей книге *Begriffene Geschichte* Рюзен утверждал: невозможно составить представление о дройзеновской теории отношения настоящего с его политическим праксисом и прошлого с его определенным действием ис-

¹⁶⁹ В предисловии ко второму изданию *Grundriss* Дройзен отверг, по крайней мере, временно, сделанное ему предложение развить текст дальше и превратить его в настоящий учебник. (*Droysen. Grundriss*, 1875, 2.)

ключительно на саморефлексии автора в *Historik*¹⁷⁰. Нет причин оспаривать это утверждение, нужно лишь указать, что Рюзен работал с теми же проблемами, что и его предшественники, исследовавшие труды Дройзена, хотя его методология и результаты были другими. Вследствие этой холистической интерпретации Рюзен уделил гораздо меньше внимания *Historik*, чем другим работам Дройзена. Подразумевалось, что та же самая теория истории, которая есть в *Historik*, присутствует в работах Дройзена об античной культуре и политике Пруссии. В своей позднейшей книге *Für eine erneuerte Historik* Рюзен вступает в дискуссию с другими немецкими учеными об истолковании *Historik*, но его работа полностью посвящена философии истории. Такой подход охватывает идеи развития, теорию действия, эпистемологию, но обе книги едва затрагивают методологические вопросы¹⁷¹. Вильфрид Ниппель представил в 2008 г. новую интерпретацию работы Дройзена. Он утверждает: письма Дройзена друзьям и его публикации показывают, что в *Historik* (= *Grundriss*) «не излагалась “чистая теория”, книга являлась частью общей стратегии Дройзена». С самого начала легенда о Дройзене была связана с представлением

¹⁷⁰ Rüsen J. Begriffene Geschichte: Genesis und Begründung der Geschichtstheorie J. G. Droysens (Paderborn: Schöningh, 1969), 15. Хейден Уайт кратко представил развитие новой оценки труда Дройзена (Droysen's *Historik*. Historical Writing as a Bourgeois Science, Heyden White, The Content of the Form [Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1987], 83–103).

¹⁷¹ Rüsen J. Für eine erneuerte Historik: Studien zur Theorie der Geschichtswissenschaft (Stuttgart-Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog, 1976). Книга рассматривает философские проблемы, а не анализирует историю историографии.

Профессионализм историка и историческое знание

о том, что его *Historik* была прагматичной и выросла из знания фактов, определенного логикой и опытом, как объяснял величие Дройзена один из его восторженных почитателей¹⁷². По мнению Ниппеля, Дройзен сам создавал свой образ великого реформатора исторической дисциплины среди своих друзей, но это принесло плоды только в 1920-х гг. (Не вполне понятно, как этот вывод противоречит теоретическому толкованию.)

Обратившись к тексту *Grundriss*, мы обнаруживаем систематическое изложение основополагающих идей. Основные темы присутствуют уже во введении; затем Дройзен рассматривает формирование текста историка с учетом трех характеристик: метода, систематического подхода, его актуальности. Три завершающие главы под общим заголовком «Приложения» рассматривают философские аспекты исторических текстов. Сначала Дройзен показывает, как история превратилась в *Wissenschaft*. Следующей темой является природа и история, а в последней главе речь идет об искусстве и методе. В издании 1924 г. Ротакер добавил главу о теологии истории из другой работы Дройзена; ее содержание, безусловно, соотносится с предыдущими главами.

Поразительно, но в первой части книги автор следует той модели, которую сам описал. Легко представить, чем он мог заполнять паузы между тем, что сейчас кажется короткими утверждениями, в устной дискуссии. Позднейшие издания пытались заполнить эти пробелы реконструкцией лекций Дройзена и его ранней рукописи¹⁷³.

¹⁷² Nippel, 2008, 227.

¹⁷³ Издание Петера Лея (1977) представляет три версии, реконструкцию первых лекций (1857), первую рукопись Дройзена

Но даже с учетом такого чтения между строк работа носит таксономический характер. Необходимо помнить, что она была написана в период, когда таксономия все еще высоко ценилась, а каузальная революция в научной аргументации, вызванная Дарвином, только началась. Вкратце содержание книги таково.

Методология состоит из трех основных частей: эвристики, критики и интерпретации. Эвристический метод исследует материалы, которые бывают трех типов: *Überreste*, *Quellen*, и *Denkmäler* (примерный перевод: остатки исторического развития в широком смысле, тексты из прошлого и памятники). *Überreste* бывают четырех видов плюс те, что переходят в категорию *Denkmäler*. *Quellen* можно разделить на три категории: субъективные, прагматические и вторичные. Критика тоже делится на четыре основных вида, из которых третий имеет четыре подвида. И так далее. Это характерно для всего раздела, в котором говорится о методологии в ограниченном смысле (его Дройзен тоже называет методологией) и который занимает всего одиннадцать страниц (13–24). Следующий раздел, названный *Systematik*, в равной степени таксономичен по форме, а его главная цель – классификация исторических трудов по типу содержания, формам, агентам (государство, народ, церковь, искусство и так далее) и целям. В первых двух разделах Дройзен часто использует подразделы (25–36). Наконец, раздел под заглавием *Topik*, посвященный формам исторической презентации, включает четыре основные части, рассматривающие исследовательский, нарративный, дидактический и дискуссионный виды историописания. В этой части нет подразделов.

Профессионализм историка и историческое знание

Я не считаю, что систематический подход Дройзена не имеет ценности, это не так. Он работал в той же традиции, что и великие ботаники XVIII – начала XIX в., такие, как Линней, считавший, что привнесение таксономического порядка в мир уже само по себе является средством понять его. Нужно отметить, что Дройзен вполне мог использовать такую упорядоченную картину исследовательских процедур историка как способ удержания нити повествования в ходе устного выступления. В недавних исследованиях была предпринята попытка реконструировать полный курс лекций, прочитанных им в 1857 г. и на протяжении последующих семнадцати лет¹⁷⁴. Сам ученый предпочел опубликовать краткую, систематизированную версию заметок (они могли служить историку в качестве рабочих инструментов, разложенных по порядку), но он наверняка имел виду нечто большее.

Однако содержание книги к этому не сводится (я все еще говорю лишь о первой части брошюры). В резюме трехстраничной главы о «критике» Дройзен говорит:

«Результатом критики является не “реальный исторический факт”, но материал, подготовленный для того, чтобы сделать возможным относительно прочное и точное представление. Добросовестность (*Gewissenhaftigkeit*), не идущая дальше результатов критики, вводит в заблуждение, выпуская на волю воображение вместо того, чтобы найти правила для дальнейшей работы, которые обеспечили бы ее точность»¹⁷⁵.

¹⁷⁴ *Droysen J.G. Historik*, ed. Peter Leyh (Stuttgart-Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog, 1977).

¹⁷⁵ «Das Ergebnis der Kritik ist nicht `die eigentliche historische

В оригинальном немецком тексте еще очевиднее, чем в английском переводе, что методологической целью является достижение (относительно) прочного знания посредством системы правил. Она не сводима к «критике источников» в ограниченном смысле, но имеет отношение ко всему процессу работы историка. Однако в главе, посвященной интерпретации, Дройзен объяснил, что основополагающая реальность в истории определяется моральными силами (*sittliche Mächte*), которые ведут и направляют живые духи (*die entflammten Geister*), такие как идеи времени, народа, отдельных людей. «Эта идея или комплекс идей, показанный через интерпретацию в группе событий, для нас являет истину этой группы событий», – заключал он. Группа событий – реальность, порождающая «комплекс идей» (моральную перцепцию и реакцию), который, в свою очередь, есть форма, через которую нам является реальность. «В этой перцепции [моральной ситуации] мы понимаем, что произошло, а из этого мы понимаем ту идею» (23–24). Итак, система правил ведет к рождению особой догадки в идеалистическом мире, где центральными являются моральные силы¹⁷⁶. Для Дройзена эти моральные силы были основ-

Tatsache,‘ sondern, dass das Material bereit gemacht ist, eine verhältnismässig sichere und korrekte Auffassung zu ermöglichen. Die Gewissenhaftigkeit, die über die Resultate der Kritik nicht hinausgehen will, irrt darin, dass *sic* der Phantasie überlässt, mit ihnen weiter zu arbeiten, statt auch für die weitere Arbeit Regeln zu finden, die ihre Korrektheit sichern.» *Droysen. Historik*, 1925, 19.

¹⁷⁶ Этика имеет дело с моральными силами. «Ethik und Historik sind gleichsam Koordinaten. Denn die Geschichte gibt die Genesis des ‘Postulats der praktischen Vernunft, das der reinen Vernunft’ unfindbar blieb» (*Droysen. Historik*, 1925, 35). Как и многие другие в девятнадц-

Профессионализм историка и историческое знание

ным объектом работы историка, о них свидетельствовала историческая система правил.

Так Дройзен трансформировал историческую методологию, превратив ее в мощный инструмент широкого спектра применения. Она стала ключом для понимания мира и человеческого поведения. Многие, например, французские моральные философы XVIII в. и писатели, подобные Вольтеру, использовали историю для прояснения моральных норм. Дройзен идет в обратном направлении. Он говорит о том, что существует (или должно существовать) прочное знание об истории, основанное на системе правил, которая позволяет сделать надежные выводы относительно моральности, а именно моральных движущих сил акторов истории. В его философии история становится средством приближения к основам человеческого поведения в рамках последовательной и прочной системы знаний.

Первая часть книги Дройзена – лекции по методологии – могут создать впечатление, что он был одним из первых сторонников идеала научной истории, распространившегося на рубеже XIX–XX вв. Это, конечно, неверно. Логично было бы предположить, что сам Дройзен видел – его заметки к лекциям могут быть неверно поняты. Поэтому во второй и третьей частях книги, посвященных природе и истории и искусству и методу, он постарался защититься от неверного истолкования. Глава об истории как *Wissenschaft*, по сути, является рецензией на работу Бокля 1858–1861 гг. о цивилизации в Англии. Примерно половина главы посвящена рассмотрению индуктивного метода Бокля и его недостатков. Остальное

цатом веке, Дройзен использовал аргументы, близкие к Канту, но заменял своей моральной философией теоретическую философию последнего.

место отдано резкой критике идей Бокля; здесь Дройзен оспаривает отрицание Боклем свободы воли, а также его идею законов, управляющих жизнью, его способ определения роли интеллектуальных и моральных сил. Тем не менее можно сделать вывод: хотя Дройзен не принимает эпистемологические и методологические идеи Бакла, гораздо критичнее он относится к его практической философии, ее последствиям в связи с идеей прогресса.

Нюансы дройзеновской идеи исторического знания разработаны в его эссе об истории и искусстве. В художественных произведениях техническая и художественная (*das Musische*) стороны взаимосвязаны. Можно забыть о недостатках художественного исполнения из-за идеи произведения. То, что создается искусством, «есть тотальность, мир в себе». Оно отличается от научной мысли (*Wissenschaften*). Для эмпирических *Wissenschaften* необходимо определить границы своего знания, исправить ошибки, порожденные их методами, и так далее. Возможно, главной заслугой «критической школы» в истории является то, что она сделала анализ источников основополагающим. Это означает, что прошлое достижимо не непосредственно, а непрямым путем, что «мы не можем познать прошлое “объективно”, но всего лишь создать идею, образ, отражение из “источников”». Только это и возможно знать о прошлом, что означает: история не существует открыто (*äusserlich*) и реалистично, но лишь в опосредованной форме, выявляемой в исследовании (81–82).

В этом эссе Дройзен был гораздо более осторожен в отношении исторической объективности, чем в своих методологических лекциях. И эссе, и лекции он начинал рассуждениями об исторических остатках, но подчеркивал, что они являются остатками прошлого только

для исторического подхода: в других отношениях это – часть современной жизни. Исторические остатки являются отправным пунктом исторического исследования, хотя легко пересечь черту между тем, что реально осталось, и тем, что является индивидуальными взглядами на прошлое. Намекая на эссе о Бокле, Дройзен опять утверждает: он хочет опровергнуть представление о том, что лишь методы естественных наук делают дисциплину наукой. Мир морали отличается от них. Мы легко формируем субъективные убеждения об этих материях, но важно найти методы объективной проверки наших субъективных впечатлений. «Только в этом может заключаться смысл столь часто упоминаемой исторической объективности», – говорит Дройзен. «Нам нужно найти методы», – добавляет он. Похоже, ученый имеет в виду, что интерпретация искусства – тема, о которой он пишет, – может оказаться для него решением вопроса о методах. Неслучайно он завершает эссе утверждением, что все методы имеют главный фокус. Задача *Historik* (а именно основ исторического исследования, которые хотел изложить Дройзен) – суммировать эти идеи и разработать на их основе систему и теорию – не теорию исторического развития, но теорию исторического исследования и знания.

Новый смелый подход, содержащийся в книге Дройзена об историческом методе, заключался в том, что историк мог получить прочное знание об истории с помощью применения последовательной методологической системы правил. Кажется, однако, что смелость идеи напугала даже ее создателя, так что он прибегнул к оговоркам. Одна из них свелась к появлению (в некоторых текстах его методологии, но не во всех) неопределенности в отношении к прочности такого знания. Другая оговорка

появилась в эссе, в его рассуждениях о проблеме уверенности, связанных с методологией, где подчеркивалась скорее неуверенность, нежели прочность.

Дройзен не сомневался, что история предполагает знание реального прошлого и эта реальность является главным критерием истины исторического повествования. Однако историческая реальность, которую историкам важно прояснить – или, возможно, единственная историческая реальность, – имеет отношение к моральному универсуму действующих лиц. Из слов ученого можно заключить, что человеческие действия, движения во времени и пространстве не составляли ту реальность, о которой он говорил, но скорее, моральный универсум (*sittliche Welt*) действий по отношению к моральным нормам и их (моральным) последствиям. В этих размышлениях можно усмотреть возвращение к Канту и Ранке – или же раннее появление неокантианской и неоранкеанской мысли.

Четкое понимание различий между теорией исторического развития и (мета) теорией исторического исследования и знания позволило Дройзену сделать шаг вперед в развитии исторической методологии с середины XIX в. Важно, что он сделал акцент на методологии. Вскоре после публикации книги Дройзена несколько неокантианцев выступили с аналогичными идеями, подхода к истории исключительно с точки зрения философии. В отличие от них Дройзен подчеркивал необходимость правил, служивших практическим нуждам историков. Цель существования методологической системы правил – обеспечение прочного исторического знания, утверждал Дройзен в своих методологических лекциях. Однако когда он говорил об условиях исторического знания подробнее, перед ним возникала дилемма. Ученый не хо-

Профессионализм историка и историческое знание

тел принять индуктивный идеал исторического знания, воспроизводивший модель естественных наук, потому решил опереться на кантианскую модель субъект-объектных отношений, сделать кантианское понимание морального мира и моральных сил центром исторического исследования. «Объективное» знание моральных сил было недостижимой целью, согласно Дройзену, но он так и не отказался от идеи, что совершенствование методологии послужит цели улучшения основы исторического знания. Он по-прежнему стремился найти прочное знание истории, и в его поисках устремлялся даже к искусству.

Эрнст Бернгейм и правдоподобие

Lehrbuch der historischen Methode Эрнста Бернгейма (1889) планировалась как подробное пособие, охватывающее все то, что должен был знать об историописании студент (или профессор). Издание 1894 г. содержало 624 страницы. В 1903 г. Бернгейм утверждал, что включил в него материал по философии истории. Он был разбросан по разным главам, а это означало: книга разрослась, и на первый план в ней вышли эпистемологические аспекты исторического метода. Эти и другие изменения должны были придать завершенность замыслу, очевидному уже в первом издании. Пятое и шестое издания, вышедшие в 1908 г., стали самыми популярными, к тому времени работа насчитывала уже 840 страниц. Их я и буду цитировать. В позднейших изданиях объем книги не увеличился.

Бернгейм был уважаемым профессором, специализировавшимся в области раннесредневековой политической мысли. Это означает, что его специальность находи-

лась в самом сердце дисциплины: необходимо помнить, что в то время все еще считалось, что история состояла из трех основных и примерно равнозначных периодов – Античности, Средневековья и Новой истории. Последний начался около 1500 г. Поэтому на становившихся все более популярными исторических семинарах в европейских университетах чаще всего учили истории Средних веков. Случайные примеры из XVI и XVII веков уравнивались рассуждениями об использовании текстов римских авторов первых столетий нашей эры. Антиковедение уже начало отделяться от истории, а у историков отсутствовал профессиональный интерес к оценке археологических свидетельств. Подобный материал в книге Бернгейма не рассматривается.

Lehrbuch Бернгейма охватывает разнообразные темы. В изданиях 1908 г., на которых построен наш анализ, шесть основных глав. Первая рассматривает идею научной истории (*Geschichtswissenschaft*) и ее сущностных характеристик (*Wesen*). Вторая глава обращается к методологии, третья – к информации об источниках, или эвристике. Четвертая глава посвящена «критике», включая анализ источников. Пятая озаглавлена «Постижение» (*Auffassung*), что означает: в ней рассматриваются сведения из разных источников в их сочетании. Шестая глава – самая короткая, в ней анализируется историческое повествование. По сути, деление материала Бернгеймом напоминает дройзеновское.

Дройзен описывал методологию набором коротких фраз, требовавших комментариев и объяснений, тогда как изложение Бернгейма всесторонне и обстоятельно. Он посвящает 70 страниц общим рассуждениям о методологии и 230 – подробному изложению «критики» во всех ее формах. На них мы и остановим наше внимание.

Профессионализм историка и историческое знание

Бернгейм отбрасывает идею о том, что истории не нужна особая методология в силу ее тесной связи со здравым смыслом. Такой довод означал бы, что любой мог начать с азов, а это открыло бы дисциплину для самоучек. Не имело смысла и критиковать методологию истории потому, что она состояла из неизменных правил, не применимых к постоянно менявшимся явлениям. Бернгейм сравнивал историю с медициной, где индивидуальные варианты болезни не исключают существования систематических методов диагностики и лечения (179–184). Но тем не менее существует и специфический исторический метод. «Первой и главной задачей исторического метода, помимо сбора материала, является установление взаимосвязанных событий как фактов (*die Tatsächlichkeit der überlieferten Begebenheiten festzustellen*), – подчеркивает Бернгейм во фразе, которая с трудом поддается переводу. – То есть, – продолжает он, – удостоверение того, что они действительно имели место». Чтобы добиться этого, мы должны полагаться, во-первых, на сделанные историком наблюдения «остатков» событий, затем – на наблюдения свидетелей, надежность которых проверена. Здесь ученый отсылает читателя к длинной главе о критике источников, затем обращается ко второй задаче методологии, а именно к познанию связей между фактами, то есть к тому, что он называет *Auffassung*, а я перевожу здесь как «постижение» (185). Одна из основных глав книги посвящена исключительно этой части методологии.

Таким образом, было бы неточным или даже неверным обвинять Бернгейма (или «традиционную методологию истории») в игнорировании того обстоятельства, что связи между отдельными «событиями» или «фактами» есть нечто отличающееся от установления этих

«событий» или «фактов» и требует иной методологии¹⁷⁷. Автор подчеркивает: отдельные факты должны быть поставлены в причинно-следственную связь с «целым» или «развитием». Эта постоянная связь отдельного события или факта с целым и общим, согласно Бернгейму, и составляет главную характеристику исторического метода (188).

Одна из трех частей главы по методологии целиком посвящена предмету, озаглавленному «Установление (*die Begründung*) метода против скептицизма (точность истории)». В этой главе Бернгейм признает две проблемы, которые могут заставить сомневаться в возможности достижения прочных результатов в истории. Первая заключается в предмете истории и, следовательно, имеет объективный характер; вторая – в способе человеческого познания, и она субъективна. Это, однако, еще не все. Бернгейм возражает против утверждения, что история не может достичь точного знания, поскольку не опирается на логику или эксперимент, говоря, что «истины» могут быть «несомненными» без демонстрации. Это – «несомненность», вырастающая из непосредственного опыта и наблюдения, и от нее зависит историческое знание. Такая несомненность не хуже любых других ее форм (189–190). Примечательно отсутствие указаний на то, что (как полагал ученый) каждое отдельное наблю-

¹⁷⁷ В своей важной книге, к сожалению, вышедшей только на датском языке, Инга Флото (*Floto Inga. Historie: En videnskabshistorisk undersøgelse* (Copenhagen: Museum Tusculanum, 1999), 42), утверждает, что Сеньобос в конце 1880-х гг. приехал из Германии и жаловался, что обнаружил там лишь эрудицию и критику источников, но не то, что он называл «ученым синтезом». Это важно отметить в связи с адресовавшейся Сеньобосу критикой Февра, обвинявшего его в исключительном интересе к событиям. См. ниже, прим. 31.

Профессионализм историка и историческое знание

дение в экспериментальных науках зависит от такого же типа несомненности, какой он приписывает истории. Бернгейм, кажется, полагал: несомненность непосредственного наблюдения есть нечто уникальное для истории.

Ученый отмечает два вида сомнений, связанных с «субъективной возможностью прочного исторического знания». Первый касается возможности реальной эмпатии по отношению к эмоциям и мыслям других людей. Бернгейм отвергает это возможное возражение при помощи черт, приписываемых всему человечеству. Логика не меняется, а поэтому можно анализировать мысли; не меняются и психические процессы, хотя могут меняться их проявления. Процессы перцепции и концептуализации не идентичны, но аналогичны у всех людей, согласно Бернгейму, и история должна работать на основании этого предположения. Второй тип сомнений в отношении субъективной возможности достижения точного исторического знания связан с тем, что все люди обладают собственным восприятием, даже если называют вещи теми же именами. Это также отвергается на основании сходства психических процессов (190–197). Подобные утверждения, естественно, стали объектом критики позднейших теоретиков¹⁷⁸. Ученый не выдвигал других доводов, кроме необходимости принятия этих утверждений для того, чтобы получить точное историческое знание. Он, похоже, никогда всерьез не рассматривал другие возможности, несмотря на то, что его размышления явно ходят по кругу. Он считает само собой разумеющимся, что достижение точного исторического знания вероятно на основании определенных общих утверждений о пси-

¹⁷⁸ Особенно в: *Renvall P. Den moderna historieforskningens principer* (Stockholm: Natur och Kultur, 1965) (перевод с финского), 75.

хических процессах человека, и эти утверждения рациональны, так как необходимы для обеспечения возможности достижения прочного исторического знания.

Существует ли «объективная возможность прочного исторического знания»? Это – следующий вопрос Бернгейма, относящийся к историческому материалу и методам, которые необходимо использовать. Он утверждает: материал изобилует лакунами, отношения тенденциозны и приводят в заблуждение, а то, что «остается [*Überreste*], несомненно, предлагает непосредственные свидетельства», но они могут запутывать как в отношении «фактологии» (*Tatsächlichkeit*), так и тем, что часто связаны с тенденциозными отношениями. Ошибки в датах, непонятные спецификации и т.п. невозможно отрицать. Все это типично и неизбежно, отмечает Бернгейм, но не должно приводить к упадку духа и скептицизму, поскольку такие обстоятельства всего лишь показывают необходимость использования методов и контроля. Методы, о которых ученый говорит в главе о критике, предоставляют способы «добраться до фактических событий», не делая ошибок, несмотря на вводящую в заблуждение информацию.

После этого он утверждает: «Мы, конечно, не можем достичь безусловной уверенности во многих частных случаях; даже наши методологические заключения и утверждения о достоверности источников зависят, как мы покажем дальше, от общего эмпирического знания (*Erfahrungssätzen*), которое в частных случаях через индивидуальные девиации может быть случайно нарушено». И продолжает: «Но когда мы, наконец, понимаем, что не можем во всех обстоятельствах достичь безусловной точности, нас не соблазнит общий скептицизм, который Вольней и В. Фишер выражали следующим об-

разом: “в истории совсем нет прочного знания”. Иначе мы должны будем по той же причине сказать то же самое о других науках [*Wissenschaften*]». В истории явно есть, по Бернгейму, полный набор информации, которую нельзя подвергать сомнению. И он добавляет: «с учетом этого прочного основного набора информации мы можем согласиться, что в истории, как и в других науках [*Wissenschaften*], мы нередко удовлетворяемся вероятным, а во многих случаях и возможным» (197–200).

После этой уступки существованию не вполне прочного знания в истории Бернгейм пытается определить «вероятность» и «возможность» исторического знания. «Факты» (!), которые опираются на аргументы, более несомые, чем те, что им противоречат, являются «вероятными», тогда как те «факты» (!), которые не основываются на прямых или косвенных свидетельствах, всего лишь «возможны» (201). Снова и снова он заверяет читателя в том, что невозможность достичь точного знания в истории не относится ко всему историческому знанию, но лишь к его частям. Существование вероятностей и возможностей в истории не дает оснований для общего скептицизма в отношении точной природы исторического знания. Во-первых, историки ищут реального знания, а уж затем, вдобавок, и вероятного, и возможного знания. Таково кредо Бернгейма.

Для наших целей важно отметить, что ученый не видел противоречий между общей целью обеспечения точного исторического знания через общепризнанную методологию и уступками в отношении невозможности достижения несомненного знания о некоторых вещах и необходимости обращаться к вероятностям. Для него история состояла из основного, несомненного исторического знания, остатков не вполне точно установленных

фактов и еще более неопределенной зоны возможностей. Поэтому Бернгейм завершил раздел об объективной возможности точного исторического знания утверждением, что скептицизм опровержим, откуда бы он ни исходил. Это проистекает из «представления о том, что прочным основанием нашей науки [*Wissenschaft*] должны быть сознательные методические процедуры».

После этих предварительных рассуждений о методологии в целом Бернгейм переходит к критике источников как способу установления точности информации или определения степени вероятности того, что она будет признана фактической. Нарративные источники должны анализироваться при помощи «внешней» и «внутренней» критики. Поскольку они рассматриваются в качестве свидетелей, критические принципы, по сути, являются психологическими. В этом отношении важно содержание нарративов и сочетание информации, а потому невозможно различать интерпретацию и критику. «Справедливо сказать, что история получила статус науки (*Wissenschaft*) благодаря методической критике, ведь только тогда оказалась возможной уверенность в основных фактах или же точное опровержение неистинного и ложного» (324–326).

Следующие две сотни страниц содержат примеры критики источников, сначала такой, которая именуется низшей, или внешней, критикой (330–464), затем высшей, или внутренней, критикой (464–549). Бернгейм демонстрирует свою эрудицию в отношении внешней критики: почти все принципы рассматриваются на примерах, часть которых хорошо известна в истории историографии, другие имеют более эзотерическую природу. Рассуждения остаются на практическом уровне: как приводить доводы «за» или «против» аутентичности

документа, как упорядочить серию рукописей, составив стемму, или хронологическую схему. Почти все примеры относятся к специализации самого Бернгейма, европейскому Средневековью. Дается предупреждение против «гиперкритицизма», относящееся к ситуациям, когда по неверным основаниям подлинные документы отбрасываются как неаутентичные.

Рассуждения о «внешней» критике можно встретить во многих других пособиях по методологии истории, и более ранних, но преимущественно более поздних, однако нужно отметить, что немногие из них столь подробно и с таким количеством примеров рассматривали эти принципы. И вряд ли какое-либо пособие отставало иной взгляд на проблему, хотя набор примеров и исторические ситуации, использованные в них, могли отличаться. Раздел по внутренней критике в этом отношении отличается. Бернгейм различает два главных аспекта: характер источников и индивидуальность автора. Первый состоит главным образом из типологии разных видов материалов, тогда как второй рассматривает надежность и моральный облик автора (465–506 и 506–514). Последний раздел особенно интересен. Бернгейм начинает с вопросов о «достоверности нарратива», рассматривает вопрос «первоисточников» и сходные проблемы (близкие «внешней» критике), затем переходит к авторам и их характеру, чтобы оценить достоверность созданных ими текстов. Похоже, что в этом случае текст источника для критики менее важен, чем его автор. В конечном счете, надежным является не текст, а личность, его замыслившая. Это верно, если задается тот же вопрос, что и у Бернгейма, а именно о достоверности. Обычно он не задает вопросы об истине и лживости, редко использует слова «истинный» и «лживый». Поскольку они относят-

ся к утверждениям и текстам, это вполне соотносится с общим методологическим подходом ученого. Бернгейм считает: прочное знание связано с надежными наблюдениями, свидетельствами, которые нельзя подвергнуть сомнению, с достоверностью авторов, а не с истинными и ложными утверждениями.

Всеобъемлющая книга Бернгейма о методологии истории стала попыткой собрать и систематизировать все знание об исторической методологии, существовавшее на рубеже веков. Автор задумал ее, имея в виду последовательную позицию по отношению к историческому знанию, делая все типологии и примеры единым целым. Из ссылок в тексте ясно, что ученый хорошо знал литературу по методологии, появившуюся в промежутке между изданиями его книги, старался следить за дискуссиями по основным историческим проблемам в их методологическом аспекте. В данном отношении это великолепная книга.

Для Бернгейма историческое знание было непосредственно связано с историей. «История» была не только предметом исторической науки, но подтверждением объекта знания, то есть самого прошлого. Отметим, что он не делает различия между референцией и значением (как многие философы эпохи модерна)¹⁷⁹, но его рассуждение об исторической методологии предполагает идентификацию процессов подтверждения и означения. Референция *in abstracto* превращается затем в референцию *in concreto*. По сути, центром размышлений Бернгейма является вопрос подтверждения.

¹⁷⁹ Davidson Donald. Interpretation: Hard in Theory, Easy in Practice, in Meaning and Interpretation, ed. D. Prawitz, Stockholm (KVHAA), 2002, 71–86; Quine Willard V. The Roots of Reference, La Salle, Ill. (Open Court), 1974.

Профессионализм историка и историческое знание

Однако в тексте книги имеется определенная двусмысленность по отношению к точному знанию. Ученый утверждает, что главная цель истории (как науки) — установление точного знания, благодаря ее методу, ведущему к «точному знанию», история является наукой (*Wissenschaft*), но в то же время недвусмысленно утверждает: «точное знание» в истории не дает точности того же рода, что в естественных науках. Когда Бернгейм размышляет о принципиальной возможности установления точного знания, он различает точное знание, вероятности и возможности. Все три степени точности относятся к «фактам». То, что нельзя утвердить как знание, должно рассматриваться как вероятность. То есть, несмотря на цель — установление точного знания, Бернгейм оставляет место — и более чем просторное — для вероятностей и возможностей в практике историка.

Источники являются лишь средством обретения точного знания о самой истории. Бернгейм — исторический реалист, и его историческая эпистемология устремлена к истории как к объекту. С другой стороны, он — практикующий историк, и его рассуждения погружаются в детали, когда он рассматривает анализ источников: как его производить, какие выводы делаются из анализа одного документа по отношению к другим. Утверждение Бернгейма, что история занимается объектом истории (его исторический «объективизм»), проявляется разными способами, в частности в многократно повторяющихся рассуждениях о «лакунах» в материале, за которыми видим его представление о том, что есть (или была) «реальная» история, полная (без лакун) и являющаяся местом референции. Бернгейм не развивает тему неполноты знания историка таким образом, как это делали многие дру-

Рольф Тоштендаль

гие теоретики. Она, конечно, использовалась как оружие против возможности достижения «истинного знания» об истории (поскольку мы можем узнать лишь немного о каждом событии или процессе). Бернгейм не вступает в спор с доводами «за» или «против», несмотря на то, что упоминает о невозможности заполнить «лакуны» в материале о прошлом.

Другим важным моментом является то, как он обращается с нарративными источниками. Здесь его интересует прежде всего автор. Автор тоже часть прошлого, и его можно рассматривать как исторический объект, который познает историк. Из знания об авторе делаются выводы о написанном им тексте. Если автор надежен и процитированные свидетели честны, текст достоверен.

Бернгейм приблизился к подозрению о том, что точное знание истории недостижимо и является иллюзией. Но он несколько раз отвергает эту идею в своей книге, утверждая, что точное знание истории существует, – однако это больше похоже на заклинание, чем на реальное убеждение.

Шарль-Виктор Ланглуа и Шарль Сеньобос. Истинность утверждений

Ланглуа и Сеньобос рассматриваются здесь вместе из-за их пособия *Introduction aux études historiques* (1898). По другим точкам зрения их взгляды отчасти различаются, но в своем введении в историческое исследование они стремились представить общую позицию. В предисловии к первому изданию они дали нечеткое описание того, как работали над материалом, и это вызвало вопросы об истинном авторстве отдельных частей кни-

ги¹⁸⁰. Во введении ко второму изданию они представили более точную информацию о разделении труда, указав лишь на первую главу второй части, пятую главу третьей части и заключение как на плоды совместных усилий. Оба автора подчеркивали, что разделяют ответственность за весь текст, и нужно отметить, что разрывов в линии аргументации в книге нет.

Opérations analytiques устанавливают два основных правила, подчеркивающих, что основанием всех критических выводов являются утверждения в материале, а не типы материалов или типы авторов. Эти правила таковы:

1) историк должен оценивать достоверность каждого утверждения;

2) критическую оценку нельзя производить *en bloc*: документ нужно разделять на составные части, чтобы проверить достоверность каждого отдельного утверждения (134–135).

В предисловии к *Introduction* авторы утверждают, что в их намерения не входило написать краткий обзор мировой истории, они не стремились внести свой вклад и в без того обширную (!) литературу по так называемой философии истории. Книги последнего типа обычно пишутся теми, кто не является историком по профессии, но избрал историю предметом своих размышлений. Одни ищут «совпадения» или «законы»; другие полагают, что обнаружили «законы, которые управляли развитием человечества», и таким образом заложили основы «истории как позитивной науки» (V–VI). Последняя аллюзия была нацелена на П.Ж.Б. Бюше и его *Introduction à la science de l'histoire* [Введение в историческую науку]

¹⁸⁰ «La première moitié du livre a été rédigée par M. Langlois, la seconde par M. Seignobos; mais les deux collaborateurs se sont constamment aidés, concertés et surveillés,» Langlois and Seignobos, *Introduction*, xviii.

(1842). Столь абстрактные конструкты большого масштаба подрывают доверие к историописанию не только ученых специалистов, но и широкой публики, говорят они, и в качестве примера историка, презиравшего подобные системы «философии истории», упоминают Фюстеля де Куланжа.

В отличие от такого рода философии истории Ланглуа и Сеньобос стремятся «проанализировать предпосылки и процедуры, показать характер и ограничения исторического знания» (VI). Таким образом, они явно не включают эпистемологию истории в то, что именуют «философией истории». Этим термином в их тексте, в основном, обозначаются общие представления об историческом развитии. Объясняя, что они намерены прояснить применительно к историческому знанию, авторы указывают: речь идет о том, как обретается историческое знание, как оно возможно и что это значит – иметь знание о прошлом. Оба утверждают, что хотят представить не набор фактов или некую систему представлений о всеобщей истории, а скорее «эссе о методе научной истории (*sciences historiques*)» (VI-VII).

В последующем обзоре литературы, посвященной историческим методам, Ланглуа и Сеньобос упоминают книги ряда авторов, утверждая, например, что Э.А. Фримен, А. Тардиф и У. Шевалье говорят лишь элементарные и предсказуемые вещи (XI-XII). Дистанцируются они и от книг Дройзена и Бернгейма, хотя выделяют их особо. Первая, по мнению исследователей, «тяжеловесна, педантична и запутанна» (XI), вторая «отводит много места метафизическим проблемам, которые мы считаем лишёнными интереса» и не обращает внимания на «критические и практические подходы, которые мы считаем особенно интересными» (XV).

Таким образом, Ланглуа и Сеньобос, соотнося свою книгу с предшествующей литературой по теме, задали явно полемический тон. Рассматривая труд Бернгейма, они отметили большой охват его работы и заявили, что не стремятся написать *Lehrbuch der historischen Methode*, поскольку их сочинение представляет собой краткий очерк (XVI). (Книга состоит из 308 страниц меньшего формата, чем страницы в издании Бернгейма.)

То, что называется *connaissances préalables*, составляющее первую часть *Introduction*, не является некоей общей эпистемологической теорией, как можно было бы подумать, но представляет собой две главы, повествующие о том, как найти материал для исторического исследования (эвристика), и о вспомогательном знании. Второй части предшествует восьмистраничное введение, в котором рассматриваются «общие предпосылки исторического знания». Первое предложение гласит: «Мы уже отметили, что история состоит из документов, и что эти документы являются следами прошлых событий [*faits passés*]». И дальше: «События могут быть эмпирически познаны двумя способами: или напрямую через непосредственное наблюдение, или косвенно через изучение следов, которые они оставили» (43)¹⁸¹.

Следы прошлого – документы (по большей части); историческая методология занимается размышлениями, которые могут привести от наблюдений над докумен-

¹⁸¹ Я перевожу «факт» иногда как «событие», а иногда как «факт» в зависимости от контекста, который порой не вполне ясен, и потому можно было бы использовать оба перевода. Я отдаю себе отчет в том, что это обстоятельство важно для моей аргументации, но обойти это затруднение невозможно, поскольку «факт» во многих случаях является неточным переводом, а «информация» в этом смысле является явной модернизацией.

тами к знанию о фактах прошлого. Необходимы аналитические аргументы, чтобы представить все связи, все обстоятельства, вмещивавшиеся в отношения события и текста, которые могут быть подмечены в письменном источнике. Это означает, что историки находятся в сложном положении. Они, в отличие от химиков, не могут непосредственно наблюдать за происходящим. Их ситуация подобно тому, как если бы химики узнавали о серии наблюдений исключительно из записей своих лаборантов. Поэтому историку необходим критический ум (44–50).

В сопоставлении с работами Дройзена и Бернгейма становится заметно, что Ланглуа и Сеньобос не говорят о некоей всеобъемлющей «истории как таковой» даже в общем обзоре. Их вопросы не касаются того, «что случилось», и не проистекают от групп известных нам событий; скорее, они начинаются с документов и выводов, которые можно сделать на их основании. Различия между авторами трех книг не в количестве требуемых эмпирических свидетельств, ибо все они считают эмпирические свидетельства единственной настоящей основой исследования. Различия, скорее, в том, что считать научной работой, что должно продемонстрировать историческое исследование. Для Дройзена и Бернгейма «история» как «сами события прошлого» достаточно хорошо известна, чтобы стать основой исторического исследования. Для Ланглуа и Сеньобоса исследование должно начинаться с «документов» (категории, в которой они объединяют все тексты прошлого и о прошлом, которые Дройзен и Бернгейм относили к разным категориям).

Аналитические операции, как их называют Ланглуа и Сеньобос, разделены на две основные категории – внешняя и внутренняя критика. В этом отношении они при-

ближаются к Бернгейму. Внешняя критика в *Introduction* рассматривает тот же тип проблем, что и в *Lehrbuch* Бернгейма: критический анализ изначальных версий, анализ того, как разные документы зависят друг от друга, критическая классификация материала. Посвятив главу рассуждениям о важности такой «ученой» критики, Ланглуа и Сеньобос отстаивают глубокий научный анализ исторического материала, который способен превратиться в особый вид искусства. Публика может считать более интересными «синтетические операции» или изложение исторического развития. Но недостаточность критики будет отмечена. «Разве труды самых знаменитых историков XIX в., скончавшихся совсем недавно, например, Огюстена Тьерри, Ранке, Фюстеля де Куланжа, Тэна и др. не разодраны в клочки (*rongés*) и не изъязвлены (*percés à jour*) критиками? Уже отмечены, определены и осуждены недостатки их методов» (115). Здесь Ранке и ряд знаменитых французских историков сурово критикуются за недостаток учености и профессионализма в историописании.

Внутренняя критика рассматривается в трех главах, которые можно считать самыми важными во всей работе. Их заглавия – «Критика интерпретации (герменевтика)», «Внутренняя негативная критика искренности и точности» и «Определение отдельных фактов».

Целью внутренней критики является определение того, что именно в документе можно считать истинным. Чтобы достичь цели, нужно проанализировать создание документа. Историк должен попытаться определить, что именно мог наблюдать автор, и проанализировать использование им/ею фраз и слов (117–119). «Необходимо принять принцип, который очевиден, но зачастую забыт, а именно: документ содержит только представления того

человека, который его написал, и необходимо принять за правило сначала понять сам текст, а уж потом задаваться вопросом, какие выводы для истории из него можно сделать» (120). Анализ документа означает обнаружение и выделение всех выраженных автором идей. А для этого необходимо наблюдать за употреблением отдельных слов, поскольку их значение меняется в зависимости от контекста. «Мы инстинктивно обращаемся с языком как с фиксированной системой знаков». Это справедливо по отношению к научному языку. «Но повседневный язык, каким написаны документы, подвижен. Каждое слово выражает сложную и плохо определенную идею. У него есть множественные относительные и меняющиеся значения» (121–122). С этими сложностями, которые подробно рассматриваются, должно справляться при помощи четырех основных принципов:

- 1) необходимо иметь в виду, что язык постоянно раз-
вивается, а вместе с ним – слова и их значения;
- 2) язык меняется от региона к региону;
- 3) каждый автор имеет собственный стиль, и необхо-
димо изучать значения, какие он/а придает словам;
- 4) значение выражений меняется в зависимости от кон-
текста, поэтому контекст необходимо изучать (122–123).

«Эти правила составят точный метод интерпретации, если их употреблять строго, и не оставят почти никакой возможности ошибки, но потребуют огромного количества времени» (125).

После применения этих правил всегда нужно возвращаться к автору, поскольку в тексте могут быть значения, скрытые при помощи аллегорий или других имплицитных посланий. Согласно Ланглуа и Сеньобосу поиск скрытых значений или посланий важен в теории герменевтики. Здесь они ссылаются на комментарий

Августа Бёка во втором издании его *Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften* [Энциклопедии и методологии филологических исследований] (1886), на который ссылался и Бернгейм в своей книге (127). Они претендуют на более глубокое его истолкование, нежели то, что было предложено Бернгеймом. Наконец, необходимо отметить, что Ланглуа и Сеньобос предостерегают не против «гиперкритицизма» (как это сделал Бернгейм), но против того, что они именуют «гипергерменевтикой». Они объясняют этот термин ссылками на толкования Платона неоплатониками и Библии сведенборгианцами, а именно: интерпретации любого текста как набора аллегорических историй (128).

Вторая глава о внутренней критике посвящена проблеме намерений автора. Интерпретация ничего не говорит «о внешних фактах» (130). Когда историк сталкивается с противоположными утверждениями в разных документах, ему/ей следует сделать выбор и решить, где содержится ошибка или даже ложь. Трудно преодолеть инстинктивное чувство уверенности, оно мешает развитию правильного метода применительно к данному типу критики. Историки и даже теоретики метода (в числе примеров «П. де Шмедт, Тардиф, Дройзен и даже Бернгейм») ограничивались общими идеями и туманными формулировками, контрастировавшими с точностью внешней критики. Они довольствовались установлением того, были ли авторы в целом современниками событий, их свидетелями, прямыми и хорошо информированными, знали ли они истину и были готовы ее рассказать, или, суммируя все это одной формулой, — были ли они надежны (131). Такой тип поверхностной критики лучше, чем ее отсутствие, но сам по себе недостаточен, считают Ланглуа и Сеньобос. Как и во всех науках, отправ-

ным пунктом должно быть методическое сомнение. Все, что не доказано, должно считаться сомнительным (131). Нелегко установить правила методического сомнения, но два из них предлагаются:

1) «научную» истину невозможно определить через свидетеля. Нужны особые причины считать утверждение истинным. Следовательно, правило состоит в том, чтобы анализировать каждое утверждение.

2) Невозможно подвергнуть весь документ как целое критическому анализу. Правило состоит в том, чтобы анализировать документ по частям, чтобы выделить все его специфические утверждения и проанализировать каждое из них отдельно. Это означает, что критический анализ требует огромного числа действий (133–135).

Следующая часть главы являет собой попытку систематизировать типы анализа, которые могут потребоваться. Гипотетические случаи рассматриваются через два типа вопросов, чтобы, во-первых, определить, является ли утверждение прямым, и, во-вторых, понять, есть ли причины усомниться в точности утверждения (139–150). Далее Ланглуа и Сеньобос обращаются к утверждениям из вторых рук, показывая, что во многих случаях непосредственные наблюдения отсутствуют. В этих случаях необходимо попытаться найти изначальное утверждение и определить, основывалось ли оно на наблюдении, а также провести анализ всех посредников и их возможности владеть данной информацией.

К устной традиции и легендам следует относиться с подозрением (утверждают авторы): их трудно разбивать на составные части для анализа. Они составляют целое, но их необходимо подвергать интенсивному критическому анализу того же типа, что и другие документальные источники.

Профессионализм историка и историческое знание

Самый наивный процесс анализа заключается в отбрасывании деталей повествования или легенды, которые кажутся невозможными, чудесными, противоречивыми или абсурдными, и сохранении того, что кажется разумным в качестве исторического. Так рационалисты-протестанты интерпретировали библейские нарративы в XVIII веке. Это означало бы выбросить все чудесное из сказки, отвергнуть Кота в Сапогах для того, чтобы превратить Маркиза де Карабаса в исторического персонажа (155)¹⁸².

Столь же опасно сопоставлять разные легенды с тем, чтобы извлечь общую историческую основу. Рассматривая легенды как продукты человеческого воображения, можно обнаружить идеи народа, но не внешние факты, ставшие основой легенды. «Поэтому правилом должен стать отказ от любого утверждения, корнящегося в легенде» (155).

В последней главе второй части *Introduction* Ланглуа и Сеньобос рассуждают о том, как можно установить отдельные факты. Критический анализ заключается в поиске концепций и утверждений в документальном материале с комментариями относительно вероятной точности того, что утверждается. Используя разные методы для идей и утверждений, историк может затем перейти к выводам об отдельных исторических фактах и событиях (163). Концепции как психологические факты можно установить на основании единичных документов, но одного утверждения о «внешнем факте» не бывает достаточно для его установления. Критика не может установить факт, она всего лишь показывает вероятности. Таким образом, утверждение не имеет ценности, когда

¹⁸² Перевод Р.Т.

его автор не мог получить нужной информации о содержании утверждения. Тем не менее в истории, за исключением современной, часто случается, что документы предоставляют лишь одно утверждение о событии. Историки часто упоминают это событие вместе с именем автора, но не делая выводов. Лучше не утверждать, но просто указать: некий автор говорит то-то. Однако это зачастую ведет к принятию фактов на основании авторитета определенного автора и заставляет принять все, чему не находится противоречия в других документах. Это абсурдный вывод. «Чтобы спасти историю от этого позорного состояния, нужна революция в устремлениях [*esprit*] историков» (169).

Если несколько утверждений сходятся между собой, все равно нужно сопротивляться естественной склонности верить тому, что это – указание на факт, поскольку утверждение, просто воспроизводящее другое утверждение, не составляет нового наблюдения. Заключение может быть сделано только на основании независимых утверждений о независимых наблюдениях (170–171). Снова рассматривается ряд гипотетических случаев, показывающих: существует масса возможностей того, что согласные между собой документы не составляют независимых утверждений, основанных на независимых наблюдениях (172–176). Если документы расходятся между собой, историки могут обсуждать маловероятность одного из заявленных фактов, но это не научная концепция (177–178).

Ланглуа и Сеньобос завершают вторую часть книги утверждением, что история с ее опосредованными наблюдениями не может сопоставляться с прямыми методами наук, основанных на наблюдении. Они могут производить знание, модифицирующее исторические

Профессионализм историка и историческое знание

интерпретации (как пример упоминается стигматизация), но история не может служить развитию естественных наук.

У нас нет причин углубляться в *opérations synthétiques*. Достаточно сказать, что линия аргументации здесь точно так же, как и в предыдущих частях, основывается на том, что историки обнаруживают в письменном материале, хотя тема этого раздела – как организовать отдельные факты в «науку». «Мы не можем наблюдать реальность прошлого и знаем ее только через ее сходство с реальностью настоящего» (181, 193). Синтетические действия состоят из нескольких шагов, первый из которых заключается в том, чтобы создать образ, настолько близкий к «тому, что могло бы дать непосредственное наблюдение над событием прошлого», насколько это возможно (195–196). Авторы не говорят, что сопоставление с реальностью прошлого возможно или даже нужно для установления истины. Скорее, они говорят, что, поскольку сопоставление с прошлым невозможно, нужно создать его образ (и сверять его в соответствии с определенными процедурами) на основании документов, подвергшихся критическому анализу. Единственной проверкой «реальности», истинности утверждений историка становятся, таким образом, документальные свидетельства, тексты плюс творческий момент аналогии с современностью.

Ланглуа и Сеньобос избрали иной подход к исторической методологии, чем Дройзен и Бернгейм. Их подход полемичен и интеллектуально агрессивен. Бернгейм (в позднейших изданиях) стремился показать, что они близки к его работе, и, по сути, говорят то же самое, но сами авторы указывают на расхождения и на то, что считают провалами Бернгейма.

Ланглуа и Сеньобос уверены в том, что историческое исследование может давать прочное знание, но не удовлетворены методами. Чтобы достичь результата, необходимо совершенствовать методы. Методы используются во время критического анализа материала, с которым работает историк. Для них этот материал состоит из «документов» (этот термин охватывает правовые документы, хроники, старые исторические работы); но все документы, в свою очередь, представляют утверждения, которыми и занимается историческая критика.

С одной стороны, их интересуют только утверждения (для критического анализа с целью установления истины); с другой стороны, документы в их понимании – лишь отправной пункт для всех аргументов относительно того, что такое история (как исследовательская дисциплина). Они никогда не рассматривают возможность (субъективную или объективную) достижения прочного знания об истории, основной вопрос Бернгейма. Так что, если Ланглуа и Сеньобос и настроены позитивно в отношении того, что историческое исследование может достичь прочного знания, это не равнозначно ситуации, когда Бернгейм анализирует возможность достижения историей такого знания и дает положительный ответ. Ланглуа и Сеньобос не рассматривают субъективность и объективность, для них вопрос об «истории как таковой» – проблема, к которой обращался Дройзен, – вообще не является проблемой. Они разделяют то, что можно назвать позитивистским подходом к знанию, хотя и отбрасывают попытки откровенных позитивистов обрести знание о законах цивилизации и тому подобные абстракции через индуктивные исследования человечества. Ланглуа и Сеньобос делают прямо противоположное: они пускаются в детали, чтобы найти прочное осно-

Профессионализм историка и историческое знание

вание. Но это основание нужно для того, чтобы создать внятные образы исторического развития, а не только утверждения об отдельных фактах.

После пассажа о том, как историки должны сторониться легенд, традиций и сказок, Ланглуа и Сеньобос завершают вторую часть пособия важным положением. Отдельные «позитивные» утверждения, какие иногда имеют место, не могут быть окончательными. Критический анализ нацелен на избавление от иллюзорной информации. «Единственно прочными результатами критического анализа являются негативные результаты», говорят они (167).

Один вопрос не рассмотрен как следует Ланглуа и Сеньобосом, хотя он и важен для их рассуждений, а именно главные критерии истинности. Похоже, они соглашались с тем, что занимавший удачную позицию наблюдатель имел хорошую возможность сформулировать истинное утверждение о том, что он/а видел/а, если записал/а его сразу после события. Это предполагает в некотором роде корреспондентную теорию истины. Ланглуа и Сеньобос, однако, не утверждают, что любое свидетельство очевидца должно считаться истинным. Они снова и снова туманно ссылаются на широкий исторический контекст и настоящее. Хотя соответствие между наблюдениями и утверждениями является условием возможной истинности, в своей книге Ланглуа и Сеньобос многократно обращались к соотношению утверждения с другими признанными утверждениями прошлого и настоящего как к важнейшему критерию истинности. Это означало, что они приняли бы то или иное утверждение, только если бы оно вписывалось в общий взгляд на историю периода или направления и удовлетворяло критериям корреспондент-

ной теории. Они, однако, не использовали ни понятие «корреспондентности», ни понятие «когерентности» в качестве терминов своей критической теории об исторических истинах.

Прочное знание, реальность и текст

Взгляды Дройзена, Бернгейма, Ланглуа и Сеньобоса не раз получали неверные толкования. Позиция Дройзена была лучше понята в последние десятилетия, благодаря тому, что Рюзен избрал его идеи предметом своего детального анализа. Никто не попытался сделать того же для Бернгейма или Ланглуа и Сеньобоса. Очень жаль, поскольку эти авторы были хорошо знакомы с философией своего времени и представляли последовательно изложенные, хотя и различные аргументы в пользу определенной эпистемологии истории.

Некоторое время тому назад Уильям Макнил высмеял тот тип метода, сторонниками которого были Бернгейм, Ланглуа и Сеньобос. В юности его учили, что занятия «научной историей» требуют критики источников, и что два независимых источника, согласные между собой, «устанавливают истинность факта – не больше и не меньше». По его мнению, добавил Макнил, ни один историк никогда не использовал этот метод¹⁸³. Если Макнила и в самом деле учили именно тому, о чем он рассказывает, это отличается от того, о чем писали Бернгейм или Ланглуа и Сеньобос. Бернгейм стремился установить факты и почти не говорил об истинах, тогда как Ланглуа и Сеньобос не считали возможным установить истинность фактов – только утверждений.

¹⁸³ McNeill W. *Passing Strange: The Convergence of Evolutionary Science with Scientific History*, *History and Theory* 40 (2001), 5–6.

Профессионализм историка и историческое знание

Важно, однако, что метод, требовавший наличия двух независимых источников для принятия чего-либо – факта или утверждения о нем, – использовался многими историками европейского Средневековья и в XX в. При наличии немногочисленных письменных источников – нескольких хартий и хроник, современных событиям и намного более поздних, – этот метод был полезным и эффективным. Конечно, он гораздо менее применим к широкомасштабным сравнениям обществ в долгосрочной перспективе, а именно этим успешно занимался Макнил.

Ланглуа и Сеньобосу особенно не повезло. Историки историографии восхваляли Дройзена за оригинальность и глубокомыслие, Бернгейма – за его стремление охватить всю область философии истории (но не за остроумие или легкость стиля), но Ланглуа и Сеньобоса отбрасывали как поверхностных авторов и позитивистов. Считалось, что в их труде нет ощущения сложности истории, отсутствует «вдумчивый анализ» – термин, применявшийся к рассуждениям об усилиях субъекта по отношению к объекту ради производства исторического знания¹⁸⁴. Обычно Ланглуа и Сеньобоса либо не упоминают вообще, либо говорят, что они написали довольно наивное пособие по историописанию. Это особенно верно по отношению к авторам из круга «Анналов» (например, П. Вейну¹⁸⁵), которые, безусловно, находились под воздействием резких высказываний Люсьена Февра о Сеньобосе. Февр посвятил две короткие главы в сборнике статей разгромной критике двух книг Сеньобоса,

¹⁸⁴ Например, *Marrou Henry I. De la connaissance historique*, Paris (Seuil), 1954, 46, 49, 56, 92, 122, 126; Данилевский И.Н. и др. Источниковедение, – М.: РГГУ, 1998, 52–53.

¹⁸⁵ *Veyne P. Comment on écrit l'histoire*, Paris (Seuil), 1971.

его «Истории России» и «Истории французского народа». В них он намекает на идеи Сеньобоса о «фактах» и «научной истории», но критикует, главным образом, внимание Сеньобоса к событийной истории¹⁸⁶. Пим ден Боер — единственный известный мне историк историографии, кто поставил книгу Ланглуа и Сеньобоса выше, чем труд Бернгейма, хотя и счел текст Ланглуа — главный объект рассмотрения — «сухим и педантичным» по сравнению с тем, что было написано Сеньобосом¹⁸⁷. Другой автор, Майкл Бентли, также отметил недавно, что пренебрежение трудом Ланглуа и Сеньобоса незаслуженно¹⁸⁸.

Здесь аргументы вывернуты наизнанку. Если Дройзен и Бернгейм (как и многие философские источники их вдохновения) смешивали вопросы истинности и реальности, Ланглуа и Сеньобос четко их разделяли. Критики (особенно Марру) обвиняли их в том, что они имели дело только с «фактами», хотя сами ученые редко использовали этот термин и практически никогда — применительно к задачам историка. Их позиция заключалась в следующем: историки стремятся сформулировать тексты, состоящие только из истинных утверждений. Эти утверждения взяты из источников или сформулированы на основании наблюдения историка над источниками. Утверждения истинны или ложны. Историки долж-

¹⁸⁶ *Febvre L. Combats pour l'histoire* (Paris: Armand Colin, 1953), 70–74, 87–98. В рассуждении о *Methodenstreit* в Германии Иггерс проводит сравнение с Францией и, похоже, соглашается с точкой зрения Февра, не упоминая Ланглуа и Сеньобоса. (*The Methodenstreit in International Perspective...*, *Storia della Storiografia* 6 [1984], 21–30.)

¹⁸⁷ *Boer P. den. History as a Profession*, 298–299.

¹⁸⁸ *Bentley M. Modern Historiography: An introduction*, London (Routledge), 1999, 104–106.

ны стремиться включать в свои тексты только истинные утверждения и избавляться от утверждений, которые можно обоснованно заподозрить в том, что они – ложные. История, написанная историком, – текст, состоящий из исторических утверждений, из числа которых историк постарался исключить те, что являются или по разумным причинам могут быть сочтены ложными.

Ланглуа и Сеньобос были первыми теоретиками истории, которые по-настоящему попытались увидеть историю как текст – и текст, создаваемый историком, и тексты, полученные в материалах, используемых им. Вероятно, что они подразумевали существование «реального» прошлого как «значения», если не как «референции». Они рассматривали научную историю как производство текста и считали, что производится он из текстуального материала. Несмотря на это, их вклад практически не оценен современными теоретиками «истории как текста». Причина, похоже, в том, что Ланглуа и Сеньобос были антирелятивистами, тогда как современная философия «истории как текста», как правило, крайне релятивистская¹⁸⁹. Тем не менее обвинения в том, что Ланглуа и Сеньобос наивно верили в возможность постижения историком «истины» (или «Истины») не обоснованы. Они считали, что историки должны стремиться представлять лишь истинные утверждения, но никогда не говорили, что верили в возможность для историка избежать всех ложных утверждений. И уж тем

¹⁸⁹ В своем анализе теорий истинности, основанных на согласовании и соотношении Хейден Уайт не указывает на возможность позиции, подобной той, что занимали Ланглуа и Сеньобос (*White. The Content of the Form*, 39–44). Фрэнк Анкерсмит, кажется, принимает как должное, что для истории «близость к искусству» есть единственная альтернатива теории соотношения.

более не говорили они, что историк сможет представить все истинные утверждения по любому «историческому» предмету, не рассматривали даже возможность того, что у кого-то могут быть такие устремления. Мнение о том, что отправной точкой исторического анализа являются «факты», а не «документы», противоречит их взглядам. Они подчеркивали затруднительность избегания ложных утверждений, невзирая на все погружение в детали и отнимающие массу времени предосторожности.

Начало XX в. стало важным периодом для профессии историка. Новое столетие не только засвидетельствовало попытки разных философий охватить историческое знание, когда Виндельбанд и Риккерт, с одной стороны, и Дильтей – с другой, пропагандировали свои взгляды на историю, отталкиваясь от кантианской традиции. Их влияние на склонных к теоретизированию историков не стоит недооценивать, но последние вряд ли составляли большинство в профессии. Реалистический подход, представленный Эрнстом Бернгеймом и его влиятельным пособием по историческому методу, стал основой преподавания на исторических факультетах университетов и явился новым шагом в формировании профессии историков. Единственным настоящим соперником пособия Бернгейма была книга Ланглуа и Сеньобоса, но, похоже, что лишь немногие историки, даже во времена их авторов и уж тем более позднее, придерживались разработанного ими подхода. Методы, за которые выступали Бернгейм, Ланглуа и Сеньобос, были во многих отношениях идентичными, но различались своей эпистемологической основой. Ланглуа и Сеньобос интересовались продуктом историка – текстом и его истинностью. Она определялась при помощи методов, которые

Профессионализм историка и историческое знание

указывали – единственной основой истины было согласие утверждений источников. Это согласие подразумевало обращение к разным типам материалов и другому знанию, опирающемуся на свидетельства. Таким образом, они обращаются к согласию между утверждениями вместе с и даже вместо согласия между утверждениями и «реальностью прошлого» (или между «содержанием» утверждений и «реальностью прошлого»). Если Бернгейм изучал, прежде всего, проблему истинности и рассматривал надежного свидетеля как средство достижения исторической реальности или «реального прошлого», Ланглуа и Сеньобоса интересовали только истинные утверждения. Они склонялись к когерентной теории истинности, возможно, включающей некую комбинацию принципа соответствия для утверждений, которые отчасти относились к настоящему, и базового соответствия между утверждениями и наблюдениями.

Новая фаза исторического профессионализма, начиная с рубежа XIX и XX вв., опиралась на веру в возможность достижения прочного знания. Этому способствовали новые пособия, разрабатывавшие методологию истории, основанную на исторической эпистемологии. Эпистемологию порой вульгаризировали университетские преподаватели и учебный материал для студентов, но сама по себе она вовсе не была наивной, хотя ее и можно считать таковой. В начале XX столетия эпистемология включила в себя два основных направления. Одно, обоснованное Бернгеймом, успешнее завоевывало внимание историков, нежели более сложный текстуальный подход, основанный на идее когерентности, сторонниками которого были Ланглуа и Сеньобос.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Личности и структуры в истории, и откуда мы знаем, что они делают?

Когда Саддам Хусейн решил напасть на Кувейт, это не стало громом среди ясного неба. Саддам предъявлял требования, проходили переговоры, США оптимистично считали, что конфликт может быть разрешен, и только тогда состоялось нападение, означавшее уничтожение государства Кувейт. Восстановление независимости Кувейта зависело от решения других людей и от предпосылок, связанных с окружающим миром. Эти предпосылки стоит охарактеризовать как структурные.

Саддам Хусейн не принимал решения в одиночестве или случайно¹⁹⁰. Можно предположить, что он имел информацию о мощи собственной армии и состоянии вооруженных сил Кувейта. Он должен был располагать сведениями относительно готовности других держав вмешаться в конфликт, об отношении арабских стран и мирового сообщества к вторжению. Ему необходимо было знать историю региона, чтобы обосновать аннексию территории соседней страны и противостоять тому, что его противники объявят оккупацию Кувейта неза-

¹⁹⁰ Здесь, и в последующем описании Кувейтской войны, я выступаю не как специалист, но, скорее, как обычный читатель газет.

конной. Вполне вероятно, Саддам располагал такой информацией, но это не означает, что она была правдивой и достаточной и что он тщательно и рационально оценил ее. Тем не менее в определенном смысле он вполне понимал, что делает. То не была просто его прихоть.

Есть причина подчеркивать преднамеренный характер таких решений, как решение Саддама Хусейна напасть на Кувейт. Это не означает, что актер произвел точный расчет, следуя теории игр, из этого следует всего лишь, что он (во многих исторических ситуациях именно он, а не она) принял то, что мы называем решением. Понятие «решение» подразумевает умысел. В принципе, оно должно быть отделено от спонтанной прихоти или каприза. Исторические повествователи старшего поколения, по большей части в XIX в., часто драматизировали историю, включая в свои сочинения анекдоты о прихотях и внезапных решениях власть имущих. Например, о шведском короле Карле XII рассказывали, что, когда в возрасте пятнадцати лет он принял участие в первом сражении и услышал звук летящего над головой пушечного ядра, то воскликнул: «Впредь это станет моей музыкой!». Странный эпизод, если воспринимать его буквально. Но, приводя этот анекдот, историк стремился прежде всего показать характер короля, а не подчеркнуть его способность поспешно принимать судьбоносные для нации решения, например, начать военную кампанию, растянувшуюся на два десятилетия.

Итак, знание о действиях исторических личностей, которые мы получаем, и знание, которое мы распространяем, проходит через двойной фильтр¹⁹¹: исторических

¹⁹¹ Используемая здесь концепция «фильтра» должна правильно

источников и того, что задается самим историком. Откуда мы знаем, какие действия являются результатами решений, а какие – нет? Это – один из основополагающих вопросов, которые я хочу поставить. Охарактеризовать личность – не то же самое, что проникнуть в его/ее решения.

Иногда люди принимают поразительные решения. Отец Карла XII, Карл XI, побудил парламент вернуть государству фермы и поместья, в предшествующие десятилетия пожалованные государством знати. Чтобы провести это решение через парламент, он сделал своими союзниками менее удачливых аристократов, так как им нечего было терять. Затем король потребовал принять еще один закон о том, что знать также должна облагаться налогом («контрибуцией» в терминологии того времени), хотя те, кто поддерживал восстановление государственного землевладения на предыдущем этапе, рассчитывали благодаря этому избежать налогообложения. Такие провокации поразительны. Когда спикер собрания знати по призыву короля потребовал, чтобы аристократы продолжили обсуждение «контрибуций» с целью «помочь королевству», последовала реакция, как явствует из протокола. Он гласил: «в этот момент в комнате ненадолго воцарилась тишина» (даже по-шведски эта фраза звучит необычно)¹⁹².

истолковываться. Она не предполагает фильтра между «реальностью» и «необъективной презентацией», скорее, в более широком смысле речь идет о фильтре между импульсом повествователя или историка, побуждающим к обращению к определенной теме, и результатом в виде его/ее сочинения. См. заключительные замечания ниже.

¹⁹² Nilsson S.A. På väg mot reduktionen. Stockholm, 1964 (Natur och Kultur). S. 117f.

Профессионализм историка и историческое знание

Составитель протокола создал впечатляющий образ произошедшего, отпечатавшийся в мозгу читателя и историка. Действовать означает «всего лишь» что-то делать, совершить действие, мотивированное тем или иным намерением. Примечательные действия (и решения совершить их) не обязательно сопровождаются громкими звуками, пушечными выстрелами или криками. Порой достаточно того, что в комнате «ненадолго воцаряется тишина», удостоверяющая, что действие было эффективным, а те, кого оно коснулось, поняли его цель и значение. Но эту тишину нужно еще отметить. Пораженные оставляют в истории меньше следов, нежели отчаявшиеся.

Таким образом, действия классифицируются историками при помощи разных категорий. Некоторые из них — явные решения, то есть драматические действия, которые, как мы полагаем, не могли быть инициированы случайно. Другие не поддаются «непосредственному» или интуитивному толкованию. Здесь историкам нужна помощь интерпретаций в источниках, то есть интерпретаций современников актора (как это случилось с протоколом заседания собрания знати). Конечно, такие интерпретации необязательно принимать, они могут конфликтовать друг с другом, так что историк не просто воспроизводит их. В-третьих, мы также признаем категорию прихотей, то есть внезапных импульсивных действий. Откуда мы знаем, к какой категории относятся конкретные действия и какие мотивы с ними связаны? Понятно, что классификаций, присутствующих в источниках, недостаточно, поскольку они проходят сквозь фильтры наблюдателей и отражают их предрассудки. Тем не менее большинство историков считают, что они могут составить определен-

ное мнение, и исторические работы изобилуют классификациями действий и их мотивов.

Действия индивидов явно играют роль в истории. В определенном смысле можно утверждать, что история состоит из действий, предпринятых индивидуальными акторами. Тем не менее это не означает, что только личности влияют на историю. Существуют разные уровни эффективности действий. Одни результаты ограничиваются личным уровнем, являются эмоциональными или связаны с развитием личности. Другие – по большей части институциональные, относятся к изменениям и развитию «структур». Давайте рассмотрим оба эти уровня по очереди.

Спустя несколько лет оказалось возможным с большей степенью уверенности оценить влияние войны Саддама Хусейна, чего нельзя было сделать, пока шла операция «Буря в пустыне». Тогда можно было предположить, что это – начало большой войны, и некоторые комментаторы проводили параллели с развязыванием Первой и Второй мировых войн, поскольку обе они начинались с локальных конфликтов, которые политики полагали возможным ограничить небольшим географическим регионом. Однако в случае с кувейтским конфликтом эта параллель не сработала. Политические последствия, похоже, свелись к тому, что Саддаму вскоре пришлось вернуть свои завоевания. Прежние правители Кувейта вернулись к власти, Саддам также остался правителем Ирака. И политическая ситуация, включая напряженность отношений между Ираком и Кувейтом, во многих отношениях сохранилась.

В то же время для многих индивидов ситуация оказалась совсем другой. Во время войны люди лишились

родных, семьи, домов и имущества, многим пришлось голодать, испытывать физические страдания. Их страдания были вызваны политической ситуацией, сложившейся после прекращения боевых действий. Для индивидов война всегда имеет огромное значение. Ее воздействие на жизни людей чудовищно, даже если речь идет о так называемых локальных боевых действиях. Вот почему люди боятся войны. Последствия военных конфликтов заметны наблюдателю и через поколения. Боль остается в памяти тех, кто претерпел страдания, но память невидима. Многие из прямых результатов войны имеют краткосрочное воздействие.

Я порой говорю, что мои европейские коллеги склонны переоценивать воздействие мировых войн (шокирующее утверждение для моих немецких друзей). Такую точку зрения легко отместить, как взгляд, высказанный шведом, уроженцем страны, не испытывавшей на себе военных действий на протяжении полутора столетий. Тем не менее я не отношусь легкомысленно к страшным последствиям мировых войн, выразившимся в личных трагедиях, боли и страданиях, сопровождавших эти катастрофы. Но, по моему мнению, историки, сами пережившие войну, или те, кому лично рассказывали об ужасах войны родители или другие родственники, склонны считать ее воздействие на институты и социальные структуры более революционным, чем это было на самом деле. Германия является исключением. Там институты резко изменились в результате мировых войн, но в других западноевропейских странах большинство институтов остались нетронутыми или быстро вернулись к своему довоенному состоянию. Что касается последствий войн для социальных структур, то Западная Европа продол-

жала оставаться соединенной прочными экономическими связями. Урбанизация и индустриализация продолжалась вне зависимости от военного конфликта. Таким образом, воздействие на институты оказалось незначительным, а другие структуры (общественное распределение и экономические условия), похоже, совсем не изменили направления в военные годы, лишь немного замедлились в своем развитии.

То же самое, кажется, верно и по отношению к России. Институционные изменения, произошедшие в России во время и после Первой мировой войны, в гораздо меньшей степени были результатом действий немецкой армии, нежели российских революционеров, и ничто не указывает на то, что большевистской революции (или подобного ей события) не произошло бы, если б не было войны. Большевики ждали своего шанса и ухватились за него во время войны. Революция, безусловно, изменила экономические структуры и институты в стране, но эти перемены не могут считаться результатами мировой войны.

Россия, пожалуй, больше всех пострадала от Второй мировой войны. Последствия для экономики были чудовищными, людские потери — чрезвычайно высокими, к ним надо прибавить всех тех, кто был ранен или испытал психологическую травму, а также тех, кто лишился отцов, матерей и детей. Но верно и то, что Россия вступила в войну и вышла из нее с практически неизменной системой управления. Ее, похоже, война не затронула. В своих основных аспектах сталинский режим после войны остался таким же, как и в тридцатые годы. Не только политическая, но и экономическая система осталась прежней. Сохранились те же экономические структуры,

Профессионализм историка и историческое знание

связи между государством и рабочей силой через образование и занятость остались неизменными.

Я не пытаюсь доказать, что структуры не могут испытывать воздействия войны. Порой это случается. Примером тому служит Германия во время двух мировых войн, и пример этот не единственный. Спустя много лет после того, как мы забыли о человеческих страданиях, которые, конечно, были главным опытом войны 9 г. н.э., мы помним битву в Тевтобургском лесу, в которой вождь тевтонов Германн (или Арминий, как называли его римляне) разгромил армию, посланную императором Августом под командованием Вара, и уничтожил три легиона солдат. Это событие сразу стали рассматривать как крупную катастрофу, ее запомнили из-за потерь, понесенных римской армией, и тех ужасных страданий, что они претерпели в том лесу. Один размах понесенного римлянами поражения мог сделать это сражение памятным, но оно по-прежнему упоминается в учебниках наших дней потому, что стало одним из обстоятельств, ограничивших римскую экспансию — не временно, а навсегда. Сражение стало «поворотным моментом в истории Рима и Европы», как говорит один из учебников¹⁹³. Рим изменил свою стратегию имперского доминирования. Сформировались новые институты. Были созданы новые условия для структурного изменения: для распространения римской цивилизации более важными, чем раньше, стали экономические субсидии и торговля.

Войны, таким образом, могут иметь долговременные последствия для общественной жизни, проявляющиеся

¹⁹³ Bjöl E., Hjörsto L. Bonniers världshistoria. Stockholm: Norstedts, 1983. Vol. 5. S. 172.

через институциональные и структурные изменения. Но такие перемены можно совершить другим, менее шумным способом. Когда Карл XI Шведский решил соединить возвращение пожалований своих предшественников с налогом на имущество знати, ему удалось сломить оппозицию аристократов и укрепить власть короля. Это имело большие экономические последствия для отдельных аристократов (даже если они и не разорились, ряду богатейших дворян пришлось потом жить куда скромнее). Последствия для дворян лишь походя упоминаются большинством историков, пишущих о реформе 1680 г. Институт королевской власти через эти решения ослабил институт знати, имевший своим центром небольшую группу аристократов, по большей части членов другого института, совета королевства. Благодаря другим действиям короля была установлена форма правления, именуемая абсолютизмом, но это стало возможным только благодаря двум решениям: возвращению государству земельных пожалований (произошедшему в результате обмана) и обложению знати налогами (что нарушило все планы оппозиции). Эти решения сделали возможной реформу оплаты шведской армии и части гражданской администрации и, таким образом, имели долговременные институциональные последствия для общества, выйдя за узкие рамки изменения формы правления.

Войны являют собой примеры действий, вызванных решениями. Это не означает, что все действия, совершаемые во время войны, являются заранее продуманными. Широкое понятие «война» охватывает разные типы действий. Но понятие «развязывание войны» – действие, вызванное решением. Люди принимают решения. В

Профессионализм историка и историческое знание

случае войны такие решения напрямую воздействуют на жизнь индивидов, а также на развитие институтов и других структур. Другие решения прямо направлены на изменения институтов.

Выше я постарался показать, что принятые людьми решения играют важную роль в истории человечества. С одной оговоркой: в истории человечества, сконструированной историками. Действия, определяемые решениями, порой важны для других людей, а некоторые из них, как предполагается, оказывают влияние на институты и структурные формы общества. Подобный результат может стать и непредвиденным последствием действия. Все формы решений и результатов принятых решений являются частью концепции истории, которую разделяют историки. Ведь мы говорим сейчас о концепции истории, продукта научного исследования, представленного в письменной форме и вербализованного в рамках концептуальной структуры, используемой историками.

Если люди воздействуют на социальные формы, институты и структуры через решения предпринять некие действия, значит ли это, что люди повелевают структурами? Значит ли это, что следуя наилучшим советам и более точным расчетам, люди могут регулировать структуры, институты и общественные условия? Это – мечта реформаторов и революционеров всех времен, но является ли она реалистичной?

Если мы уточним вопрос, то окажемся в состоянии дать на него ответ. Я уже попытался показать, что, согласно нормальным историческим оценкам, существуют структурные предпосылки и институциональные формы, на которые оказали влияние действия определенных ак-

торов. Главным здесь является вопрос, можно ли рассчитывать структуры так, чтобы сформировать политические действия для достижения определенных результатов. Эти действия должны подразумевать наличие обратной связи: когда структурные формы и институты изменяются, люди начинают пересматривать свои привычные занятия, чтобы приспособиться к новым формам. Далес, важна и ответная реакция структуры, ведь изменение одного института (части структурной рамки) может побудить других акторов изменить другие институты. Так что вопрос следует задать в следующей форме: в какой степени акторы имеют обоснованное представление о влиянии своих действий на структуры?

Для тех, кто не может представить себе пример таких структурных последствий политических действий, иллюстрацией может послужить образовательная политика социал-демократов XX в. Этот пример не специфичен для Швеции (хотя я имею в виду прежде всего усилие, имевшее место в Швеции), но такую же политику проводили в других странах с теми же результатами. На протяжении длительного времени шведские социал-демократы следовали программе, согласно которой набор в высшие учебные заведения строился таким образом, чтобы побуждать детей из рабочих семей получать высшее образование наряду с детьми из среднего и высшего классов. Формы государственной поддержки образования в виде субсидий и займов несколько раз менялись. Однако статистика показала, что среди студентов, несмотря на реформы, по-прежнему преобладают дети состоятельных родителей, хотя их число и снизилось. Напрасно власти (в Швеции социал-демократы располагали правительственными ресурсами продолжительное

время) тратили политическую энергию, деньги и законодательные усилия, чтобы достичь желаемого структурного изменения. Результат не соответствовал ожиданиям. Структуры порой бывают упрямыми, и их трудно изменить.

Можно привести много примеров политических усилий оказать воздействие на структуры из истории послевоенной Европы. Одним из них являются попытки уменьшить безработицу, другим – стремление устранить нехватку доступного жилья или же стремление создать достаточное количество дневных стационаров для обеспечения медицинской помощью всех, кто в ней нуждается. Политической власти не всегда оказывается достаточно для того, чтобы изменить структуры в желаемом направлении.

Подобные рассуждения, пожалуй, приводят к заключению, что структуры (по крайней мере, некоторые из них) имеют независимое существование и даже в некоторых отношениях определяют условия человеческого существования. Приведем пример из учебника по философии науки: вряд ли Альберт Эйнштейн смог бы стать тем, кем он стал, родился он в горной деревушке в Тибете¹⁹⁴. Важные предпосылки его деятельности были заданы образовательными институтами и структурой науки в Южной Германии и Швейцарии конца XIX – начала XX в., которые он, с большими усилиями, использовал для своего блага, с которыми вступал в конфликт и которые, в конце концов, превратил в своих безоговорочных сторонников. Структуры, окружающие героев и злодеев простых исторических нарративов, явно оказы-

¹⁹⁴ *Molander B. Vetenskapsfilosofi. Stockholm: Norstedts, 1983. S. 14f.*

вают большое воздействие на их способность «играть роль», то есть достичь поставленных целей и повлиять на историческое развитие запланированными и незапланированными способами. Структуры не создали их, но обеспечили этим «великим личностям» надлежащие условия для их действий.

Кто же создает структуры? Согласно современной теории «человеческого фактора» структура и действие неразрывно связаны. Этот вывод кажется хорошо обоснованным. Действия создают структуры по мере того, как совершаются, а новые структуры создают основу для новых действий, которые, в свою очередь, создают новые структуры и усиливают старые¹⁹⁵.

И вновь ряд примеров может облегчить восприятие этой мысли. Я использовал здесь термин «институты» применительно к формальным структурам, то есть тем, содержание которых задавалось законами, ордонасами или другими нормативными решениями. Так, одной из формальных структур является суд, другой – школа. Существуют законы, определяющие отношения между судьей, присяжными, прокурором, адвокатом и подсудимым в суде, в школе отношения между директором, учителями и учениками также регулируются, хотя и в гораздо менее детализированном виде. Тем не менее и в школе существуют законы, определяющие содержание образования, предоставляемого ученикам.

¹⁹⁵ Эта тема из побочной превратилась в одну из основных в социологии, когда Энтони Гидденс выдвинул свою теорию структуризации. Одна из версий опубликована в: *Giddens A. The Constitution of Society* (Oxford: Polity Press, 1984). Другой подход с другими возможностями и решениями см. в *Arne G. Agency and Organization* (L.,: Sage, 1990).

Профессионализм историка и историческое знание

И школа, и суд являются многозначными словами. Они относятся как к зданиям, где размещаются эти институты, так и к их повседневной деятельности. Когда мы говорим: это здание – школа, мы имеем в виду, что в этом здании учат согласно правилам, выработанным для этого типа школ. Обучение не продолжается круглосуточно и повседневно, скорее, регулярно и предписанным способом. Если в школе больше не учат, мы называем ее бывшей школой, то есть местом, где раньше предоставляли обучение, характерное для этого типа школ, и подразумеваем, что этого больше не происходит. Само существование данного института нуждается в специфических человеческих действиях. Здание суда – тоже просто здание, если оно не используется для запланированных целей. В обоих случаях недостаточно законов и ордонансов. Школа лишь «запланирована», говорим мы, когда есть только здание и, возможно, несколько учителей, но нет учеников, которых учили бы в соответствии с нормами.

Конечно, речь здесь идет не о том, чтобы научить вас правильно применять термины. Хочу подчеркнуть, даже в повседневной жизни мы употребляем институциональные термины по правилам, подразумевающим определяющий характер человеческой деятельности. Без нее не существует ни одного института (то есть ни одной формальной структуры). Институты поддерживаются, продолжают и порой реформируются через человеческую деятельность.

Безусловно, существуют и неформальные структуры. Таким характером обладает рынок, столь часто упоминаемый в наши дни. Рынки появились давно, хотя ученые и спорят о том, можно ли считать, что рынок – предпосыл-

Рольф Тоштендаль

ка любой торговли. Но когда римские торговцы в Германии обменивали вино на шкуры, рынок, безусловно, действовал. Неформальные структуры, подобные рынку, порой трудно проследить в прошлом, так как ученый не всегда знает, что искать. Многочисленные находки римской керамики (обычной тары для продуктов питания в то время) в различных частях Европы показывают распространение этих продуктов, указывающее на торговлю. Обнаружить рынок и проследить его изменения легче, если он отмечен в письменных источниках. Государство зачастую ограничивало торговлю или облагало ее пошлиной, что порождало записи об объеме торговли и уплаченных налогах. Такие установленные законом записи не стоит считать отражением развития рынка, потому что ограничения побуждали людей избегать их. Кузнецам из *Jäders bruk* в XVII в. запрещалось торговать своими товарами, слитками железа или железными изделиями. Но они все равно продавали их. Они торговали в Арбоге, маленьком городке, торговали даже со Стокгольмом. Мэр Арбоги утверждал в 1663 г., что для города было бы полезно, если бы кузнецам позволили торговать с теми, с кем они пожелают¹⁹⁶.

Это – один из тысяч примеров того, как власти пытались сделать неформальную структуру рынка более формальной – и не преуспели. Она состояла из формальной и неформальной частей. В обоих случаях структура основывалась акторами, кузнецами, которые продавали свои изделия, и оптовиками, которые покупали, или же другими категориями, которые могли их заменить.

¹⁹⁶ *Florén A. Disciplinering och konflikt. Uppsala, 1987 (Studa hist. Ups., vol.147). S. 170–178.*

Профессионализм историка и историческое знание

Даже государство является смесью формальных и неформальных элементов. Можно сказать, что государство отчасти формальная, отчасти неформальная структура, состоящая из формальных структур. Это не вполне подходящее определение, но оно ближе к истине, чем распространенное представление о государстве как о полностью формальной структуре. Отношения между элементами государства лишь до определенной степени имеют формальный характер, предписанный законами или ордонансами¹⁹⁷.

Позвольте проиллюстрировать эту мысль. Когда Карл XI в 1680–1682 гг. осуществил свое решение, согласно которому государство должно было вернуть себе земли, пожалованные его предшественниками дворянам, а знать облагалась налогами, ввел также еще ряд законов, легализовавших законодательные акты с обратной силой, он радикально изменил шведское государство. Прежние связи между королем, советом и высшей знатью были, по сути, порваны. Были назначены новые члены совета; они уже являлись не советниками королевства, но советниками короля, возникли новые отношения между королем и коллегиями (*kollegier*), в которых служили многие аристократы. Сеть отношений, создававшая структуру под названием «Шведское государство», изменилась в результате быстрых, решительных действий короля Карла. При его сыне Карле XII государство стало обходить-

¹⁹⁷ Подробнее см. *Torstendahl R., Strath B. State Theory and State Development: States as Network Structures in Change in Modern European History // State Theory and State History / Ed. R. Torstendahl. L., etc.: Sage, 1992. P. 12–37; Torstendahl R. Bureaucratization in Northwestern Europe, 1880–1985: Domination and Governance. L.; NY: Routledge, 1991, esp. P. 34–71, 253–271.*

ся слишком дорого и богатым, и бедным, но структура оказалась устойчивой; ее не смогло уничтожить поражение под Полтавой, для этого потребовался выстрел под Фредриксхальдом, прервавший не только жизнь короля, но и существование государственной структуры, созданной его отцом. Монарх как роль, как институт, был важен для этой автократической структуры, но многие жаждали возможности действовать во имя и в рамках новой структуры государства.

Таким образом, индивид (своей личностью) играет важную роль в истории. Он/а действует не только через сознательно принятые решения (как Саддам Хусейн, начавший войну), но также и через участие в действиях, обеспечивающих возникновение и сохранение институтов и других структур. Эти структуры могут сопротивляться мощным усилиям уничтожить их, даже если их противники – влиятельные политические фигуры. Поэтому самой важной ролью человека в истории парадоксальным образом является сопричастность к власти структур.

Несколько заключительных замечаний необходимо, чтобы завершить изложение моих аргументов. Они подразумевают конструктивистскую концепцию теоретических утверждений, не обязательно связанных с той или иной точкой зрения на исторический релятивизм, «фикциональность» и «лингвистический поворот», относящиеся к числу ключевых терминов, обсуждаемых учеными, которые интересуются теорией истории¹⁹⁸.

¹⁹⁸ См., например, материалы дебатов сессии Fictionality, Narrativity, Objectivity, организованной Масаки Мияки и Нэнси Партнер в публикациях Всемирного Конгресса историков в Монреале (1995): Actes / Proceedings ... P. 159–181.

Профессионализм историка и историческое знание

Повествователь, рассказывающий о Карле XI, может вдаваться в детали его поступков по отношению к другим людям в 1680–1682 гг., не упоминая такие вещи, как изменение институтов (королевской власти, знати, совета), тогда как другой историк может представить историю Швеции того времени как переход от олигархического правления аристократии к монархическому абсолютизму, сконцентрировавшись на институтах и не рассматривая поступки короля как личности.

Оба исторических текста могут быть охарактеризованы как «истинные» или «точные». Столкнувшись с ними, знаток добавит: «оба рассматривают предмет в разных перспективах». «Перспективы» всегда присутствуют в исторических текстах, именно ими и занимаются историографические исследования. В этой связи «перспектива» – термин для части процесса фильтрации, который я упоминал ранее. Фильтрация не является синонимом предвзятости. Если одна перспектива предполагает конструирование теоретических оснований классификации действий, их мотивов и ищет объяснений на уровне личности, то другая смотрит на последствия с позиции теории государства.

Существуют другие типы «фильтров». Один из наиболее важных – фильтр через умолчание, и с этим исторiku сложно иметь дело. Некоторые события, вероятнее всего, имевшие место (предположение, основанное на сходных исторических казусах), никак не зафиксированы. Немногие люди делают записи, дающие представление об их размышлениях в важные моменты жизни, не говоря уже о повседневных ситуациях, когда они принимали решения. Биографическая перспектива трудна для всего человечества, но в меньшей степени – для людей

могущественных, зачастую окруженных людьми, пытавшимися проследить изменения настроения своих господ; последние, кроме того, должны были принимать многие решения открыто.

Все источники составлены, исходя из специфической концептуализации социума. Классификация действий как преднамеренных или импровизированных, систематизация мотивов и их отношение к личности, запланированным и незапланированным последствиям действий – все это концептуализации, которые почти всегда присутствуют как в источниках, так и в трудах историка. Все эти инструменты истории являются конструктами «ума» наблюдателя или историка. Структуры – и формальные, подобные институтам, и неформальные, такие, как рынок или государство, – требуют теоретического подхода и в данном отношении менее обманчивы. История Карла XI, в которой не используется концепция «государства», вероятно, будет считаться вводящей в заблуждение, даже если каждое конкретное утверждение будет давать точную информацию о короле. Там, где исторические нарративисты подчеркивают «фикциональность» как характеристику истории, я скорее подчеркнул бы подсознательную «психологическую» теорию для описания действий людей и эксплицитную, основанную на теории, концептуализацию как основополагающую лингвистическую черту ремесла. Теоретические конструкции необходимы в истории и социальных науках (так же, как и эксплицитное использование теоретических конструкций в естественных науках).

Здесь я перехожу к моему второму выводу. Мы можем узнать что-то о структурах, только если мы задаем правильные вопросы. Вопросы, касающиеся структур,

Профессионализм историка и историческое знание

имеют отношение к действиям людей с небиографической точки зрения и выдвигают предположения теоретического характера. Предположения остаются теоретическими, даже если они имплицитны, что чаще всего и происходит с описаниями и объяснениями действий. Применительно к людям и структурам мы можем узнать лишь то, о чем мы научились спрашивать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Профессионализм и использование истории в политике

Частное и публичное использование истории

Существует целый ряд книг под заголовком «Использование истории» или «Использование истории и злоупотребление ею», причем последнее вызывает незаслуженно большой интерес.

Использование истории для того, чтобы получить пост преподавателя на кафедре истории в университете, — совсем не то же самое, что использование истории в выработке политического курса. В частности, некоторые президенты США, кажется, понимали, что история полезна для них как для правителей. Они приглашали в число своих сотрудников известных историков (так поступил Джон Кеннеди с Артуром Шлезингером-младшим) или имели в качестве советников людей, обладавших вполне определенными взглядами на (недавнее) историческое прошлое. Я имею в виду Джорджа Ф. Кеннана, Фрэнсиса Фукуяму (хотя не уверен, можно ли рассматривать последнего как советника) или Кондолизу Райс. Когда такие советники используют историю, они делают это совсем не так, как студент, стремящийся стать преподавателем и потому прилагающий дополнительные усилия в работе над диссертацией.

Профессионализм историка и историческое знание

Итак, существуют разные виды использования истории. Главные из них, упоминаемые в литературе по данному предмету, могут быть обозначены как «использование в карьере», «личное использование» с целью стать более совершенным человеком, приобретя более глубокое понимание происходящего в мире; «образовательное использование» как инструмент, заставляющий других понимать мир; «идеологическое использование истории», побуждающее людей видеть развитие событий в «правильной» перспективе (с точки зрения автора или оратора); «политическое использование», тесно связанное с сокрытием и обнаружением тайн прошлого или же созданием памятников прошлого и т.п. Те, кто пишет об использовании истории, часто рассматривают эти способы как равные по значению. Это неоправданно. Они отличаются друг от друга важностью и своими моральными аспектами. Кроме того, между ними нет тесной связи.

Стоит бросить беглый взгляд на некоторые из этих способов, прежде чем мы сконцентрируемся на политическом использовании истории и его отношении к профессионализму историка.

Historia magistra vitae (история – наставница жизни) признанное представление о пользе истории, известное еще со времен Цицерона. Во всех западных странах история была и остается одним из основных предметов школьной и университетской программ. Ее значение для жизни не оспаривается, хотя страны неевропейского мира относились к истории, по крайней мере письменной, по-разному. Сравним хотя бы тщательное фиксирование истории династий в Китае и пренебрежение

историческим знанием в древней индуистской культуре Индии¹⁹⁹.

Взаимоотношение истории и жизни, интересно, по крайней мере, с двух точек зрения. Во-первых, как подчеркнул Карл Георг Фабер, история и жизнь рассматриваются отдельно друг от друга и даже порой как противоположности. Второй аспект состоит в том, что польза истории для жизни не отождествляется с ее пользой для политики. Немецкий историцизм упрекал философов Просвещения за их слишком практический взгляд на историю и ее использование в политике. Долгое время считалось само собой разумеющимся, что история так или иначе полезна для жизни людей, хотя это не следует напрямую применять к политике. Кроме того, послевоенные общества, не только Германия, претерпели изменения, и, по крайней мере, преподавание истории в школах было зачастую связано с современными политическими проблемами²⁰⁰.

Таким образом, «жизнь» в том смысле, в каком она понимается в большинстве исторических споров, — это одно, а «общественная жизнь» нечто совсем другое. Используется ли история как наставница общественной жизни, и нужно ли применять ее в этой роли сегодня? А.Л. Роуз в своей небольшой книге «Использование

¹⁹⁹ Wang Q.E. Time perception in Ancient Chinese historiography // *Storia della Storiografia*. V. 28. P. 69–86; *Chinese History in Perspective (History and Theory, Theme Issue, 35)*; Basham A L (ed.). *A Cultural History of India*, New Delhi: Oxford UP, 1975 (особенно статьи С. Радхакришнана об индуизме, С.Н. Дасгупты о философии); *Thapar R A. History of India* V. 1. New Delhi: Pelican, 1966/1990 (особенно гл. 2, 4, 5).

²⁰⁰ Faber K.G. The use of history in political debate II *History and Theory*. Beiheft 17, 1978. P. 36–67 (особенно 36–38).

Профессионализм историка и историческое знание

истории» доказывал полезность этой дисциплины²⁰¹. Историческое мышление может быть сопоставлено с эволюционным мышлением в биологии и геологии. Методология истории полезна в самых разных ситуациях, а не только в тех, где профессионал имел (имела) возможность продемонстрировать свою искусность (Роуз упоминает пару женщин-историков, но в основном в его книге фигурируют мужчины, по большей части из Оксфорда или Кембриджа, а также французы и немцы)²⁰². История формирует культурное понимание, которое требуется во всех жизненных ситуациях, частных и публичных. Полагаю, к этому может быть сведено краткое изложение основных идей Роуза, и я уверен, что многие с ним согласятся.

Однако немногие будут согласны с автором в другом. Его книга несет на себе отпечаток своего времени. Предисловие датировано «семестром св. Михаила» 1945 г., опубликована она в 1946 г. Время ее создания, безусловно, объясняет, почему немцы обозначены там как (постоянные) агрессоры.

Роуз не скрывает своего неприятия. «Немцы вряд ли смогут измениться до тех пор, пока не выбросят эту парочку [Фридриха Великого и Бисмарка] из головы и не очистят от них свою систему»²⁰³. Но не только немецкая

²⁰¹ Rowse A.L. *The Use of History*, London: Hodder & Staughton, 1946.

²⁰² В тексте упоминаются Эйлин Пауэр (Р. 70) и С.В. Веджвуд (Р. 91), но они отсутствуют в именном указателе. Философ Сьюзан Стеббинг должным образом рассматривается в тексте и упоминается в указателе.

²⁰³ Rowse A.L. *Op. cit.* P. 8–9.

политика и немецкая агрессия вызывала его раздражение. Немецкая мысль столь же плоха. Примеры здесь – Гегель и Маркс, особенно Гегель. Дав весьма краткую версию теории Маркса, Роуз говорит: «Все это, я боюсь, очень по-немецки. Проблема столь многих немецких евреев не в том, что они евреи, но в том, что они столь безнадежно немецкие. Именно так пишут и думают немцы – Гегель гораздо хуже...»²⁰⁴

Это – поразительные взгляды для книги, стремящейся показать, как знание истории и «исторический способ мышления» расширяют горизонты и углубляют понимание мира. Автор использует историю способом, прямо противоположным тому, что он декларирует. Это становится особенно явно, когда он сравнивает то, что, по его словам, является немецким способом толкования истории, с британским.

«Влияние на немцев ложного прочтения истории было еще более трагичным потому, что немцы, несомненно, верят той чуши, в которой они погрязли». Это привело к мечте немцев о мировом господстве, но «они все еще не усвоили главного урока». «Именно Бисмарк, более чем кто бы то ни было другой, направил Германию по ложному пути; и до сих пор немцы по большей части не имеют об этом представления». Англичане противопоставлены этому упрямому нежеланию усваивать уроки истории. «Англичане всегда были готовы учиться на ошибках, совершенных ими в прошлом»²⁰⁵.

Хотя Роуз находился под сильным влиянием исторического мышления Дильтея, он, как представляется, точ-

²⁰⁴ Ibid. P. 123.

²⁰⁵ Rowse A.L. Op. cit. P. 200–201.

но так же не осознавал своего непонимания «немецкой культуры» (даже отрицал ее существование!), как и не отдавал себе отчета в своих «британских» предрассудках, проявлявшихся в большом и малом²⁰⁶.

Мы не собираемся представлять здесь запоздалый критический обзор книги Роуза. Однако она демонстрирует нечто, не входившее в намерения автора. Когда Роуз пытается показать полезность «истории», он произносит мудрые слова: «Если ты не понимаешь мира, в котором живешь, ты всего лишь его игрушка и неминуемо превратишься в его жертву (наше единственное спасение в понимании). Ведь именно это и есть история»²⁰⁷. Но в то же самое время демонстрирует собственное, весьма специфическое «использование истории». Его способность различать разные смыслы идеи использования истории не помогает ему избежать шатких политических обобщений и грубых противоречий.

Немецкий историк Теодор Шидер привел другое наблюдение в связи с использованием исторического образования. В одном из своих эссе он заметил, что нации демонстрируют разное отношение к собственной истории как школьной дисциплине и инструменту образования: «В XIX в., великой эпохе историографии, история во Франции играла иную роль, нежели в Германии. Во Франции она была частью литературы, но, пожалуй, самым важным была ее тесная связь с политикой. Боль-

²⁰⁶ Роль исторического знания в карьере британских гражданских чиновников воспринимается в качестве доказательства полезности истории в целом, не обращая внимания на то, что ситуация в Британии может оказаться специфической и что, например, во Франции ту же роль играют инженеры (р. 4–6).

²⁰⁷ Rowse A L. Op. cit. P. 16.

шинство (sic!) французских историков этого периода – Гизо, Токвиль, Тьер, Аното – были министрами, порой в критические времена, и их исторические труды не могут быть отделены от политической деятельности. Будучи историками, они писали как политики, в роли государственных мужей они действовали как историки. Немецкие историки, несмотря на сильные политические влияния, никогда не играли активной роли в принятии политических решений»²⁰⁸. То, что изучение истории и историописание «оставалось академическим» и было отделено от политически ответственной элиты (бюрократии и аристократов), Шидер считает характерной и не вполне позитивной чертой Германии. История в Германии «никогда прямо не влияла на политические действия».

Сказанное до сих пор сводится к следующему. То обстоятельство, что история имеет значение для индивида, не оспаривается и практически не вызывает страха. Воздействие истории проявляется на двух уровнях: на уровне карьеры и пользы для индивида. Никто не возражал против того, что история – наставница жизни (или должна быть таковой). Однако когда важность истории для индивида (будь то сознательное использование или бессознательное воздействие) распространяется на целые народы, профессиональные группы или классы, на первый план выходит новый аспект в ее отношении к обществу и социальным группам. Использование (или неиспользование) истории может рассматриваться с отвращением, смехом или восхищением, но оно редко упо-

²⁰⁸ Schieder T. The role of historical consciousness in political action // *History and Theory*. Beiheft, 17. 1978. P. 1–18. [P. 9].

Профессионализм историка и историческое знание

минается походя, без комментариев. Публичное использование истории – дело деликатное.

Некоторые философы истории сказали бы, что любое историописание есть публичное использование истории, по крайней мере, когда дело доходит до публикации книг. Своими действиями историки пытаются повлиять на взгляды окружающего мира, скажут они. Многие не согласились бы с Шидером в том, что возможно разделить «академическую историю» и ее публичное использование. Я полагаю, что эта идея основывается на преувеличении, и если ее принять, нужно ввести важные различия между двумя видами использования истории. «Интерес антиквара», о котором говорил Ницше, или изучение истории *wie es eigentlich gewesen*, в отличие от использования этой дисциплины историками эпохи Просвещения, о которых говорил Ранке, что представляется мне обычным типом историописания. Заметьте, я не говорю об «объективной» истории и еще менее – об Истине в истории, но только о стремлении историка исследовать и писать об истории ради нее самой. (Я знаю, многие известные философы истории, например, Йорн Рюзен, не разделяют моей интерпретации слов Ранке, но это неважно для моего вывода: историческое сочинение может иметь своим намерением лишь показать, как обстояло дело в прошлом, а не указать, что нужно делать людям сейчас или в будущем.)

Полезность для государства

Правительства, короли и государи, задолго до того, как возникли демократические выборы и ответственность перед парламентом, стремились сделать иссле-

дования ученых полезными для государства. Примечательно, что многие ученые с легкостью снабжали государство информацией, которую у них запрашивали правительства и политики. Позвольте мне привести два примера – за пределами сообщества историков. Первый пример – Фриц Хабер и его работы на германскую военную машину во время Первой мировой войны (в чем он не был одинок). Множество не столь спорных результатов интеллектуального труда обязаны своим происхождением целям, поставленным правительствами и политиками. Другой пример, с иным значением, – Уильям Беверидж, работавший на британское правительство во время Второй мировой войны и создавший план, названный его именем²⁰⁹.

Важно упомянуть, оба эти человека стали известными исследователями прежде, чем начали работать на свои правительства. Хабер, пожалуй, самый успешный химик своего времени, будучи профессором в Карлсруэ, был приглашен в 1911 г. (задолго до войны) стать главой Института кайзера Вильгельма в Берлине именно из-за своей репутации в международных научных кругах. Там он разработал теорию и практику крупномасштабного производства аммония, который мог использоваться по-разному: как удобрение и как отравляющий газ. Беверидж уже имел репутацию крупного экономиста, когда возглавил Лондонскую школу экономики в 1919 г., работая в Оксфорде, в 1937 г. завоевал мировую славу теоре-

²⁰⁹ Говоря о Хабере и Беверидже я буду в основном ссылаться на работы Д. Штольценберга и Дж. Харриса. *Stolzenberg D. Fritz Haber: Chemiker, Nobelpreisträger, Deutscher, Jude: eine Biographie.* Weinheim: VCH, 1944; *Harris, José. William Beveridge: A Biography.* Oxford: Clarendon. 1977.

тическими изысканиями в данной дисциплине. Во время войны он возглавлял комиссию по проблемам социального обеспечения, выработавшую знаменитый отчет; он служил своему правительству и иными способами.

Легко осуждать Фрица Хабера – это часто делалось, и не только в связи с его работой над горчичным газом, отравляющим веществом столь страшного воздействия, но при этом забывалось, что газ явился более или менее побочным продуктом долговременного исследования, принесшего ученому Нобелевскую премию по химии (не раз оспаривавшуюся награду) в 1918 г. Точно так же легко восхвалять Бевериджа за его план, поскольку он стал источником идей для социальной политики, многократно использовавшихся в послевоенной Европе.

И Хабер, и Беверидж были лояльны своим правительствам, предоставляя свои профессиональные способности в распоряжение государства. В обоих случаях результаты их деятельности превзошли ожидания правительств. В чем же тогда разница? Можно сказать, что разница заключается в моральном аспекте, но о чьей морали идет речь? Должны ли мы порицать/восхвалять их намерения? (А знаем ли мы их?) Мы можем сказать: они должны были принимать во внимание последствия своих исследований, но поскольку их намерения и субъективные размышления неизвестны, нам трудно порицать/хвалить. Порицая или восхваляя тех, кто приказал или попросил произвести исследование и использовал его результаты, и тех, кто определял цели исследований, то есть связанных с проектами политиков, мы вряд ли отыщем ключ к поведению ученых.

*Профессионализм как путь
к верному использованию знания*

Чувство вины или его отсутствие – это один вопрос, а профессионализм или его недостаток – совсем другой. Их часто считают взаимосвязанными, но это не так. Существует множество исследований, проведенных по распоряжению правительства или государственных учреждений, которые не несут моральной нагрузки, однако имеют смысл с профессиональной точки зрения. Было бы неверным предположить, что Хабер непрофессионально вел исследование, в результате чего появился горчичный газ; точно так же не стоит поспешно полагать, что работа Бевериджа над планом, который носит его имя, может считаться профессиональной: этот документ представлял собой, скорее, применение идей, выработанных ученым в ходе его профессиональной исследовательской деятельности.

Когда политики побуждают ведущих ученых, действующих в рамках национальной исследовательской системы, служить государству, это часто вступает в конфликт с требованиями академического профессионализма. Примеры тому – Хабер и Беверидж. Хотя моральные аспекты их работы на правительство были различными, мы должны согласиться: оба они были готовы использовать свои профессиональные возможности для создания того, что само по себе не являлось научным или академическим достижением, но было тем, что стремились использовать правительство. Главный вопрос – не воздействуют ли политические власти на науку неподобающим образом, когда обращаются к ученым с такими просьбами?

Профессионализм историка и историческое знание

Политики хотят, чтобы историки проводили исследования определенных тем, иногда они даже требуют определенных результатов. Историки же хотят быть свободными в выборе проблем, тем и методов исследования. Обе стороны идеализируют свое положение. Когда политики объявляют, что на исследование определенной темы или направления выделяются особые средства, они надеются, что результаты окажутся благоприятными для их партии или правительства. Зачастую у них есть свое представление о политическом использовании тех или иных тем, идет ли речь о национальных движениях, которые могут привлечь часть избирателей, или же о холокосте либо истории дискриминации, чувствительных для иных общественных групп. Ряд исторических исследований проводятся, прежде всего, ради международного имиджа и лишь во вторую очередь предназначены для национального употребления, — другие государства и их лидеры могут быть впечатлены дерзкой открытостью (или «прямотой»), с какой данное правительство обращается к подобным темам. Историки с трудом допускают, что и сами они выбирают многие темы с учетом их политического воздействия. В исследованиях, посвященных тайным политическим акциям или надзору за гражданами в недавнем прошлом, с одной стороны, и анализу идеологической подоплеки экстремистских движений, с другой, трудно игнорировать политическое воздействие.

Существует множество тонких «пограничных» случаев. Политики, действительно, стремятся воздействовать на историю и использовать ее в своих целях, но в то же время историки (и многие специалисты в области общественных наук) пытаются влиять на политику. Со-

временные политологи порой выставляют свои действия по достижению этого в качестве добродетели, как конечную цель своей дисциплины. И то, и другое часто осуждается обществом как угроза «академической свободе» и профессионализму исследований.

Таким образом, мы регулярно сталкиваемся с тем, что профессионализм историка (не только историка, но здесь нас интересует именно он) и политика конфликтуют. Это важно и когда «политика» есть только часть сознания историка, и когда политические организации дают непосредственные указания о проведении исторического исследования. Но разве профессионализм историков не эластичен? Определены ли строгие правила, исключающие влияние политики на работу историков? Странно, если бы дело обстояло именно так, ведь история историографии постоянно указывает на то, что тот или иной историк сознательно или бессознательно проявлял политическую тенденциозность²¹⁰. Хорошо известны факты, когда историки симпатизировали какому-либо политическому движению прошлого или же использовали историю в качестве параллели современной политики. Нелегко назвать историка, которого можно оставить без политической «этикетки». Идеологическая позиция, позитивная или негативная оценка одних социальных установлений, а не других, кажутся неизбежными, если историк глубоко погружается в политическую ситуацию прошлого. Длинная временная дистанция не дает защиты от современных политических воздействий.

²¹⁰ Это демонстрируют очень многие исследования по истории историографии; см., например, классические работы: *Geyl, Pieter. Napoleon For and Against. London: Cape, 1964* и *Butterfield H. George III and the Historians. London: Collins, 1957.*

В сочинениях многих известных историков Античности, подвергавшихся анализу, было обнаружено множество следов современных идеологий, связанных со временем, когда эти труды писались, например, в работах знаменитого русского ученого-эмигранта Ростовцева о римской и египетской государственной бюрократии. Лишь в редких случаях история пишется, как кажется, без всякой связи с политикой. Исследование развития какой-либо специфической теории в химии, выполненное полностью в рамках истории науки, трудно анализировать с точки зрения его политизированности. Но, как хорошо известно тем, кто знаком с историей науки, всегда были и остаются тесные связи между политическими амбициями и научными экспериментами, особенно дорогостоящими²¹¹. Показывая эти взаимосвязи, а также социальное окружение лаборатории, историк часто говорит не только о прошлом, но также и о своих жизненных ценностях.

В чем же состоит исторический профессионализм? Не нужно проводить всестороннего исследования, чтобы прийти к выводу, что нет единодушия ни относительно самой идеи, ни – еще менее – относительно ее определения. Многие историки скажут: хороший профессионал умеет великолепно использовать исторические методы, другие скорее укажут, что он должен обладать хорошим знанием истории, как деталей, так и общего хода

²¹¹ См., например, *Krige J. The Politics of European Scientific Collaboration // Science in the Twentieth century* Amsterdam: Harwood, 1997. P. 897–918; *idem. The rise and fall of Esro's first major scientific project, the large astronomic satellite (LAS) // Choosing Big Technologies*. Chur: Harwood, 1992. P. 1026; *Palladino P. Entomology. Ecology and Agriculture. The Making of Scientific Careers in North America, 1885–1985*. Amsterdam: Harwood, 1996.

событий, третьи сочтут, что признаком истинного профессионала является стремление анализировать прошлое и связывать факты о нем с социальными теориями. Утверждения подобного рода (а приведенные примеры не исчерпывают всех возможностей) часто соседствуют с заявлением о том, что можно ввести и другие критерии. (Немногие признают, что те характеристики, которые они считают наиболее важными, приведут к появлению слишком запутанного определения.)

Если мы обратимся к социологии профессии, то обнаружим путеводную нить, но и тогда это не станет бесспорным определением. Один из вариантов социологии, завоевавший признание в 1980-е, основан на веберовском анализе общества. Согласно данной концепции профессиональных сообществ их члены защищают свои интересы через создание организаций и барьеров. Чтобы сохранить профессиональную ценность номер один, знания (и навыки), они часто вступают в союз с государством, образуя своего рода легитимацию, порой в конкретной форме членства в профессиональной ассоциации как обязательного условия для отправления профессиональных функций. Так поступают не только врачи и юристы, другие группы и подгруппы также пытаются установить ограничение конкуренции. Сами профессионалы, конечно, возразят, что это ни в коем случае не ограничивает конкуренцию. Все прошедшие квалификацию допускаются в профессиональную организацию. Остальные помечены как неквалифицированные, шарлатаны. По мнению профессионалов, это единственное средство сохранять компетентность специалистов²¹².

²¹² См.: *Sarfatti, Larson M. The Rise of Professionalism. Berkeley:*

Профессионализм историка и историческое знание

Даже если бы существовала еще одна признанная интерпретация профессионализма, я все равно предпочел бы эту²¹³. Как все группы ученых, историки не действуют организованно. Но, безусловно, существует защитный механизм, объявляющий: все те, кто пишет книги, снимает фильмы и делает телевизионные передачи об истории, не имеют надлежащей выучки (при посредстве научных исследований) в том, как представлять, осмысливать и понимать историю, и поэтому не могут быть признаны «историками» в академическом сообществе.

Использование современной истории

Ранее я пытался показать, что не только новейшая история вовлечена в конфликт профессионализма и политики. Это проявляется в разных формах и с различной интенсивностью во всех науках. Однако эта проблема наиболее характерна для новейшей истории, поскольку здесь трудно найти тему, которая так или иначе не затрагивала бы партийных или государственных интересов. Когда средства массовой информации осознают эту си-

Univ. of California Press, 1977; *Park F. Marxism and Class Theory: a Bourgeois Critique*. London: Tavistock, 1979; *Collins R. Changing conceptions in the sociology of the professions // The Formation of Professions* / Ed. by R. Torstendahl, M. Burrage. London: Sage, 1990. P. 11-23; *Collins R. Market closure and the conflict theory of professions // Professions in Theory and History* / Ed. by M. Burrage, R. Torstendahl. London: Sage, 1990. P. 24-43; *Freidson Professional Powers: A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1986.

²¹³ Подробнее об историческом профессионализме см. мою статью “History, Professionalization of” // *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, London: Elsevier, 2001.

туацию, они начнут пристальнее следить за исследованиями в области новейшей истории, как это делается по отношению к другим дисциплинам.

Правительства стремятся контролировать не только финансирование науки, но и сами исследования, создают комиссии (среди членов которых, помимо надежных политиков, есть и ученые), разрабатывающие программы исследований. Правительства обращаются к исследовательским советам (если те получают государственное финансирование) с рекомендациями сконцентрировать исследования в определенной сфере, а также обеспечивают исследователей информацией, необходимой для анализа. Если правительство не полностью удовлетворено деятельностью ученых (что, как я думаю, бывает редко), оно может производить селекцию материала и даже установить цензуру – контроль над использованием результатов исследований. Для новейшей истории особенно важна власть правительства над историческими материалами, так как профессиональный кодекс историка заставляет его искать современную событиям информацию, а также материал, непосредственно порожденный исследуемым процессом. Любая селекция или правило, исключающее из исследования часть материала, могут оказаться роковыми для профессиональных результатов.

Это относится к системе правил самих профессиональных историков. Ей, однако, трудно дать определение. Она состоит из разных частей, которые я назвал соответственно минимальными требованиями и оптимальными нормами. Минимальные требования историк не может игнорировать, не рискуя быть обвиненным в

Профессионализм историка и историческое знание

ошибке²¹⁴. В исторических учебниках эти правила часто представляются в более специфической форме, но они сводятся к основополагающим требованиям:

1) не выступать с противоречивыми утверждениями или утверждениями, ведущими к противоречиям;

2) придерживаться одного предмета в одном исследовании, чтобы результаты исследования оказались связанными именно с ним;

3) представлять основания для утверждений в эмпирической форме, которая допускает контроль других специалистов.

Оптимальные нормы относятся к тому, что считается «плодотворным» или «хорошим» исследованием. Поскольку здесь существуют различные мнения, оптимальные нормы варьируются. Обычно они соединяются в «пучки», кроме того, оптимальные нормы, по сути, обозначают разные сферы истории: история рабочего класса связана с одной группой таких норм, история историографии – с другой, парламентская история – с третьей и т.д. Новейшая история, возможно, делится на две или три подгруппы, каждая со своей группой оптимальных норм.

Политическое вмешательство (чаще всего это случается с новейшей историей) в определение тем исследования, постановку проблем и доступность материала означает нарушение минимальных требований и оптимальных норм профессии. В некоторых случаях наруше-

²¹⁴ См., прежде всего: Reglerade minimikrav och optimumnormer // *Den Kritiske analyse*, Oslo: Universitetsforlaget, 1994. P. 43-62. Рус. пер.: Торстендаль Р. «Правильно» и «плодотворно» – критерии исторической науки // *Исторические записки*. – М., 1995. Вып. 1 (119). С. 54–73.

ние может быть незначительным, в других – решающим. Минимальное требование проверки и контроля результатов нарушается, если лишь некоторые исследователи имеют доступ к материалу и – что более серьезно, – если материал подвергался отбору до того, как на него взглянули историки. Это случается очень часто. При помощи других манипуляций с материалом можно заставить историка нарушить еще одно или два минимальных требования, поскольку нарушается тематическое единство.

Оптимальные нормы также сталкиваются с пренебрежением политиков, склонных считать: то, что актуально для них, столь же важно и в области науки. Когда политик осознает наличие проблемы и возможность улучшить свой собственный (или партийный) имидж, продемонстрировав интерес к ней, щедрое финансирование и особые институционные средства искушают многих профессионалов объявить о своем интересе к данной теме. В зависимости от количества грантов и размаха институционных усилий даже лучшие профессионалы могут поддаваться искушению. Вспомните о Хабере, который получил возможность возглавить Институт кайзера Вильгельма в 1911 г. Я полагаю, многие могут привести параллели из естественных или общественных наук. Итак, профессионалы могут быть куплены, но когда они куплены, коллеги редко критикуют их (разве что за спиной). Публичная критика в основном направлена против политиков, которые сделали это возможным. Они этого, безусловно, заслуживают, но и ученым не повредила бы доля самоанализа, в том числе историкам, которые тоже открыты для такого рода сделок.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Правильно» и «плодотворно» – критерии исторической науки

При рассмотрении проблемы, ранее мною уже неоднократно затрагиваемой²¹⁵, я хотел бы избежать недоразумения, суть которого лежит на поверхности. Правила и система правил в науке не являются самоцелью. Точно так же и сама наука как абстрактное понятие не является самоцелью или целью, способной оправдывать правила. Целью науки должно быть понимание мира, его настоящего и прошлого.

Причисление истории к науке не является чем-то притянутым за уши. Все научные объяснения наблюдаемых в настоящем или прошлом фактов имеют между собой много общего. Важнейшим моментом является их зависимость от системы правил. Безусловно, можно

²¹⁵ *Torstendahl R. Minimikrav, optimumnormer och paradigm i historisk vetenskap / Filosofiska smulor tillagnade Konrad Marc-Wogau», Uppsala 1977, s. 24–33; его же. Historiska skolor och paradigm // Scandia». Nr. 45, 1979, s. 151–170; его же. Minimum Demands and Optimum Norms in Swedish Historical Research 1920–1960 / The Weibull School in Swedish Historiography. Scandinavian Journal of History, vol. 6, 1981, p. 117–141 (в переводе на шведский яз. в кн.: T. Nybom och R. Torstendahl. Historievetskap som teori, praktik, ideologi. Stockholm 1988, s. 72–95); его же. The Transformation of Professional Education in the Nineteenth Century / В кн.: S. Rothblatt och B. Wittrock (red.). The European and American University since 1800. Historical and Sociological Essays, p. 109–141, spec. 109–123.*

объяснять и без правил, то есть догадываться. Некоторые системы правил выступают в глазах критического наблюдателя, скорее всего, как догадки, например, астрологические объяснения событий. Нечто вроде правил имеется тем не менее и здесь. Однако очевидно, что этих правил не хватает, следовательно, нет достаточных условий для науки. Возникает вопрос, нужны ли вообще правила в науке, то есть является ли их наличие необходимым условием ее существования?

Когда философы или культурологи выступали против научных правил, то их аргументы обычно были направлены против претензий некоторых ученых на обладание Истиной или, по крайней мере, ее частью, а также их требований относительно того, чтобы все последующее знание включало в себя эту истину. Ни одно подобное утверждение не следует из представления о том, что наука регулируется нормативной системой. Напротив, можно по праву утверждать, что не только «содержание науки», но и «система научных правил» являются плодом общественного развития как научного общества, так и общества в целом.

Красноречивые речи Поля Фейерабенда в защиту «анархистской» теории науки содержат глубокую критику представлений о том, что существует единственная методология науки и что с ее помощью может устанавливаться законность теоретических гипотез²¹⁶. Одновременно Фейерабенд обосновывает свои рекомендации ученым. Им следует делать одно и избегать делать другое. Утверждение, что в науке позволено все (развивая

²¹⁶ *Feyerabend P. Against method* (1975), здесь использовано в переводе на шведский: *Ned med metodologin*, Stockholm, 1977.

ту мысль, Фейерабенд зашел слишком далеко), сильно контрастирует с его же собственным мнением о существовании возможности подвергать критике представления о науке. Если научно-историческое развитие подкрепит его тезис, что нарушение правил и систем правил составило важный элемент научного развития (он не говорит: «продвигало науку вперед», но эта мысль подразумевается), тогда должны существовать другие правила, дающие возможность определять, какая критика продвигает науку вперед.

Если бы действительно все было позволено, мы не смогли бы решить, кто более прав – Птолемей, Галилей, Ньютон или кто-нибудь еще. Мы не смогли бы сказать, что кто-нибудь из них создал лучшую научную систему, чем самоучка мельник Меноккио, чью картину мира представил нам Карло Гинзбург²¹⁷. Мы также должны видеть разницу между тем, что позволено, и тем, что является плодотворным и полезным с научной точки зрения.

Критическая позиция Фейерабенда проистекала из научно-философской традиции, которая ставила во главу угла логический анализ науки. Можно углубиться в историю на несколько поколений, но в данном случае достаточно сослаться на Карла Поппера, имея в виду его сведение счетов с логическим эмпиризмом, прежде всего в «Логике научного открытия», первоначально изданной на немецком языке в 1934 году, но оказавшей большое влияние прежде всего благодаря ее английскому варианту 1959 года²¹⁸. Научная логическая конструкция этой ра-

²¹⁷ *Ginzburg C. Osten och maskarna. En 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen. Stockholm, 1983.*

²¹⁸ *Popper K. The Logic of Scientific Discovery, London, 1968.*

боты, как и всех последующих, была ядром философии науки Поппера. Его преемник на кафедре Лондонской школы экономики Имре Лакатос критиковал Поппера по некоторым пунктам, но сам в основном искал ответы на научно-философские проблемы в том же русле, что и Поппер. Это стало особенно ясно в ходе дебатов, последовавших за публикацией книги Томаса С. Куна «Структура научных революций» (1962). Лакатосу принадлежит самое длинное и, возможно, наиболее веское выступление, опубликованное в 1970 году в отдельном томе дискуссий одновременно с выходом в свет второго и значительно переработанного издания книги Куна²¹⁹. Фейерабенд выступил с критикой программы, которую выдвинули Поппер и Лакатос. Он отвергал мысль о возможности проведения анализа логической структуры науки, что, в свою очередь, позволило бы определить, что же является правильной наукой. «Логика научного открытия» стала восприниматься как «методология правильной науки», но этого не захотел принять Фейерабенд. Он полагал, что не существует единственной научной методологии.

Аргументы из истории науки были теми боеприпасами, которые Фейерабенд использовал во время своего мятежа. Зато он не рассматривает проблему науки как результат социальной деятельности. Томас Кун делает и то и другое. Согласно Куну наука есть социальная деятельность, и ученые внезапно осознают иной тип исследования как новую парадигму по сравнению с тем, что они делали прежде. Обращение в новую веру является

²¹⁹ *Lakatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes / В кн.: I. Lakatos och A. Musgrave (red.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970, p. 91–196.*

Профессионализм историка и историческое знание

«научной революцией»²²⁰. Это означает, что новые исходные данные принимаются наукой, и то, что до этого считалось ненаучным, признается наукой.

Слишком много было написано о парадигмах и смене парадигм вслед за Куном. Лично я теперь, как и прежде²²¹, считаю: есть основания сомневаться в том, что понятие «парадигма» хорошо работает применительно к исторической науке. Как в истории, так и в обществоведении имеются различные точки зрения на то, существует ли признанная «научная точка зрения» (и в связи с этим «научный фронт» работ) или есть разные школы и направления с различными исходными позициями. Внимание в данном случае концентрировалось на понятии парадигмы, и поэтому упускались из виду или лишь слегка затрагивались последствия того, каким образом Кун подходит к научной проблематике в более общем смысле. Он рассматривал нормативную систему науки как социально обусловленную: существовало научное сообщество (он говорит о *scientific community*), которое определяло судьбу нововведений. Если они получали распространение и признавались, тогда приходил «успех» и свершалась научная революция.

²²⁰ Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions, 2.utg., Chicago 1970. Кун, так же как и Фейерабенд, приводил аргументы из истории науки. Однако он не совсем ясно пишет о значении для него социальной аргументации. Это вытекает из его рассуждений, но остается не полностью проясненным вопрос, рассматривал ли сам Кун социальную функцию научного сообщества как альтернативу логическому анализу науки. См. с. 92–110.

²²¹ Torstendahl R. Historiska skolor och paradigm / «Skandia», Nr. 45, 1979, s. 151–170.

В этом смысле исходным пунктом данного эссе является скорее позиция Куна, чем Фейерабенда или Поппера. Система правил, которую мы будем обсуждать, имеет свою законность только в научном сообществе, ее признающем. Она является продуктом социума. Это вовсе не препятствует тому, что правила, входящие в систему, могут иметь строго логическое содержание. Однако важно и то, что тем самым система правил получает исторические параметры. Эти системы могут менять свое содержание и дополняться, им может быть составлена конкуренция в случае отсутствия единства в научном сообществе. Эта точка зрения, в выразительной форме представленная Карлом Маннгеймом, получила свое дальнейшее развитие в работах многих современных социологов, изучающих роль знания в обществе. Эта позиция означает, что знание (в данном случае мы ограничимся понятием «наука») зависит от общественных отношений и общества, в котором живут производящие знание люди (читай: ученые). Но если наука не одно и то же для всех ученых во все времена и для ученых, живущих в одно и то же время, тогда их система правил должна быть переменной. Ньютон не играл в ту же игру, что Галилей или Эйнштейн. Геродот не играл в ту же игру, что Фукидид и в еще меньшей степени Плутарх, Григорий Турский, Вольтер, Ранке или Бродель. Никто из них не следовал одним и тем же правилам. И тем не менее все считали, что они приносили историческое знание, если мы сейчас говорим об историках.

То, что любое исследование проводится по определенным правилам, думается, не подвергается сомнению в среде ученых, вопреки анархистскому вызову Фейерабенда и в некоторой степени постмодернистов. Издавна

Профессионализм историка и историческое знание

важной задачей было обучение методу исследования. Исследователи все же часто допускали, чтобы потребность в правилах проявлялась как потребность в неизменной нормативной системе. То, что исследование принесет знание, является общим местом, даже если само понятие «знание» часто затрудняет работу исследователя. Существует большой соблазн передать вопрос о знании теоретикам в этой области, то есть тем философам-теоретикам, которые выбрали своей специальностью определять, каким образом мы полагаем достичь знания.

Если принудить нерешительного исследователя высказать свое мнение по поводу соотношения между знанием и наукой (большинство имеет довольно наивное представление о своих задачах), то он окажется стоящим перед дилеммой. Либо он производит знание путем своей деятельности, либо эта деятельность является искусством ради себя самой, то есть наука является лишь наукой и ничем иным. Что касается истории (больше истории, чем других гуманитарных дисциплин), то некоторые участники дебатов заявляли, что в этом случае удовольствие бывает важной промежуточной или даже конечной целью исследования.

И все же трудно провести разграничительную линию между наукой (я буду употреблять это слово как более удачное для определения результата исследования) и знанием. Наука, в приемлемом значении понятий «наука» и «знание», составляет часть знания. Все знание не является наукой, но вся наука является знанием. Таким образом, условия для науки имеют силу для части знания. Это положение – достаточное для данного случая.

Либо наука имеет находящуюся на заднем плане цель в форме «знания» (или как альтернативы – «удо-

Рольф Тоштендаль

вольствия»)), либо наука существует ради себя самой, но в обоих случаях она воспринимается как наука, если выполняются определенные правила, вместе составляющие систему. Выполнять научную работу становится искусством, «игрой», подобной в определенной мере игре в футбол, домино, бридж или шахматы. Каждая игра имеет более или менее развитую систему правил, которой нужно следовать. Тщательно следовать правилам означает играть правильно. Не все, кто играют правильно, играют хорошо. Чтобы стать искусным игроком, необходимы тренировки и определенная ловкость, часто трудно определяемая. Иногда может показаться, будто некоторые люди родились уже со сноровкой к определенному типу игры, а другие – без оной. Очевидно также, что можно тренировать подобную ловкость и что никто не станет мастером в сложной игре только по причине естественных способностей, идет ли речь о футболе или шахматах.

Умение использовать систему правил рациональным способом с применением возможностей этих правил и своих собственных физических и интеллектуальных способностей характеризует большинство игр. В этом смысле «научная игра» – тоже игра. Нужно следовать некоторым правилам, чтобы стать безупречным, пишущим без ошибок исследователем, но, кроме того, нужно тренироваться и использовать известные врожденные физические и интеллектуальные способности, чтобы стать хорошим, интересно пишущим исследователем. Данное эссе касается общих для исследования правил игры, поскольку не могу считать приемлемым утверждение, что правила исторической науки должны быть особыми. Однако хочу подчеркнуть, что имею в виду прежде

Профессионализм историка и историческое знание

всего исторические и общественные дисциплины, а не естественные науки, чем и отличается мой угол зрения от того, под которым рассматривают эти проблемы крупные философы.

Важно также обсудить, имеют ли правила какую-то цель, рациональную основу, или они представляют собой массу произвольных законов, определяющих «исследовательскую игру» по типу правил игры в бридж, которые отличают бридж от канасты или виста, но цель которых состоит лишь в том, чтобы показать, что хотят играть именно в бридж.

Минимум для чего?

Когда я использую понятия «минимальные требования» и «оптимальные нормы», я имею в виду социально направленную науку. Я полагаю, есть все основания считать, что эти понятия хорошо применимы для всей науки и что они имеют особое значение для гуманитарных и общественных наук, но не станем сейчас приводить аргументы в доказательство этой идеи. Следует подчеркнуть: существование истории науки доказывает тот факт, что нет какой-то одной науки, которая раз и навсегда установила систему правил. Все науки претерпевали преобразования вследствие изменений нормативных систем, причиной этого были, с одной стороны, новые данные фактического наблюдения, а с другой – развитие теории.

Нормы всегда являются продуктом социального развития. И то, что я называю минимальными требованиями, и то, что – оптимальными нормами, являются такими нормами в науке, которые требуют своего признания

Рольф Тоштендаль

научным сообществом, чтобы получить определенную законность в качестве норм.

Следовательно, оснований для того, чтобы делать различие между обоими типами норм, у меня нет, хотя один тип норм обязательно был бы более постоянным, более независимым от научного сообщества, чем другой. Чтобы пояснить, почему я все же хочу сохранить это различие, вернусь к аналогии с игрой. При игре в шахматы знание правил относительно передвижения фигур, правил рокировки, постановки шаха, пата и мата является минимальным требованием, которым необходимо овладеть. Не зная правил вообще, невозможно играть в шахматы, не рискуя выдумать свои правила, пригодные для игры, которая не является шахматами, а будет называться «шахматы-2». Такие правила к различным играм вырабатывают дети, если не знают настоящих правил. Я сам играл так в «шахматы» с братом чуть старше меня, когда мы были маленькими, то есть по собственным правилам рокировки и взаимоотношений одного короля с другим. Такие игроки, какими мы были тогда, изобретают сами для себя минимальные требования. Подобным образом, но, надеюсь, не настолько беспечно наука выработала свои минимальные требования и уточнила имевшиеся ранее.

Однако вскоре обнаруживаешь (нередко к своему огорчению), что, постигнув лишь минимальные требования, ты никоим образом не становишься хорошим шахматистом: тебя легко может перехитрить более умелый игрок, ты часто попадаешь в тактическую ловушку, быть бдительным по отношению к которой тебя научит только тренировка. Тактика и стратегия также имеют свои правила – оптимальные нормы, которым можно обучиться,

Профессионализм историка и историческое знание

но прежде давайте рассмотрим немного подробнее минимальные требования.

Тот, кто грешит против минимальных требований в шахматах, совершает ошибку. Совершить ошибку означает нарушить определенные правила, которые являются основополагающими. При игре в шахматы случается, что не очень умелый игрок делает подобные ошибки. И напротив, более продвинутый шахматист совершает ошибки такого рода очень редко. В других играх бывает иначе. В футболе, например, даже опытный игрок часто оказывается в положении «офсайда», это – ошибка, которую сразу же фиксируют судья на линии и главный арбитр матча. Случается, что спортсмен сознательно касается мяча рукой (даже знаменитый Марадона проделывал подобное в ответственном матче чемпионата мира), и это, конечно, – грубое нарушение правил. Безусловно, бывает трудно или даже невозможно решить, случайно игрок задел мяч рукой или умышленно поступил так в сложной ситуации. Футбольные правила позволяют судье оценить случившееся, что, в свою очередь, может породить противоречивые чувства у болельщиков из одного или другого лагеря.

Легко установить минимальные требования в различных играх. Обращаешься к своду правил и проверяешь, что является верным, а что ошибкой. Если изучил по книге правила игры, значит, освоил ее минимальные требования. Минимальные требования в данном случае имеют единственную цель: установить игровые рамки. Только когда следуешь правилам, можно решить, что верно, а что ошибочно. И почти всегда (если будешь соревноваться по-настоящему) требуется независимый ар-

битр, который решает, кто жульничает, то есть нарушает минимальные требования.

С учетом этих обстоятельств «научная игра» отличается от игры в кругу семьи или спортивной игры. Здесь нет свода правил. Конечно, есть учебники (и их достаточно) по научным правилам. Но нет ни одной общепризнанной книги правил, включающей определенные количество параграфов, содержащих действующие законы «научной игры», будь то наука вообще или такая ее особая отрасль, как история. По исторической «научной игре» учебники начали выходить приблизительно в начале XIX века в Германии (например, книга Фридриха Рюса), и с этого времени в Европе и США (единственные регионы, по которым у меня есть соответствующие данные) был опубликован ряд книг, претендовавших на то, чтобы в большей или меньшей степени стать элементарными учебниками, разъясняющими, чем должна заниматься историческая наука. Все они пытаются сформулировать минимальные требования. Многие, помимо этого, стараются представить более или менее обширный перечень оптимальных норм. Часто эти учебники похожи друг на друга. Многие из них имеют индивидуальное педагогическое оформление, однако их минимальные требования довольно часто совпадают. «Часто» и «довольно» в данном случае являются важными словами. Не существует какого-то тотального соответствия. Нередко замечаешь различия в правилах и таким образом обнаруживаешь, что правила изменялись с течением времени. Я сам исследовал вопрос, каким образом изменилось отношение шведских историков к правилам критики источников (и не только к ним) за столетний период с 1820 по 1920 год. Я рассматривал эти изменения в европейской перспек-

тиве²²². Можно обнаружить особенности местных вариантов на материале различных стран, индивидуальные черты разных авторов также наложили свой отпечаток на разные книги. Таким образом, нет абсолютно жесткой системы норм, которая составляла бы минимальные требования в исторической «научной игре». Необходима книга Правил с большой буквы П.

В довершение ко всему не хватает справедливого судьи, которого можно позвать, чтобы разрешить спор. В терминах «игры» все историки – «игроки» и при этом сами себе «судьи» точно так же, как мальчишки из команды, в которой я ребенком играл в футбол, были одновременно и игроками, и судьями. В подобной ситуации некоторые игроки получают больший авторитет, чем другие, но после нескольких допущенных ошибок он может быстро улетучиться. Только аккуратный игрок, сам выполняющий правила, доказавший свои способности (который к тому же хорош в рамках оптимальных норм, но об этом позже), может обладать авторитетом, проявляющимся в затруднительной ситуации.

Из-за отсутствия признанной книги правил и судьи «научная игра» становится весьма зависимой от связей между учеными. Поскольку только путем чтения работ трудно решить, придерживается ли предмет, который выдает себя за науку, правил игры или нет, чрезвычайную важность приобретают дискуссия по поводу научной продукции и ее критика. В международном научном

²²² *Torstendahl R. Kallkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–1920. Uppsala 1964 (Studia hist. Upsaliensia, vol.15);* *еро же. Historikens bundenhet av sin samtids intellektuella liv / В кн.: T. Nybom och R. Torstendahl. Historievetenskap som teori, praktik, ideologi. Stockholm, 1988, s. 137–147.*

сообществе эта функция осуществляется различными способами. Ученые встречаются и обсуждают результаты своей работы. Подробное публичное обсуждение докторских диссертаций во время открытой дискуссии на защите является обычаем, который мы сохранили на Севере Европы, но который исчез во многих других местах. Иные формы обсуждений на семинарах и при индивидуальной работе с руководителем исследования являются общими для всего научного мира. Рецензии на научные работы – наиболее общепринятая форма критического рассмотрения. Чем ближе предмет рецензируемой книги к области исследования рецензента, тем больше у него возможностей рассмотреть, насколько хорошо выполняются минимальные требования, а также обсудить и подвергнуть критике вероятные отклонения.

Анализ отдельных минимальных требований и то, как они представлены в современных европейских исторических и общественных науках, лежит вне рамок данной работы. (Я намерен вернуться к этому вопросу в дальнейшем.) Проанализировав некоторые рецензии и определенное количество научных предложений, я обнаружил четыре главных типа аргументов, относящихся к тому, что критик считает недостатками в работах. Вот эти аргументы:

1) недостатки в сфере логической совместимости, в первую очередь относительно употребления понятий, вследствие чего могут возникать противоречия;

2) недостаточная возможность проверки эмпирической основы для подтверждения фактов (недостаток интересубъективного апробирования материала);

3) недостаток внутренней взаимосвязи, что затрудняет выяснение того, насколько промежуточное иссле-

дование и промежуточный результат важны для других частей исследования и их результатов;

4) недостаток новизны результатов, то есть все представленное в качестве результатов в действительности уже было заявлено другими учеными.

Быть может, имеет смысл подчеркнуть, — то, что мы обычно называем «историческим методом» в узком смысле (источниковедческий разбор и т.д.), попадает в первые две категории правил.

При критическом обсуждении проблем чрезвычайно важно исходить из заданных рамок минимальных требований. Только через подобную критику можно установить, достигает работа цели или нет. Единичные отклонения допустимы, в этом отношении историческая «научная игра» похожа на футбол. Однако грубые нарушения правил штрафуются — «не удалением с поля», а своеобразным отлучением. Тот, кто много грешит против минимальных требований (независимо от того, происходит это с намерением ввести в заблуждение или без такового), не воспринимается как человек науки. Первоначально осуждение относится не к человеку, а к его работе, но и ее автор не может не рисковать своей научной репутацией.

Человек науки очень серьезно воспринимает минимальные требования. Он не хочет слышать о какой-то «халтуре» или небрежности. Научному результату будут доверять постольку, поскольку знают, что выработанные правила исполняются. Единственная цель таких строгостей — получение знания. Если мы хотим, чтобы наука была знанием, мы должны уметь ставить перед ней определенные требования. Было бы интересно подробнее остановиться на подобных требованиях, например,

о применении исторического знания, но сейчас с этим следует повременить. Основные условия – все же те, при которых знание будет достоверным. Мы не хотим, чтобы оно оказалось иллюзорным, ложным или ошибочным, и минимальные требования служат тому, чтобы уберечь нас от подобного. Но оттого, что минимальные требования изменялись на протяжении столетий и десятилетий, они не могут гарантировать настоящую и единственную Истину с большой буквы. Уточняя минимальные требования, научные работники, напротив, намеревались пойти иным путем: не предъявлять требований к Истине, а потребовать более тщательного устранения ошибок и лжи.

Оптимально для кого?

Остается не проясненным вопрос, что считать «хорошим исследованием»? Если мы в этой связи предположим, что «исследование» представляет собой деятельность, в результате которой возникает наука, то становится очевидным, что существует важное различие между более «общественно ориентированной» и менее «общественно ориентированной» наукой. Из этого соотношения вытекают выводы о том, что именно в различных случаях считать «хорошей» наукой. Фактически дело обстоит таким образом, что интересы различных секторов народного хозяйства ориентируют ученых на поиск в различных направлениях и плоскостях. Эти имеющие связь с наукой секторальные интересы экономики оказывают непосредственное влияние на развитие некоторых прикладных разделов науки. Кроме того, и чисто теоретическое развитие самой науки по профилю дан-

ных секторов экономики оказывается сформированным под воздействием этих областей народного хозяйства. Речь может идти как о фармакологической химии, так и об энергетической физике или социологии социального обеспечения. Это воздействие, которое шведский философ науки Аант Эльзинга называл «дрейфом знания»²²³, представляет собой форму успешного преобразования и воздействия на нормы, регулирующие наши представления о том, что есть «хорошая» наука.

Если дело обстоит таким образом, что секторальный спрос точно так же, как научные сотрудники соответствующих областей, создает нормативную систему для хорошей науки, то совсем нелегко провести границу между той группой, для которой наука будет оптимальной, и той, которая придерживается иного мнения. Здесь должны учитываться как внутринаучные, так и внеаучные интересы.

Давайте вновь вернемся к аналогии с шахматами и футболом. Судья при игре в футбол является контролирующей инстанцией, но это верно только с точки зрения минимальных требований. Он не только может, но и должен не обращать внимания на то, «хорошо» или «плохо» играет команда или отдельный спортсмен в каком-либо другом смысле, кроме одного – следуют ли они предписанным правилам игры (минимальным требованиям) или нарушают их. Судья, таким образом, не является ценителем качества игры (хотя как частное лицо может это делать). Искусность оценивается журналистами, те-

²²³ *Elzinga A. Research, Bureaucracy and the Drift of Epistemic Criteria / В кн.: B. Wittrock och A. Elzinga (red.). The University Research System. The Public Policies of the Home Scientists. Stockholm, 1985, p. 191–217.*

Рольф Тоштендаль

левизионными комментаторами, людьми, сидящими на трибунах и у телевизоров.

Во время шахматных турниров публика в зале и у телевизионных экранов дает отзывы относительно искусности его участников, кроме того, по результату матча двух игроков можно с большей определенностью судить о достоинствах спортсменов, чем по итогам игры футбольных команд. Анализ искусности футболистов или шахматистов касается нескольких моментов: тактические черты, стратегические ходы, технические тонкости, сыгранность (в футболе) в выполнении отдельных элементов, защита, нападение и т.д. Различные ценители видят разворачивающееся действо по-разному. То, что один находит центральным в игре команды или спортсмена, другой отвергает, делая акцент на ином. Мы все же должны помнить: весь этот анализ играет подчиненную роль по отношению к тому факту, что в игре есть однозначный победитель и побежденный, за исключением ничейного исхода, который, в свою очередь, также является однозначным результатом. Невозможно, долго наблюдая стабильный успех победителя, утверждать, что именно побежденный обладал наилучшей квалификацией (хотя подобные попытки имеют место).

Когда дело касается игры, то эксперты, имеющие единое мнение по поводу соответствия игроков минимальным требованиям, высказывают различные точки зрения при оценке способностей игроков по оптимальной квалификационной шкале. Теперь самый интересный вопрос – можно ли в этой связи сравнить науку с игрой? Ранее мы констатировали, что в определенном отношении существуют как различия, так и общие черты между наукой и игрой.

Профессионализм историка и историческое знание

Первоначальное отличие, которое бросается в глаза при сравнении игры с наукой, состоит в том, что у научного сотрудника нет однозначного мерила для вынесения решения о том, что является успешным результатом. Ученые не играют друг против друга, вопрос, кто из двоих лучше, решается не на турнире. Каждый предлагает результаты в своей области, и они могут быть оценены только экспертами в этой области (или смежной с ней, ибо наука не так уж замкнута, как это иногда хотят представить). Только эти эксперты могут видеть, что является шагом вперед по сравнению с прежними научными воззрениями, в какой мере новые результаты достоверны. Это в равной степени касается нового метода лечения некоторых видов рака, новой теории происхождения сапа, новой теории государства и открытия природы процесса бюрократизации на протяжении нескольких столетий.

Вместе с тем публика через средства информации решает, что является интересным в науке. При этом она фокусирует свое внимание то на трансплантации сердца, то на камнях с Луны и их вкладе в теорию о происхождении Вселенной (*the Big Bang*), то на жизни людей в Монтайю, то на вопросах о качестве жизни. Ученые небезразличны к тому впечатлению, которое они или их коллеги производят на публику. Существует ответное воздействие, которое порождает новые вопросы и новые планы.

Важным следствием того, что книги строгих правил по минимальным требованиям в науке не существует, является тот факт, что можно обсуждать вопрос (на практике это встречается довольно часто), представляет ли новый вариант исследования ошибочный путь в науке

Рольф Тоштендаль

(то есть нарушение минимальных требований), либо это новый поворот в минимальных требованиях или оптимальных нормах.

Еще более важным является то, что отношение науки к «публике» не настолько свободно от проблем, как в случае с игрой в футбол или шахматы. Чем больше футбол общепринят, тем он более артистичен для публики, готовой за это платить. То же относится и к шахматам. В упрощенном варианте это – занятие ради собственного интереса, то есть для удовольствия участников, и тогда (но не в случае игры профессионалов) только сами участники являются экспертами как в определении правильности или ошибочности, так и в оценке искусности.

В науке все наоборот. Еще не полностью завершивший свое образование научный работник вынужден соглашаться с тем, что другие ученые (и не только они) выступают как эксперты его достижений. В том, что общество должно предлагать хорошее научное образование, должно быть заинтересовано само общество, так же как и в случае, когда политики и журналисты, пишущие по вопросам культуры, считают себя достаточно искушенными, чтобы судить, что является «хорошим научным образованием» и где проходит расплывчатая граница, определяющая «интересную науку». В качестве основания для своих суждений они иногда используют достижения более молодых научных работников, их диссертации и сочинения, написанные до защиты. Элитарная наука, напротив, всегда хочет избежать каких-либо, кроме собственно научных оценок относительно критериев плодотворности исследования, что, в свою очередь, связано с развитием самой теории и системы понятий. Однако подобная попытка поставить заслон не всегда

удается. Дебаты о развитии биологии и психологии дают ясный тому пример: развитие теории Скиннера целиком было поставлено под вопрос на основании вненаучных интересов. Конечно, бывает (как мы видим), что взгляды общественности оказывают влияние на ученых. Однако эти взгляды обретают вес только тогда, когда ученые в той или иной степени их принимают. Много раз ученые, прежде всего в естественных науках и медицине, да и во многих других областях, отвергали реакцию широкой публики, полагая, что она является следствием ошибки или недостатка знаний. Подобным образом никогда не могут быть отвергнуты взгляды футбольных болельщиков.

Историческая наука между тем проявила себя более чувствительной к реакции публики, чем другие сопряженные с ней дисциплины. Я в данном случае намекаю не только на естественные науки и медицину. Социологи и обществоведы, социальные антропологи и этнологи – все они занимались своей наукой, имея определенный контакт с общественностью, но без существенного влияния общественных дебатов на развитие науки и без явных амбиций участников этих дебатов поправлять научных работников. Однако именно в Швеции журналисты и культурологи раз за разом в течение последних лет выступали с честолобивыми притязаниями реформировать историческую науку и вернуть ее назад (реакционность взглядов очевидна) к системе правил «интересной» и «хорошей» науки. Такую систему они считают лучше той, которая применяется научными сотрудниками сейчас. То, что историческая наука имеет столь близкие отношения с публикой без руководства со стороны ученых, зависит, естественно, от объекта этой науки, но ни в коем случае не является шведской

особенностью. Это значительно отличается от ситуации во многих других науках, например в астрономии, которую средства массовой информации часто одаривают вниманием, но никогда не ставят под сомнение. Даже литературоведение существует без явного вмешательства в оценочные нормы участников культурологических дебатов, уделяющих очень большое внимание этому разделу науки. Здесь внимание больше выражается в почтении. Причина такого различия может быть и в том, что не литературоведение, а сама литература привлекает внимание публики таким же образом, как история, а *история* в двух своих ипостасях отвечает как за науку об истории, так и за историографический процесс, то есть предмет деятельности историков.

«Научная игра», таким образом, не является игрой во что угодно. Даже если научные минимальные требования рассматривать как имеющие много общего с игрой, то и тогда, по крайней мере, часть оптимальных научных норм интегрирована в науку гораздо больше, чем соответствующая часть оптимальных футбольных норм интегрирована в футбол (в той степени, в какой футбол может быть соотнесен с другими играми, по форме отличающимися от футбола). При этом научные оптимальные нормы охватывают более широкое поле, чем собственно игровое. Они касаются не только внутринаучных решений, но имеют связь с жизнью людей. Поэтому-то «публика» желает судить о науке, в особенности об общественно ориентированной науке и той, которая затрагивает человеческую идентичность. Оптимальные нормы исторической науки явно пронизаны интересами, больше связанными с поведением людей, чем с выстраиванием аргументов.

Стало расхожим утверждение, что нет никакой возможности провести строгое разграничение между внутринаучными аргументами и влиянием на науку извне, то есть исходя из вненаучных оценок и взглядов. Поэтому многим кажется вполне законным как угодно смешивать науку с ненаукой и считать, что никакие правила для легитимного воздействия не могут быть выработаны. И все же поле не настолько уж перепаханно. Невозможность провести строгое разграничение не означает, что нельзя сделать разграничений. Существуют четкие границы того, что наука допускает со стороны внешнего воздействия, оставаясь наукой в системе своих правил.

Оптимальные нормы совершенно очевидно являются тем полем, которое подвергается внешнему воздействию. Вместе с тем наиболее значительное в науке во многих отношениях должно точно определяться принятым этой наукой способом. Эти сложные взаимоотношения заслуживают более детального анализа, однако мы здесь лишь констатируем каким образом ориентированные не на науку интересы входят в научную нормативную систему. Кроме того, важно подчеркнуть, что оптимальные нормы группируются по блокам и что никто не может охватить все нормы, имеющие ныне хождение. Различный набор внутринаучных оптимальных норм (в исторической науке, это, например, нормы, ориентированные на герменевтику, понимание и индивидуальность, в противовес более теоретическим, объясняющим и ориентированным на изучение коллектива) может комбинироваться с различным, лежащим вне науки, набором оценок.

Оптимальность имеет отношение к тому, как я указывал выше, что считается «хорошей» наукой. Между тем существует ориентация по интересам, определяемым личностным или тематическим – в зависимости от научной проблемы – пристрастием, что не означает недооценку науки как таковой. Политическая идеология может выполнять эту же функцию, но она может работать и как вненаучная оптимальная норма. Вполне естественно, например, что человек, вовлеченный в рабочее движение, находит исторические труды по этим вопросам более интересными, чем те, которые разбирают явления, далекие от политики. Не существует четко выраженной регулярности в подобных предпочтениях. Политики из рабочего движения могут иногда очаровываться средневековой церковной идеологией, но в этом случае интерес имеет иное обоснование, вне зависимости от политических пристрастий человека.

Интерес в том значении, о котором мы сейчас говорили, – это общая ориентировка, которая срабатывает как высвечивающий прожектор или сито. (Это понятие интереса, таким образом, совершенно отлично от того, которое обусловлено материальными и другими мотивами, побуждающими к действию и могущими существовать независимо от того, осознаются ли они или нет действующими лицами.) Тот «сорт» интереса, который мы обсуждаем, сам по себе абсолютно «невинен» по отношению к науке. Шаг от «интересного» к «хорошему» между тем не так уж и велик. Стоит только начать приписывать большую научную ценность тем диссертациям, которые обсуждают сюжеты, считающиеся «интересными», по сравнению с теми, которые касаются чего-то «неинтересного» в субъективном, тематически ориентирован-

ном смысле слова. Различие между «интересной темой» и «интересной интерпретацией» легко исчезает, потому что и то и другое способно иметь место одновременно. Иногда может появиться соблазн, совершенно неосознанный или едва очерченный, скорее посчитать интересной ту интерпретацию, которая касается интересной темы как таковой, чем ту, что рассматривает проблему, не входящую в круг интересов читателя.

Переход границы между «интересным» и «хорошим» также происходит очень легко и не всегда осознанно со стороны выносящего суждение. Между тем существует еще и интеллектуальная основа интереса в отношении тематической ориентации. Когда человек находит некое событие интересным само по себе, корни этого обычно кроются глубже. Политика и религия подталкивают людей к такой ангажированной позиции, но не только они. Политика и религия относятся к тем областям, которые наиболее тесно связаны с идентичностью людей. Люди чувствуют, что здесь они уязвимы и это важно именно в связи с их индивидуальностью. Религия или политика либо обе сразу (или вообще что-то иное) дают им возможность самореализоваться и вести борьбу за жизнь, стоящую того, чтобы жить. — для всех или для некоторых избранных. Жизнь, стоящая того, чтобы жить, является самой основой ощущения права на существование. Без этого человек теряет почву под ногами. Ценность жизни в этом экзистенциальном значении не может быть предметом компромисса.

Наука затрагивает смысл жизни. История — более чем какая-либо другая из них. В истории люди встречаются с явлениями, имеющими с ними глубочайшую связь. Церковь и общественные движения, моральные обязатель-

ства и идеологии, религиозные убеждения трактуются как ангажированные по отношению к этим явлениям, так и неангажированными историками, описывающими, каким образом эти явления произрастали, развивались, возможно, загнивали и приходили в упадок. Поиск смысла жизни не только притягивает интерес к определенным событиям, но и вызывает желание оправдывать, объяснять, агитировать за них. В исторической литературе имеется много тому примеров. Это вполне естественно. Смысл жизни является самым чувствительным для человека моментом. Человек не желает видеть его втоптаным в грязь. Тяжело обнаруживать его «превратное истолкование», предлагаемое стоящим в стороне неангажированным историком.

Постижение смысла жизни является, таким образом, для историка источником как фокусирования его профессионального интереса, так и субъективной агитации в пользу конкретных ценностей²²⁴. В обоих случаях дело касается выбора темы исследования. Ратование в пользу определенной тематики немедленно приводит к стиранию границы между научным и ненаучным. Если ученый хочет спасти репутацию темы, он легко вступает (и это было со многими) в полемику с другими историками, несправедливо оценившими ту же проблему, при этом аргументация в равной степени может быть как «традиционно научной», так и уходящей корнями в жизненно важные для данного историка ценности. В первом случае труднее разглядеть субъективный умысел. Если рас-

²²⁴ Приводимая мною аргументация соответствует мыслям Оттара Даля, хотя мои исходные позиции несколько иные. *Dahl O. Grunntrekk i historieforskningens metodela ere*, 2, utg. Oslo, 1976, s. 128–133.

Профессионализм историка и историческое знание

смотрение ученым вопроса, затрагивающего смысл жизни других людей, отклоняется кем-то с использованием аргументации, включающей минимальные требования или внутринаучные оптимальные нормы, то это еще автоматически не означает, что здесь прослеживаются субъективные пристрастия в понимании смысла жизни. Подобная критика, естественно, может быть вполне обоснованной, даже если она исходит из иного понимания смысла жизни, хотя в данном случае риск того, что эта критика окажется чрезмерной, будет велик.

Для исторического исследования очень важно, чтобы история была способна увлечь. Люди обращаются к своим корням, основам своего общества, истокам своих политических пристрастий, к возникновению и развитию своих политических и религиозных идей. Без истории они чувствовали бы себя лишенными чего-то очень важного. В истории они хотят найти и иногда находят то, что подтверждает правильность их поведения и выбора жизненных целей.

Кроме того, что это важно само по себе, для историка не менее важно, насколько возможно (то есть когда аргументация раскрывает позицию автора, за которой просматривается соответствующий интеллектуальный интерес) выявить и показать связь между субъективным интересом к той или иной проблематике и искажением действительности. В методологическом багаже историка должно быть главное правило, гласящее, что основы его истолкования действительности будут подвергнуты критике. Каждое истолкование, в равной степени свое или чужое, строится на представлениях, почерпнутых не из материала источника. Минимальные требования и внутринаучные оптимальные нормы должны быть разъясне-

ны. Они составляют не единственные связующие звенья между материалом источника и окончательной картиной исследования. К ним также принадлежат субъективный интерес историка и его понимание смысла жизни. Именно от них зависят индивидуальные правила поведения, которые составляют глубокое резонирующее дно истории. Эти правила так же непостоянны и небесспорны, как и все другие правила. Они к тому же не являются какой-то интегрированной частью науки. Историк должен добиваться как от других исследователей, так и от себя самого разъяснения этих правил и того, в какой мере они оказывают легитимное или нелегитимное влияние на исследование и науку.

Основная суть изложенного состоит не в том, чтобы повторять уже неоднократно подчеркнутое многими историками и философами науки, а именно сложность или невозможность проведения разграничительной линии между исторической наукой и вненаучными оценками. Моя первостепенная задача в другом. Я хотел дать аналитическую базу для разграничения различных частей научной нормативной системы, разграничений, которые не идентичны различию между вненаучным и внутринаучным. Как и все нормативные системы, эти нормы являются продуктами социума, то есть базируются на признании их научным сообществом. Минимальные требования, дающие основания для вынесения суждений о «правильном и ошибочном» в науке, все же менее изменчивы, чем оптимальные нормы, служащие основанием для оценок такого плана, как «хороший», «интересный» и «плодотворный». Даже если развитие минимальных требований доказуемо, они изменяются медленно, по большей части путем дальнейшей нюан-

Профессионализм историка и историческое знание

сировки и расширения их смысла. Напротив, оптимальные нормы могут группироваться блоками, которые не всегда совместимы друг с другом, и в этой ситуации исследователи и журналисты-культурологи должны определять свой выбор. Эти нормы содержат разделы как с внутринаучной базой (теоретического и объясняющего значения), так и с вненаучными интересами и оценками. Больше всего удивляет то, насколько большому количеству участников дискуссий кажется, что именно их блок оптимальных норм как раз и является «наиболее верным» или «самым лучшим».

(Исторические записки. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. Вып. 1 (119). – М.: «Прогресс», 1995. 304 с. С. 54–73.)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Историописание как профессиональное приращение знания

Каждый, кто когда-либо занимался научным изучением какой-либо дисциплины, сталкивался с набором правил, регулирующих то, что исследователю дозвоительно или не дозвоительно делать, а также то, что рекомендовано или не рекомендовано. Эти нормы являются не только методологическими в строгом смысле, но также составляют основу научного дискурса в рамках каждой дисциплины. В течение всего прошлого столетия не прекращалась оживленная дискуссия относительно норм историописания. Для каждого историка важно осознавать, что эта дискуссия связана с нормативной проблематикой, общей для всех научных работ или исследовательской деятельности.

Нормы могут быть исключительно предписывающими или же основываться на доводах, доказывающих их важность как руководств к достижению эпистемологических целей. Предписания можно найти в учебниках для студентов по каждой дисциплине, и зачастую автор, как кажется, довольствуется этим уровнем. То, что именуют методологией, часто является всего лишь описанием методов. Конечно, за нормами должно стоять нечто большее, некая цель, которую предполагается достичь

Профессионализм историка и историческое знание

путем соблюдения рекомендованных или предписанных методологических правил. Эта цель имеет отношение к производству знания. Среди ученых не существует единодушия относительно природы знания или способа его обретения. Поэтому соотношение норм и конечной цели не является самоочевидным. Я вернусь к этой проблеме в конце данной главы. Вначале же моей целью будет анализ природы нормативной системы, ее функционирования в рамках исторической дисциплины. За вводными комментариями последуют четыре стадии исследования. Я постараюсь охарактеризовать нормативную систему и первые два типа норм, те, что относятся к тексту, создаваемому профессиональным историком. В третьем разделе речь пойдет о нормах, которые дают основание восхвалять (или поносить) труд историка за его интересность, новаторство или плодотворность (или отсутствие этих качеств). Четвертый раздел посвящен соотношению между нормами и профессионализмом, а в заключительном, пятом разделе, я возвращаюсь к вопросу о конечной мотивации системы норм.

С началом «лингвистического поворота», революционизировавшего теорию истории в определенных кругах, стало считаться само собой разумеющимся, что предшествовавшая нормативная система была слишком научной или «научообразной», и потому ее нужно заменить или дополнить эстетическими нормами. Высшим критерием ценности исторического нарратива, рожденного этими нормами, была способность убедить читателей. Важным стал вопрос о том, производит ли историописание «знание», хотя на него редко давали настоящий ответ.

Знание не равняется науке, однако научные исследования явно претендуют на то, чтобы являться одним из

способов производства знания. Историописание некогда тоже претендовало на место в сфере производства знания. Так ли это сейчас? Если да, каковы предпосылки «производства знания»: является ли одной из них систематический поиск нового знания, и нужно ли разграничивать знание и незнание («необоснованные предположения», «легковесные выводы», «беллетристику и т.п.»)?

Я не собираюсь рассматривать здесь всю проблематику, но сконцентрируюсь на роли норм в конституировании знания. Следовательно, сначала необходимо сказать несколько слов о разграничении знания и незнания. Я уверен, что это не вопрос определения. Скорее, это вопрос процедуры; то есть утверждения считаются дающими знание, если к ним пришли определенным образом, который мы считаем «надежным». Это относится ко всем видам утверждений – в научных трудах, газетах, журналах, радио, телевидении, в разговорах и т.п. Если некто предлагает утверждение, сформулированное с использованием способов, которые мы полагаем правильными, то считается, что он или она «знает, что говорит». Зачастую мы не в состоянии пояснить, какие способы являются правильными, но имеем представление о том, что это за способы. Когда мы принимаем утверждение или набор утверждений в качестве (нового) знания, мы исходим из того, что использовались именно такие методы. Если утверждение не является знанием, оно рассматривается как «псевдонаука», «миф», «ложь», «сплетни» и т.п. Таким образом, разграничение знания и незнания важно для нас и в повседневных делах, и в научных исследованиях.

Почти в любой игре хороший игрок характеризуется искусным и рациональным использованием определен-

ной системы правил, причем его/ее интеллектуальный и физический талант соединяется с возможностями, порожденными этой системой. Именно в этом смысле исследовательская «игра ума» может считаться игрой. Ученый должен следовать определенным правилам, чтобы избежать элементарных ошибок в исследовании, но чтобы стать хорошим исследователем, необходимо тренировать в себе и использовать некие врожденные физические и интеллектуальные способности. Хотя большинство правил исторического исследования не являются специфическими, некоторые из них именно таковы, и я хочу подчеркнуть, что имею в виду историю и общественные науки, а не естественнонаучные дисциплины.

Важно было бы также поразмышлять о том, имеют ли исследовательские правила цель, и не являются ли они произвольными системами правил. Произвольная система правил не может быть рационально обоснована ничем, кроме того факта, что она формирует рамки игры, например, той, что именуется бриджем. Игрок может сказать: «Я хотел бы сыграть в бридж», подразумевая при этом, что другие знают правила игры и, таким образом, понимают, что он/а имеет в виду. Вероятно, можно сказать: «Я бы хотел сыграть в игру научной истории», но вряд ли другие поймут, какие правила имеет в виду игрок. Он/а может также счесть, что желание «сыграть в игру научной истории» имеет отношение к культурной полезности. Таким образом, существует сходство и различие между системами правил в играх вообще и системами научных правил и их функциями. Я буду использовать эту параллель, но также укажу и важные различия между правилами в этих контекстах.

Минимальные требования и оптимальные нормы

Нормативный аспект знания подразумевает, что всякая исследовательская деятельность имеет отношение к социальному окружению. Нормы производятся группами или социальным окружением. Таким образом, если сообщество историков решает, что эстетические нормы должны играть важную роль в формировании исторического знания и заменить собой часть предшествующей нормативной системы, это их дело. Новая норма, конечно, не станет обязательной для всех только потому, что один, два или несколько теоретиков сочли доказанной ее ценность, или даже если они утверждают, что историки, не отдавая себе в том отчета, уже следуют этой норме. Норма становится эффективным средством отделения знания от незнания не в силу особого содержания, но в силу того факта, что это – действующая норма. Действующие нормы бывают двух видов; я называю их «минимальными требованиями» и «оптимальными нормами». Я использую это уточнение, так как есть основания считать данные концепты важными для гуманитарных и общественных наук. Существует причина утверждать, что история науки и история историографии могут свидетельствовать о том, что ни в одной научной или гуманитарной дисциплине системы правил не являются неизменными. Все научные дисциплины демонстрируют гибкость в развитии системы правил, а также в новых эмпирических наблюдениях и новых теориях. Чаще всего они объединяются, а иногда перемены происходят благодаря новым инструментам. Микроскопы, ядерные циклотроны и т.п. изменили наблюдения, теории и методы естественных наук; технологии книгопечатания,

фотографии и копирования, каждая в свою очередь существенно изменила гуманитарные дисциплины. Недавно они соединились с компьютерами в новый мощный союз, который уже произвел изменения в наблюдениях и теории.

Нормы производятся в социальном контексте. То, что я называю минимальными требованиями и оптимальными нормами, – нормы научного исследования, которые должны получить признание сообщества ученых, чтобы обрести статус норм.

Практикующие ученые относятся к минимальным требованиям очень серьезно, порой изумляя этим других людей, считающих работы, в которых эти требования не соблюдались, более интересными, чем научные исследования. Наука нетерпима к нечестности и небрежности. Результаты исследования должны быть надежными в том отношении, что они достигнуты, как считается, с соблюдением минимальных требований²²⁵. В широком смысле первые два минимальных требования – логическая последовательность и интерессубъективная эмпирическая надежность – формируют методологию. На ее основе с учетом детальных условий возникают многочисленные специфические правила практически одного типа: «если ваш материал имеет следующие характеристики... вам следует применить следующие методы...». Все эти методы и правила проведения исследования являются ситуативными нормами, в которых эмпирические ситуации соединяются с нормативным содержанием, выводимым из одного из основополагающих минимальных требований. Ситуативные описания могут различаться, поэтому

²²⁵ Подробно об этом см. гл. 8.

правила никогда не бывают бесспорными. Одни правила и методы выходят из употребления, другие получают признание, но один ученый не может реформировать нормативную систему. Только сообщество ученых в целом может решать, каковы действительные нормы. Сообщество с помощью внутренних инструкций определяет, какие нормы следует принять, каким следовать в определенных типах исследований. Конечно, все это относительно, поскольку методы зависят от самих исследователей, что означает – идеального метода не существует, ни один метод не может быть выше обсуждений и оценок. Это означает также, что позднейший метод (В), принятый после критики предыдущего метода (А), не обязательно настолько превосходит его, что является прогрессивным (что бы под этим ни подразумевалось). То, что один метод отвергают в пользу другого, означает лишь, что позднейшее поколение действующих исследователей приняли В и отказались от А. При этом подразумевается, что существуют причины считать: метод (В) дает лучшие основания для знания, нежели метод (А).

Вышесказанное не означает, что любая группа ученых может выработать свои собственные методы и провозгласить их выражением научных взглядов нового поколения. Один профессор с учениками или журнал с его редакцией и авторами сами по себе не дают достаточного основания для этого. Историки одной страны не могут в долгосрочной перспективе защищать особую методологию, даже если они едины в своих взглядах на метод, который не признается историками других стран. Академическое сообщество (в наши дни) – по-настоящему интернационально. Показательна в этом отношении

судьба субалтерн-истории²²⁶. Ее сторонники уже в течение нескольких лет сражаются против доминирующих взглядов, однако их методологические положения многие члены академического сообщества по-прежнему считают ересью. Лишь через распространение новых идей в методологии последние могут стать преобладающими и общепринятыми. Впервые написав о неприятии субалтерн-истории (около десяти лет назад), я утверждал, что се взглядов не разделяет «подавляющее большинство», однако теперь это кажется мне преувеличением.

Если вы признаете, что взгляды научного сообщества на методологию изменчивы и что только сообщество регулирует нормативную систему в исследованиях, подразумевая ограниченный релятивизм, который я описал выше, вы поймете, что ответы, даваемые наукой, не являются «истинными». Это вытекает из широко распространенной идеи постоянства истины, подразумевающей: если нечто истинно сегодня, оно не может не быть истинным завтра. Если идея (фактологическое утверждение, объяснение или что-либо еще) принята историками в 1900 г. и отвергнута ими в 2000-м, то в таком случае, по крайней мере, один из нарративов, выражающих несопоставимые друг с другом идеи или концепции, должен быть неистинным. Поскольку вся история включает в себя описания и нарративы, вопрос истинного описания важен. Пятьдесят лет назад я написал работу

²²⁶ Например, см. *Guha Ranjit*. On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, *Subaltern Studies*, 1 (1982); *Chatterjee P*. Claims on the Past the Genealogy of Modern Historiography in Bengal, *Subaltern Studies*, 8 (1994); *Chakrabarty Dipesh*. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, 2nd edn (Princeton, N.J.: Princeton U.P., 2008).

по методологии истории, в которой утверждал, что результаты, записанные историками, равняются «истине» в том смысле, в каком это слово используется в обычной жизни. Возможно, это – подобающее эмпирическое наблюдение, но сейчас я бы сказал: дело в том, что язык повседневности не всегда бывает точным и последовательным. Учитывая, что последовательность является одним из минимальных требований науки, я больше не могу считать, что мои мнения 1960-х гг. можно обосновать.

Должен добавить, что многие современные аналитические философы, кажется, отстаивают взгляды, от которых я отказался. Хотя я придерживаюсь основных подходов аналитической философии, но не могу принять скороспелое усовершенствование «повседневного реализма» Годфри-Смитом и превращение его в новый реализм, имеющий «целью» «дать точные описания реальности», даже когда он добавляет: «я не говорю, что это часто удается». Это дает Годфри-Смиту возможность отбросить «конструирование» как концепцию исследования²²⁷. Когда он переходит от творения и конструирования (я обозначаю деятельность историков ярлыком «наука», которым пользуется Годфри-Смит) к метафизическому конструктивизму и «социальному конструктивизму», я соглашаюсь с его отказом принять варианты последнего, но вполне уверен в том, что конструкция в более широком смысле заслуживает большего внимания. Утверждение Годфри-Смита, что существует «некое особое и важное отношение между истинными теориями и

²²⁷ *Godfrey-Smith Peter. Theory and Reality* (Chicago: Chicago U.P., 2003), p. 177–79.

миром»²²⁸, даже если это не отношение аналогии, приближается к тому, что я имею в виду под конструкцией прошлого, составленной историком из различного рода эмпирических свидетельств в соответствии с принятыми в профессии правилами. Мое мнение также близко к следующему утверждению Иена Хакинга: «Истинность предложения (подразумевается стиль размышления) заключается в том, что мы обнаруживаем, используя этот стиль»²²⁹. Однако моя предпосылка состоит в том, что стиль определяется профессиональными нормами определенного периода и в результате критического анализа постоянно пересматривается.

Подобные соображения убедили меня, что для истории как дисциплины было бы полезно избавиться от концепции истины в историческом исследовании. Это не означает, что я поддался произвольности – постмодернистской или какой-либо другой – в историописании. Сейчас, как и пятьдесят лет назад, я убежден, что концепция истины создавала историкам больше проблем, чем это нужно. Концепция истины во всех ее вариантах в исторических исследованиях и литературе («вся истина», «настоящая правда», «настолько близко к истине, насколько возможно») основывается на специфическом представлении о том, что историки должны производить истинные исторические нарративы. Чаще всего здесь находится отправная точка критического анализа историописания – или «позитивистского историописа-

²²⁸ *Godfrey-Smith Peter*. P. 188.

²²⁹ *Hacking Ian*. *Historical Ontology* (Cambridge, Mass. & London: Harvard U.P., 2002), p. 191.

ния». Можно вслед за Франком Анкерсмитом²³⁰ выдвинуть философскую посылку: возможности проверить «истинность» исторических утверждений в их отношении к внешней реальности не существует, поскольку не существует этой реальности – иначе речь не шла бы об истории. Конечно, Анкерсмит прав в том, что корреспондентная теория истины не может использоваться в утверждениях историков – или в каких-либо других, по мнению большинства современных философов. Однако мы не обязательно должны приходить к заключению, что критерием истинности (или приемлемости) исторических нарративов является формообразующая сила, способность убедить читателей или слушателей благодаря «репрезентации». То, что убеждает в некоторых «репрезентациях», – а я в основном говорю не о них, – есть нечто, несущее на себе отпечаток вероятности или, скорее говоря, подобия истины. Постмодернистская убедительная история Анкерсмита основывает свою приемлемость для аудитории на подобии (похожести на истину), которое отличается от «истины», но играет теперь важную роль в обсуждении. Характеристики этого подо-

²³⁰ «Противоречие между этими двумя нарративами о Французской революции не могут быть разрешены простым определением того, [...] какой из них точнее соотносится с прошлым. Вдобавок к двум нарративам не существует третьего фактора, а именно, объективного эталона, позволяющего измерить соотношение между каждым из нарративов и самим прошлым: все, что у нас есть, это нарративы». *Ankersmit Frank. History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor* (Berkeley etc.: U. of California P., 1994), p. 86–7. Я подробно рассмотрел (и отверг) точку зрения Анкерсмита в: *Torstendahl Rolf. Constructions and Constructivism in History, in Meaning and Interpretation*, ed. by D. Prawitz, KVHAA Konferenser, 55 (Stockholm: KVHAA, 2002), p. 118–123.

бия истины были проанализированы Карлом Поппером и, подробнее, Рагнарком Бьорком²³¹.

Возвращаясь к истинности в истории, можно сказать, что история не должна стремиться представлять истину о том или ином событии, действии, личности, социальном условии или доминирующей ментальности прошлого. Скорее она должна иметь ту же цель, что и другие научные дисциплины. Это означает: историки обязаны стремиться к выдвижению фактически и теоретически обоснованных утверждений. Они будут иметь ценность, если только их авторы следовали принятым нормам академического сообщества: методологическим правилам, нормам, касающимся новизны результатов, а также тому, что является плодотворным исследованием.

Никто не требует от физика, чтобы его/ее выводы, представленные как научные достижения сейчас, оставались «истинными» через сто, пятьдесят или даже десять лет. Несмотря на это, мало кто заявляет, что физики в целом – плохие ученые или что в мире физики все подвижно. Никто не станет утверждать, что нужно верить физику, который может представить убедительную картину того, что составляет материю (или любой другой объект исследования), так как физики не могут поклясться, что нашли «истину». Они не представляют аудитории случайные догадки или фантазии, их утверждения обладают ценностью, поскольку основаны на наблюдениях (или измерениях при помощи инструментов) с использованием методов, принятых академическим сообществом. Того, кто пренебрежет этими

²³¹ *Popper Karl. Conjectures and Refutations; Björk Ragnar. Den historiska argumenteringen, Stud. Hist. Ups., 132 (Uppsala: Acta Univ. Ups.), p. 26 (footnotes 30–31).*

условиями, сочтут фальсификатором. Ньютон следовал правилам своего времени, но сейчас никто не скажет, что ньютонова физика истинна, хотя раньше она, безусловно, обладала ценностью. Когда Ньютон опубликовал *Principia* [Начала], его работа находилась в авангарде научной методологии и теории. Многие исследователи лишь спустя какое-то время осознали, что и методы, и теория должны быть признанными. Эйнштейн испытал это на себе: должно было пройти время, прежде, чем его теория относительности обрела ценность для его коллег²³². История многих дисциплин может привести похожие примеры. Представляются новые результаты, и, если это настоящий прорыв, они получают всеобщее признание лишь через некоторое время. Все они никогда не получают санкции академического сообщества. Если сомнения сохраняются, тому могут быть две причины. Первая – другие теории, сформулированные на основе других концепций, предоставляют альтернативу. Здесь речь идет о научных дебатах, о плодотворности. Вторая причина – наблюдения делались не по правилам. Это вопрос действенности. Если результаты отвергнуты как недействительные, причиной тому может быть небрежность, плохое базовое образование, неточность инструментов или обман. Какова бы ни была причина, считается, что рецензент, обнаруживший ошибку, оказал услугу академическому сообществу. Академическое сообщество может простить подлинную ошибку (не обман), но серьезный просчет обычно уничтожает репутацию ученого и может стоить ему/ей карьеры.

²³² Об Эйнштейне см. особ. *Hentschel Karl*. Interpretationen und Fehlinterpretationen der Speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie durch Zeitgenossen Albert Einsteins (Basel, 1990).

Рассуждения об исторических нормах, которые я имею минимальными требованиями, имеют одну цель. Они проясняют, что для научных утверждений важна действенность, а не истинность. Временная весомость должна освободить историков от беспокойства об исторической истине. Вместо этого они должны направить свои усилия на соблюдение условий действенности для своей дисциплины, так как отказ от истины и обращение к действенности этих условий не устраняет.

Анализируя «исследовательскую игру разума», мы обнаруживаем, что это не совсем обычная игра. Хотя в ней зачастую существуют минимальные требования, которые интерпретируются способами, имеющими сходство с играми и их правилами, но к оптимальным нормам это неприменимо. Некоторые оптимальные нормы науки принадлежат ее миру в большей степени, чем нормы футбола – миру футбола. Но это верно только по отношению к некоторым оптимальным нормам. Другие относятся к гораздо более широкой сфере, нежели оптимальные нормы настоящих игр. Нормы, определяющие «хорошую науку», принадлежат не только к внутренним дискуссиям ученых, но и к тому, что считает важным большинство людей. Именно поэтому публика хочет понимать смысл таких дисциплин в академическом мире, а история в этом отношении – дисциплина, интересная для большинства людей. Подобно некоторым другим дисциплинам она имеет отношение к обществу, его основополагающим принципам, приближается к тому, что формирует идентичность человека. Оптимальные нормы исторического исследования, таким образом, тесно переплетены с интересами, которые связаны, скорее, с отношением к жизни, нежели с конструкцией логических доводов.

Можно рассматривать интерес к исследованиям Холокоста и судьбам тех, кто погиб или едва выжил во время этих массовых преследований, как очевидный пример исторического исследования, необходимого потому, что оно имеет огромное значение как для Европы и мира в целом, так и для отдельного человека, который легко может представить себя жертвой столь страшного преступления. В этом случае мораль требует расширения и углубления знаний о том, что происходило на самом деле, кто становился жертвой, каковы были мотивы разных групп агрессоров (политиков, военных, тюремных охранников, обычных граждан), и кто защищал преследуемых. Все эти вопросы представляют собой моральные вызовы обществу и определяют то, что необходимо сделать для защиты основополагающих правил человеческой солидарности.

Такие морально мотивированные исследования в истории объединяют историков и общество в целом, оказывают непосредственное воздействие на людей и общество (через школы и другие образовательные учреждения).

Нормы, соотносящие историческое исследование с приращением знания, совсем другие. Прокомментирую характер оптимальных норм. Их важная функция состоит в том, чтобы оценивать плодотворность, перспективность и даже эпохальность исследований. Характеристики такого рода подпадают под категорию того, что интересно. Широкий спектр значений этого слова, которое я порой употребляю в этой книге применительно к роду истории, который должны обозначать оптимальные нормы, может породить неопределенность, что необходимо отметить.

Профессионализм историка и историческое знание

Когда ученые настаивают на росте числа исследований определенного вида, какой они считают интересным, они могут иметь в виду два разных типа исследований. Один связан с областью знаний (определенной, как некая сфера, но без специфических вопросов). В этом смысле социальная история интересна многим исследователям. Это означает, что они отдают приоритет исследованиям и результатам в области социальной истории по сравнению с исследованиями и результатами в других (не поименованных областях). Именно так к социальной истории относились с самого начала XX столетия и до 1960-х гг. Затем в среде историков возникла новая форма интереса к социальной истории, тесно связанного с теоретическими вопросами, зачастую с историческим материализмом или «марксизмом». Когда исследователи ставили вопросы о социальной истории и социальных феноменах, они имели в виду определенную теорию и типы объяснений. Одним объяснительным фактором была классовая борьба, другим – концентрация капитала, и основанный на них анализ дал таким исследователям, как Эрик Хобсбаум, Э.П. Томпсон, Пол Э. Бейран, Пол Суизи и многим другим возможность прийти к результатам, которые были новыми и ценными (по крайней мере, в течение какого-то времени), и преобразили знание о социальных феноменах.

Интерес к социальной истории, о котором с гордостью объявляли многие историки, был гораздо более специфичен, нежели тот, что существовал раньше, и не был исключительно уделом «марксистов». «Билефельдская школа» (Ханс-Ульрих Велер, Юрген Кока, Генрих Август Винклер, Ханс-Юрген Пуле и другие) приняла идею о том, что социальная история интересна

благодаря возможности сформулировать для нее объяснительные системы, но их интеллектуальными вдохновителями были Макс Вебер и отчасти современные им социологи. После 1970-х гг., с подъемом микроистории и других течений, выступавших против генерализирующих систем и теоретических объяснений, сохранившийся интерес к социальной истории опирался на другие мотивации в специфических подходах, объявлявших себя особенно плодотворными и производящими новые результаты.

Особое место занимает здесь гендерная история. Гендерная история претендует на статус своего рода гегемона. Ее главная идея заключается в том, что гендерные отношения лежат в основе всех общественных отношений, особенно властных (во многих версиях гендерного подхода), и потому не просто интересны, но и неизбежны в серьезных исторических исследованиях. Считается, что гендерная история может давать результаты, ценные своей «плодотворностью, перспективностью, новаторские или даже эпохальные», что, как я утверждал раньше, и составляет оптимальные нормы. Интересен здесь второй, более ограниченный смысл данного слова.

Глобальная история подобна гендерной истории в отношении к оптимальным нормам. Она отличается от более ранней истории международных отношений и имеет специфическую форму. Во-первых, глобальная история не связана с политикой, как это было с историей международных отношений или же отношений между государствами и нациями, свободна от государственных и этнических пут. Хотя она не так связана теорией, как исторический материализм, тем не менее суммирует различные теоретические подходы, особен-

Профессионализм историка и историческое знание

но экономические, и также претендует на плодотворность и новаторство своих вопросов и способов решения проблем.

Все «повороты», которые недавно происходили в исторической дисциплине, имели отношение к оптимальным нормам. До этого тоже существовали оптимальные нормы, но «повороты» основываются на новых, ранее не использовавшихся нормах. Эти оптимальные нормы (как я их определяю) не связаны с интересом, который без разбора отдает приоритет всему подряд (деталям или всеобъемлющим объяснениям) в рамках отдельной области, но с новыми результатами, имеющими широкий охват. Во многих случаях оптимальные нормы в истории указывают на перспективы и связи, которые выставляют старое знание в новом свете. Зачастую они связаны с эмпирическими проблемами, выведенными из теории или комплекса теорий или подхода, имеющего отчасти методологический характер. Важно, что проблемы выводятся из этих отправных пунктов. Здесь лежит предел аналогии с играми. Оптимальные нормы игр не имеют отношения к приращению знания (или чему-либо, что можно сопоставить с появлением новых идей, внешних по отношению к самой игре), тогда как оптимальные нормы историописания (и других видов научной деятельности) имеют целью производство знания с максимальным кругом применения.

Профессионализм и нормативная система

Еще немного о профессионализме в связи с нормами. Если включение/исключение рассматривать как осново-

полагающую характеристику профессионализма²³³, очевидно, что академическое сообщество в рамках каждой дисциплины подпадает под определение профессионализма. Я хотел бы подчеркнуть, что существуют важные различия между академическими дисциплинами и профессиональными группами, например, адвокатами (и другими юристами), врачами и инженерами, последние — со своими подгруппами²³⁴. В них формальное членство в профессиональной организации считается необходимым условием, а частнопрактикующий специалист зачастую рассматривается как парадигма профессионала. Такие критерии порождают сложные проблемы определений²³⁵, которые невозможно рассмотреть здесь, но очевидно, что академическое сообщество в любой дисциплине не имеет сходных характеристик. Тем не менее его членов часто именуют «профессиональными учеными», «профессиональными физиками», «профессиональными социологами» или «профессиональными историками».

²³³ Эта идея была впервые применена к профессионализму в: *Larson Magali Sarfatti*. *The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis* (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1977), но стала типичной характеристикой неовеберовского подхода к профессионализму. См. также *Parkin Frank*. *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique* (London: Tavistock, 1979); *Randall Collins*. *The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification* (New York: Academic Press, 1979).

²³⁴ О критериях профессионализма и самовосприятия в ассоциациях профессионалов см. *Torstendahl Rolf*. *Professionalism as Ideology*, in *The Benefit of Broad Horizons* (ed. H. Joas & B. Klein) (Leiden: Brill, 2010), p. 143–163.

²³⁵ Дискуссия об определении и критериях профессионализма между Давидом Шулли, Марией Малатеста и Рольфом Тоштендалем была опубликована в *Current Sociology*, 2005.

Профессионализм историка и историческое знание

Когда человека называют «профессиональным историком», подразумевается, что его/ее признает академическое сообщество данной дисциплины. Дело не только в том, что он/а не является любителем-самоучкой. Как я объяснял выше, члены сообщества обязаны реагировать на нарушения минимальных требований, и их молчание или прямая похвала должны быть истолкованы как признание человека вне зависимости от его/ее подготовки. Демонстрация способностей, а не образования имеет значение в данном типе профессионализма. В принципе, любой может выполнять нормы академического сообщества и получить признание как его член. Но в реальной жизни без соответствующей подготовки ученого в университете осуществить это затруднительно.

Следовательно, нормативная система каждой дисциплины функционирует как способ включения отдельных исследователей в профессию и исключения из нее. Даже те, кто протестует против норм сообщества, стремятся получить признание через публикацию статей в престижных журналах или положительные рецензии известных ученых. Таким образом, профессия сохраняется и дает свою санкцию новым поколениям, которые постепенно меняют ее нормативную систему.

В этом же причина, по которой одни виды историописания признаются профессиональным производством знания, тогда как другие рассматриваются как развлечение, фантазия, литература или нечто другое. Это не означает, что второй тип не может распространять знания, это значит лишь, что он не может его производить. Он может производить новые идеи, которые порой принимают за новое знание. Когда критики доказывают, что работа не отвечает минимальным требованиям, содер-

жащиеся в ней новые идеи отбрасываются, даже если они сами по себе признаются интересными. Новое исследование предполагает, что новые идеи имеют прочное научное основание.

Таким образом, минимальные требования на самом деле формируют минимум, необходимый для того, чтобы быть признанным в рамках дисциплины, и для признанного производства нового ценного знания. Поскольку минимальные требования с течением времени меняются (устная история служит примером подхода к историческим источникам, который претендует на изобретение новых методов и новых минимальных требований), члены академического сообщества могут расходиться во взглядах на существующий набор норм. Но не стоит смешивать это с другими источниками фундаментальных разногласий. Томас Кун назвал один такой фундаментальный конфликт перспектив «сдвигом парадигм» в науке²³⁶. Как будет показано в десятой главе, существуют причины сомневаться, что сдвиги парадигм в гуманитарных и общественных дисциплинах имеют одну и ту же природу, поскольку в этих областях знания присутствует одновременно ряд «парадигм». В любом случае парадигмы не соотносятся со специфическими минимальными требованиями, но скорее с оптимальными нормами. Споры о минимальных требованиях создают сложности с производством знания в рамках сообщества. Одни ученые пытаются отвергнуть то, что делают другие, утверждая, что их взгляды (фактические утверждения или же утверждения, основанные на теориях) неприемлемы согласно научным нормам.

²³⁶ Kuhn Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd edn (Chicago: U. of Chicago P., 1970).

Профессионализм историка и историческое знание

Такое случалось в большинстве стран и даже в международном сообществе историков. Тогда некоторые историки, используя новые или улучшенные методы, выдвинули версии национальной истории, порывающие с традицией. В Швеции более полувека длился конфликт между сторонниками и противниками Лаурица и Курта Вейбуллей и их ре-интерпретаций (начиная с 1911 г.) значительной части средневековой истории Скандинавии, основанных на тщательном анализе источников и новых правилах формулирования выводов на их основе. Другой пример – множество взглядов на Рюрика в России, когда методы и минимальные требования вызывали взрыв националистических чувств. Случались и противоположные ситуации, когда минимальные требования модифицировали во имя националистических интересов²³⁷. Обычно в результате таких споров использованные в них новые методы входили затем в состав минимальных требований, хотя представления их сторонников об историческом процессе не всегда становились общепринятыми. То, что, казалось, угрожало навсегда разрушить единство сообщества историков страны, с течением времени устранялось.

Размышления, порожденные вызовом постмодернизма, вызвали замешательство в представлениях о

²³⁷ Frey H. and Jordan S. National Historians and the Discovery of the Other: France and Germany, in *The Contested Nation* (ed. by S. Berger & C. Lorenz) (Basingstoke & Strasbourg: Palgrave/Macmillan & ESF, 2008), p. 200–230; Wendland A.V. The Russian Empire and Its Western Borderlands: National Historiographies and Their “Others” in Russia, the Baltics and the Ukraine, in *The Contested Nation* (ed. by S. Berger & C. Lorenz) (Basingstoke & Strasbourg: Palgrave/Macmillan & ESF, 2008), p. 405–441.

Рольф Тоштендаль

профессиональных нормах академического сообщества историков. Одни ученые предлагают совсем другие минимальные требования, отличные от тех, что принимали предыдущие поколения, порой они получают поддержку ведущих теоретиков и журналов. Нормы мастерства и эмпатии распространяются гораздо шире, чем в предшествующем поколении, но в то же время другие историки работают в соответствии с традиционными нормами социальной истории. Оба направления отклоняются от более раннего мейнстрима исторических исследований.

Если такая интерпретация верна, а я полагаю, что это так, то сообществу профессиональных историков грозит опасность быть разделенным на разные сообщества с различными минимальными требованиями. Это разделение будет отличаться от предшествовавшего ему разделения на политическую и экономическую историю и субдисциплины – истории ментальностей, культуры, науки, военного дела, политических идей и т.п. Все они давно были признаны как подотделы истории, но не основываются на конфликтующих нормах. Существует разница в признанных оптимальных нормах, ведущая историков в разных направлениях относительно теорий и перспектив истории, что, в конце концов, может разделить дисциплину. Конфликт в отношении минимальных требований вызовет куда более серьезный разрыв в дисциплине.

* * *

Наконец, необходимо сказать о причинах того, почему определенный набор норм признается научным сообществом. Похоже, что главным доводом здесь оказывается соотношение между значимым исследованием и «миром

вокруг нас». Именно это имеется в виду, когда речь заходит о «полезности» естественных наук. Если наука оказывается полезной в повседневной жизни благодаря ее многочисленным прикладным формам, тогда все считают, что она не может заблуждаться. Ее значимость возрастает от того, что она находится в согласии с тем, что обнаруживается в повседневных наблюдениях. Даже те, кто не имеет теоретического представления об электрических импульсах на микроуровне, могут пользоваться микрочипами в своих компьютерах. Они признают, что наука, которая сформулировала теории, объясняющие эти феномены, значима не только для физиков, но и для обычных людей.

В истории значимость нормативной системы отчасти находит некое подтверждение через неисторические общественные науки и журналистику. Это происходит двумя взаимосвязанными способами. Когда мы понимаем, что «новости» настоящего времени истолковываются журналистами и социологами в соответствии с теми же правилами, что признаны сообществом профессиональных историков, это – отчасти довод в пользу данной системы норм. Другой довод вытекает из нашей возможности делать собственные наблюдения, приводящие нас к тем же заключениям, что и средства массовой информации. Например, если мы были на политическом митинге, нам приятно осознавать, что журналисты дают картину этого события, аналогичную той, что сформировалась у нас. Если мы обнаружим упоминание об этом митинге в статье политолога или даже историка, и оно согласуется с нашими наблюдениями, появляется еще одно доказательство, что нормы научного сообщества не представляют собой набор произвольных правил, которыми

играют ученые. Люди, считающие, что средства массовой информации неправильно представляют событие, а историки следуют за ними, часто оспаривают систему правил. Если их изначальные жалобы находят обоснование во взглядах профессиональных журналистов и историков, они скорее находят недостатки не в системе правил, а в способах их применения. Однако если новости нас удовлетворяют, если мы находим связь между новостями, особенно теми, что можем соотнести с собственными наблюдениями, и историей, рассказанной сообществом профессиональных историков, мы обнаруживаем некое подтверждение тому, что правила академического сообщества «полезны». Это означает, что они не создают «игру исторического исследования», подобную развлекательным играм, но имеют отношение к производству такого типа знания, которое полезно в нашем мире.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Диалог с академиком И.Д. Ковальченко о характере исторического знания

Академик И.Д. Ковальченко произвел на меня глубокое впечатление. Это был человек, который четко видел цели исторического исследования и знал, как его организовать, чтобы достичь желаемых результатов.

Мы встретились на двустороннем российско-шведском коллоквиуме, одном из многих подобного рода совещаний. Это произошло в 1989 году. Коллоквиум был посвящен, в основном, состоянию современных исследований в наших двух странах в области изучения металлургической промышленности и торговли. Во время выступления одного из шведских коллег – участников коллоквиума, рассказывавшего о своих исследованиях, И.Д. Ковальченко сразу же предложил провести сравнительный анализ изучения этой проблемы историками в наших двух странах. После этого я вместе с академиком И.Д. Ковальченко занимался разработкой и реализацией плана совместных исследований в рамках компаративного проекта. Благодаря его широким связям и контактам мы очень быстро наладили сотрудничество между Упсалой и Екатеринбургом, где член-корреспондент

РАН В.В. Алексеев и несколько его коллег из института стали партнерами шведских специалистов в этом исследовании.

Реальным результатом нашего научного сотрудничества с академиком И.Д. Ковальченко, которое длилось более семи лет, стал проект сравнительно-исторического изучения социальных аспектов развития металлургической промышленности в Швеции и России. Надо сказать, что наше сотрудничество скоро переросло рамки работы по проекту, мы использовали эту возможность также для встреч и обмена взглядами. Мы обсуждали научные и организационные проблемы развития исторической науки и образования. Это всегда было плодотворно. Его талант организатора удачно сочетался с интересом к теоретико-методологическим аспектам исторического исследования. Мы сразу же нашли основу для обсуждения многих вопросов, представляющих обоюдный интерес. Это огромная потеря, что такой живой продуктивный ум прекратил работу.

И.Д. Ковальченко был человеком дела и хотел сделать исследование продуктивным. Поскольку историческое исследование редко влечет за собой непосредственное увеличение национального продукта в обществе, оно должно проявить свою эффективность в других аспектах. Историческое исследование может образовывать нас, давать молодому поколению понимание прошлого, которое когда-то было передано нам предшественниками. Принципиальный вопрос, конечно, состоит в том, должно ли новое понимание быть абсолютно новым во всем? Начинают ли новые поколения исследователей всегда с нуля или они могут использовать полученные ранее результаты?

Профессионализм историка и историческое знание

Позвольте мне сформулировать вопрос несколько иначе: следует ли прогресс в понимании истории относить лишь к современному историческому исследованию? На этот вопрос можно ответить по-разному. Давайте рассмотрим некоторые из возможных ответов.

Первый ответ — ответ постмодернистов и текстуалистов. Они сказали бы, что историческое понимание совершенно различно у разных исследователей в разное время. Понимание индивидуально. Каждый исследователь должен дать собственную интерпретацию документального материала, причем этот материал понимается прежде всего как текст, часто без различий между текстами исследовательскими (историографическими работами) и текстами источника. Здесь важно подчеркнуть позицию, которая все чаще обозначается теоретиками истории, однако очень редка среди историков-практиков. Это позиция следующая: постоянен процесс возникновения новых версий истории, но этот процесс не может рассматриваться как накопление исторического знания. Постмодернисты добавили бы даже, что это взгляд модернистов на процесс развития исторических знаний: накопление, прогресс в науке. Позвольте мне добавить, что концепция накопления не обязательно соединяется с прогрессом в науке в оценочном смысле. Комбинации новых результатов и прежнего знания могут рассматриваться как менее ценные, чем прежние концепции, и тем не менее относятся мною к кумулятивному знанию в том смысле слова, который оно здесь имеет.

Вторая точка зрения может быть охарактеризована следующим образом. Представим, например, что в какой-то области получено много новых результатов на современном этапе. Однако получение новых фактов

не приводит к новым интерпретациям. В работах историков, которые публикуют находки в этой области, нет новых взглядов на историю. Мы можем говорить о дополнениях к предшествующему знанию. Каждый исследователь каким-то образом дополняет прежнее знание, но это дополнение происходит в рамках уже известного объяснения. Это может быть названо кумулятивным знанием в смысле дополнительного знания.

Более радикальная концепция должна включать возможность (не необходимость) того, что новое исследование базируется на полученных ранее результатах. Принимая точку зрения, что историческое знание основывается на предшествующем опыте, надо согласиться с тем, что процесс развития знания является активным интеллектуальным процессом, предполагающим развитие фундаментальных концепций в избранной области исследования. Суть понимания кумулятивности исторического знания в следующем: если новое исследование осуществляется без четкого представления и использования предшествующего опыта, накопление знания невозможно или нежелательно. Накопление знания обозначает, что новое поколение исследователей может извлечь пользу из того, что сделано прежним поколением и избежать их ошибок.

Три ответа на вопрос об отношениях между современниками и предшественниками в исследовательской области, поставленные кратко в форме резюме, важны как опознавательные знаки различных дорог, то есть исследовательских стратегий, из которых можно выбирать. Многие – и среди них постмодернисты – сказали бы, что нет единственного выбора. Многие члены научного сообщества сказали бы, что есть важные причины для

выбора одного или другого подхода, что ограничиться каким-то одним подходом проблематично. В таком случае, если ученый хочет аргументировать свой выбор, он должен избрать в качестве основания одну из трех описанных выше позиций по вопросу о кумулятивности знания.

Действительно, можно ли сказать, что для выбора из трех альтернативных позиций, представляющих различные точки зрения на кумулятивность знания, есть хорошие теоретические основания? Думается, что все изложенные подходы имеют основания. Утверждение, что только одна точка зрения является обоснованной, не представляется убедительным. Все разумные подходы в эпистемологии науки полезны для некоторых принципиальных заключений, более того, целесообразно пытаться избегать противоречивых заявлений. Позиция постмодернистов основывается на утверждении, что вся история определяется как текст. Это их постулат. Представители другой точки зрения используют другие аргументы. Реализм, который возможен в социальных науках и гуманитарных исследованиях, должен основываться на постулировании реальности. При этом не является обязательным, чтобы реалисты во всех своих концепциях непосредственно обращались к реальности, но как минимум в них должно присутствовать хотя бы опосредованное обращение к чему-то, что может быть названо объектом знания.

Позиции сторонников кумулятивного знания легче объединить с реалистической позицией, чем с так называемым новым конструктивизмом, хотя некоторые их теоретические концепции могут рассматриваться и как конструктивистские. Постмодернизм, который в данном

контексте используется почти как тождественный всему текстуализму, эксплицитно является комбинацией (соединением) конструктивизма и позиции сторонников некумулятивного исторического знания. Есть также важные проблемы как для постмодернистов, так и для радикальных сторонников позиции кумулятивного исторического знания. Я не собираюсь здесь углубляться в этого рода проблемы, учитывая ограниченность возможностей данного комментария. Однако необходимо заметить, что постмодернизм легко может разрабатывать проблему социального характера науки, включая и гуманитарные знания, в то время как концепция кумулятивного знания могла бы очень легко соблазнить своих сторонников отказаться от понятия научного знания как независимого от верований или надежд представителей научного сообщества. Здесь я только ограничусь некоторым намеком, что такая позиция является неразумной. Дискуссия, которая идет еще со времен опубликования работы Т. Куна о научных революциях, и даже раньше, со времен М. Вебера, который писал о науке как о выборе, дает множество аргументов для включения социального элемента в процесс формирования теории.

Позвольте мне охарактеризовать три концепции понимания накопления исторического знания. Первая – так называемая концепция неограниченного накопления исторического знания. Вторая – концепция ограниченного понимания кумулятивности – предполагает накопление исторического знания только как накопление фактов. И третья точка зрения – отрицание любого накопления знания, по крайней мере в истории. У меня не вызывает сомнений, что Иван Дмитриевич Ковальченко придерживался концепции неограниченной кумулятив-

ности. Позвольте мне привести несколько аргументов в пользу этого.

И.Д. Ковальченко был модернистом. Мне кажется, он верил в возможность использования знания для преобразования мира. Он не сомневался в поступательном процессе исторического знания. Однако, кроме того, был еще один аспект в концепции И.Д. Ковальченко, на который я хотел бы обратить внимание. В дискуссиях, которые мы с ним вели или в которых мы участвовали, относительно состояния и характера исторического исследования и развития исследовательских проектов по вопросам государства и национального развития в жанре компаративного исследования, он, безусловно, никогда не выдвигал никаких ограничений в отношении тех концепций, которые могли бы использоваться в исследовательской стратегии и которые были бы предпочтительны. Единственное, что он всегда подчеркивал, – это значимость сравнительно-исторического анализа во всех поддержанных им совместных проектах и исследованиях.

В рамках же концепции постмодернизма и текстуализма весьма затруднительно рассуждать о компаративном исследовании. Компаративное исследование никогда не приведет к так называемому «новому» нарративу, как это понимают постмодернисты и многие другие, для которых компаратив не существует. Тип развития знания на основе компаративного исследования является развитием теоретического знания. Именно компаративные исследования дают возможность увидеть общее и особенное в историческом развитии, единство характера исторического развития, разнообразие форм и направлений исторической эволюции, а также раскрыть причины

Рольф Тоштендаль

сходства и отличий, выявленных в процессе компаративного исследования. Ответы на все эти вопросы носят теоретический характер. Они ведут не к выявлению уникальности в истории, но, наоборот, к генерализации в истории, выявлению общих факторов, определяющих типы исторического развития. Вот почему компаративная история представляет особый интерес не только по своим результатам, но и по тем перспективам, которые она открывает в области теории и научной эпистемологии. И.Д. Ковальченко понимал это. Вот почему, я думаю, что его позиция в вопросе о поступательном характере исторического знания имеет особое значение.

(Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. – М: Изд-во «Мосгорархив», 1997. 320 с. С. 39–43.)

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Конструктивизм и репрезентативизм в истории²³⁸

В настоящее время конструктивизм стал известен как метод, близкий тому, что я называю репрезентативизмом, то есть концепция, в соответствии с которой историческое исследование имеет сходство с искусством, а не с наукой в смысле особенностей языка (метафорического). Кроме того, следуя этому методу, историки в своих исследованиях выходят за рамки простого хронологического изложения, подчиняются эстетическим нормам, которые и определяют возможности общего понимания хода истории.

В сфере философии истории, особенно когда история рассматривается как рассказ о прошлом (то, что в дальнейшем я определяю как «написанная история», историческое сочинение, историография), — компетенция

²³⁸ Автором введено понятие «конструктивизма» в отличие от «конструкционизма» (употребляемого, в частности, в работах Леона Гольдштейна. См., например: *Goldstein L. History and the Primacy of Knowing // History and Theory*, 16, 1977. P. 29–52), автор настаивает на употреблении обоих понятий, которые имеют различные толкования. Под понятием «конструктивизм» автор имеет в виду историю как конструкцию, созданную историком, а не реконструкцию. Это способ репрезентации и интерпретации данных из настоящего, которые проецируются на прошлое.

Рольф Тоштендаль

философа должна корреспондировать с компетенцией историка. Мой собственный опыт в основном относится к сфере истории.

Идеи, связанные с пониманием истории, о которых пойдет речь, развивались также в других сферах научного исследования за пределами философии и обычно известны как постмодернизм. Постмодернизм в данном случае будет рассматриваться органично, в первую очередь, в плане демонстрации сложности его определения или восприятия. Как известно, постмодернизм – настолько широкий концепт, что относится к весьма обширному кругу вопросов за пределами истории. Прежде всего он употребляется для обозначения новых направлений критики в искусстве и литературе, где имеет особое значение, сменив концепт модернизма. (В историографии модернизм не является концептом.)

Вместо анализа постмодернизма в данном докладе будут рассматриваться проблемы, связанные с «репрезентативизмом» как ключевой методологической позицией, которая позволяет расширить горизонты исторического знания, если они получены на основе предпочтения эстетических норм и эстетических подходов к интерпретации истории. В этой связи важно определить, что означает выражение «история есть конструкция». Только ограниченное число людей можно отнести к сторонникам постмодернизма, который, однако, при этом неплохо иметь в виду. Подход, который я называю конструктивизмом, означает понимание истории как ментальной конструкции, созданной историком в одной или другой форме, и использование методологии репрезентативизма. Репрезентативизм означает, что история на самом деле только воспринимается

Профессионализм историка и историческое знание

как репрезентация в текстовой форме и должна подчиняться эстетическому анализу в первую очередь. Некоторые теоретики истории развивают такого рода идеи в настоящее время. Наиболее известные из них – Хайден Уайт и Франк Анкерсмит. Именно на их концепциях я и сосредоточу свое внимание.

История как текст

Франк Анкерсмит

Франк Анкерсмит утверждает, что кантианский эпистемологический подход к вопросу о возможности получения исторических знаний неверен. Философские проблемы историографии никогда не были решены удовлетворительно. «Не подлежит сомнению, что история не является наукой и, следовательно, полученные в этой области знания не являются таковыми в собственном смысле этого слова. И мы находим, что это не так уж плохо, как можно изначально предположить»²³⁹.

В соответствии с работами Анкерсмита, нарратив состоит из большого числа единичных утверждений. Понятия, подобные «Ренессансу» и «холодной войне», относятся не к исторической реальности, но к интерпретации нарратива, и поэтому подвержены изменениям в их содержательном значении. В историографии, как утверждает ученый, язык не является пассивной средой, но создает собственную субстанцию. Исторический нарратив – предмет в собственном смысле этого слова,

²³⁹ *Ankersmit F. The Use of Language in the Writing of History // Ankersmit F. History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor, U. Of Calif. P. Berkeley–Los Angeles–London, 1994. P. 79.*

и язык нарратива сам по себе привлекает внимание читателя²⁴⁰.

По Анкерсмицу, нарратив – это предложения, как взглянуть на прошлое. Предложения одновременно и не истинные и не фальшивые. Показывать историческую реальность и предлагать, как ее видеть: как движение от ситуации «базироваться на знании» к ситуации «получать знание». «Нарратив организует знания, – говорит он, – но не является знанием как таковым»²⁴¹.

Каковы основные аргументы Анкерсмита, относящиеся к истории как эстетической дисциплине? Постараемся определить их на основании статей, опубликованных автором в журнале «История и теория» за 1989 и 1990 гг.²⁴² Так, ученый утверждает, что:

1. Верные единичные исторические утверждения могут без труда быть сделаны любым человеком.

2. Действительный интерес в истории представляет интерпретация.

3. Интерпретации есть или состоят из (это неясно) «нарративных субстанций», которые являются ключевым моментом в концепции Анкерсмита. Нарративные субстанции – это или интерпретации во всей полноте, или коллигаторные концепты, по версии Уолша.

4. «Холодная война», или «Ренессанс», или «Французская революция» – это такие концепты, которые являются «нарративными субстанциями».

²⁴⁰ Ibidem. P. 83.

²⁴¹ Ibidem. P. 88.

²⁴² History and Postmodernism // H&T. Vol. 28. 1989. P. 137–153; Reply to Professor Zagorin // H&T. Vol. 29. 1990. P. 275–296.

Профессионализм историка и историческое знание

5. Аналогии могут быть сделаны между исторической интерпретацией и метафорой.

6. Прошлое отсутствует, присутствует только субстанция нарратива.

7. Следует говорить прежде всего об исторической репрезентации, а не об исторической интерпретации.

8. Репрезентация определяется эстетическими принципами.

Что такое на самом деле субстанция «нарратива» и что такое «единичное историческое заключение»? Анкерсмит утверждает, что «субстанция исторического нарратива – это совокупность заключений, вместе образующих репрезентацию прошлого, которая предложена в нарративе в виде вопроса»²⁴³. Он также утверждает, что «нарративные субстанции – это репрезентация исторической реальности»²⁴⁴. По поводу первого утверждения Анкерсмит отсылает читателя к своим работам *Narrative Logic: a Semantic Analysis of the Historian's Language* (1983) и др., в которых содержится семантический анализ исторического языка, анализ предложенной концепции «нарративных субстанций»²⁴⁵. Там он их определяет самореферентными (*self-referential*), то есть, по замечаниям Криса Лоренца, чем-то вроде монад Лейбница²⁴⁶, «нарративная субстанция не имеет эмпирического содержания наполнения (иначе она не была бы саморе-

²⁴³ Historical Representation // History and Tropology. P. 113.

²⁴⁴ Historical Representation // History and Tropology. P. 115.

²⁴⁵ *Ankersmit F. Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language*, Groningen 1981 (senare uppl. The Hague 1983). P. 245–246.

²⁴⁶ *Lorenz. Can Histories be True?* // H&T. Vol. 37. P. 318.

ферентной)». Однако представляется, что Анкерсмит имеет и другой взгляд на определение «нарративной субстанции, в частности, в работе *Tropics of Discourse*, где он утверждает, что эта субстанция есть репрезентация исторической реальности. Подобные два определения трудно совместить. Возникают вопросы.

Как узнать, которые из утверждений исторического нарратива на самом деле включают репрезентацию прошлого, представленную в форме нарратива, и как узнать, когда мы имеем дело просто с некоторыми «единичными историческими заявлениями»? Нарративными субстанциями, на наш взгляд, должны называться такие утверждения, содержащиеся в нарративе, которые в то же время являются репрезентацией исторической реальности. Представляется, однако, затруднительным различить нарратив и единичные исторические утверждения, но это именно и есть краеугольный камень концепции Анкерсмита. Подтвердим это некоторыми примерами.

Так, в 1921 г. в статье шведского историка Курта Вейбулла на основании документа, хранящегося в древних сводах законов и в противовес ранее господствовавшим взглядам, утверждалось, что граница между двумя территориями, позже названными Швецией и Данией, была установлена в середине XI в.²⁴⁷ Имеет ли данное заявление нарративную субстанцию или это единичное историческое утверждение, которое следует признать формально по этой причине верным? Может ли это утверждение быть расценено и как единичное утверждение, тогда

²⁴⁷ Weibull C. Den alsta granslaggningen mellan Sverige och Danmark // Historisk tidskrift for Skaneland. Vol. 7. 1921. P. 1–18.

почему так важно концептуально установить различие между тем и другим определением?

Или другой пример. «Королева Швеции Кристина была неистовой католичкой». Что это – нарратив или единичное утверждение? (Если понятнее, то верное или неверное?) Подобные единичные утверждения или отрицания, очевидно, должны составлять основную суть. На самом деле именно это заявленное утверждение объясняет действия королевы. Очень часто объяснение в истории и интерпретация последовательности событий основываются на одном-единственном единичном историческом утверждении. Являются ли такие единичные исторические утверждения неинтересными (какими они предположительно должны быть в соответствии с концепцией Анкерсмита)²⁴⁸? Как мы узнаем в таких случаях, что же такое нарративная субстанция и что есть безинтересные единичные исторические заявления?

Я полагаю, Анкерсмит ответил бы, что интерес историка к единичному историческому утверждению происходит из его интереса к интерпретации, которая является частью значения нарратива. Я бы не отрицал фундаментального значения совокупности отдельных фактов, но я не могу увидеть у Анкерсмита какого-либо указания на то, как мы должны различать единичное историческое заключение и нарративную субстанцию. На самом деле, как мне представляется, в большинстве интерпретаций важным является то, что содержится в единичных исторических заключениях, которые, в свою очередь, становятся предметом исторических дебатов. Далее я бы отметил, что многие единичные исторические утвержде-

²⁴⁸ *Ankersmit F. Reply... // H&T. Vol. 29. 1990. P. 278–279.*

ния содержат концепты теоретического уровня (как, например, концепт «граница», которая предшествует возникновению государства или государственного объединения). Это означает, что интерпретация (нарратив) и единичные утверждения обычно неразличимы один от другого. Трудности в раскрытии категории нарративной субстанции заставили меня предложить другое решение проблемы Анкерсмита. Если единичные утверждения рассматривать как теорию для возможной интерпретации исторических данных (при условии, что новые данные, которые могут быть найдены, подтвердят эту теорию, либо же она должна быть снята), тогда не имеет значения различие между единичными утверждениями и нарративными субстанциями, разве что по степени сложности. Тогда единичные исторические утверждения неинтересны лишь в том случае, если есть огромное число сведений для каждого из них и очень мала вероятность того, что для каждого будут найдены опровергающие данные. Анкерсмит не рассматривает подобную альтернативную точку зрения. Он лишь снимает возможность других решений под предлогом оценки их как сциентификации и, следовательно, проявлений «модернизма».

Хайден Уайт

По поводу его значительного исследования «Метастории». Своей работой «Историческое воображение в XIX веке», опубликованной в 1973 г., Хайден Уайт инициировал то, что стало известно под названием «лингвистический поворот» в истории. Много книг и статей было написано, чтобы объяснить явление, тесно связанное с пониманием истории как текста. По этой проблеме

Профессионализм историка и историческое знание

Уайт написал многочисленные статьи в 1970-х и 1980-х годах. Они собраны в томах *Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism* (1978) и *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation* (1987). Как следует из названий, основной темой данных работ являются дискурс и его формы.

Ученый говорит: «Мой тезис состоит в том, что основной источник значимости исторического исследования как интерпретации событий, к которым оно относится как к данным, которые должны быть объяснены, по своей природе риторический. Также риторическим является утверждение, что само историческое исследование является источником обращения к читателям, которые воспринимают его как реалистическое и объективное отражение того, что действительно происходило в прошлом»²⁴⁹.

Уайт утверждает, что логика менее соответствует исторической интерпретации, чем репрезентация в риторической форме структур и процессов реальной жизни или «той жизни, какой жили прежде». Таким образом, он отрицает не только логическую модель объяснения, разработанную Гемпелем и его сторонниками. Исторические объяснения должны включать культурные ценности и быть представлены в риторической манере²⁵⁰.

В другом случае Уайт приводит теории языка Романа Jakobson. Я цитирую: «С точки зрения Jakobson, стилисты должны стремиться анализировать поэтическое изменение каждого простого прозаического дискурса». «Если Джекобсон прав, тогда историческое сочинение

²⁴⁹ White H. Rhetoric and History. P. 3.

²⁵⁰ Ibidem. P. 14–16.

должно быть анализировано преимущественно как прозаический дискурс, нежели с позиций проверки его объективности и истинности»²⁵¹. Таким образом, он рассматривает риторический анализ как первостепенный этап анализа любого исторического сочинения (исторические источники в основе своей также исторические сочинения), а проверку объективности и достоверности как вторичные вещи. В соответствии с Уайтом фигуративная форма является основным элементом в изложении материала²⁵².

Статус исторического нарратива редко изучался историками или теоретиками литературы, как считает Уайт, в основном, исторический нарратив рассматривался как имеющий вербальные функции, содержание которого настолько же изобретено, насколько найдено, и формы которого имеют намного больше общего с себе подобными в литературе, чем с теми, которые мы можем найти в науке²⁵³.

Для Уайта жизненно важным является разграничение между рассказом и содержанием нарратива, который для него, как и для Анкерсмита, объемлет все историческое поле. Он также воспринимает идеи антрополога Клода Леви Стросса и теоретика литературы Нортропа Фрая. Ученый говорит: «Я предлагаю проводить различие между рассказом и нарративом с тем, чтобы использовать это различие для идентификации специфически

²⁵¹ *White H. Historicism, History and the Figurative Imagination // Tropics of Discourse. P. 52.*

²⁵² *Ibidem. P. 53.*

²⁵³ *White H. The Historical Text as literary artefact // Tropics of Discourse. P. 82.*

художественного элемента в историческом отображении мира»²⁵⁴.

Можно предположить, что Уайт очень осторожен с генерализацией. Однако в отношении риторики это не так. Заключительная часть эссе «Интерпретация в истории» изобилует дерзкими генерализациями и даже претендует на некую теорию исторического исследования. «Если основных тропов четыре: метафора, метонимия, синекдоха и ирония, то мы можем рассматривать язык как основу для четырех типов объяснения». Далее Уайт утверждает: «Если существует корреляция между тропом и типом объяснения, то интерпретация в историографии может включать когнитивный, эстетический и моральный (идеологический) уровни концептуализации различных тропов, феноменологически обусловленной природой языка»²⁵⁵. Уайт стремится показать взаимосвязь структуры языка, типов объяснения, формы воплощения и идеологического содержания исторического сочинения. Тропы, лингвистические структуры, определяют остальные три названных аспекта. Чем больше историк является историком в его понимании, тем он больше сопротивляется следованию теории²⁵⁶.

Представляется бесспорным зачислить Уайта в сторонники репрезентативизма систематического толка как имеющего теорию анализа исторических сочинений. В его статьях отмечен интерес к Фраю и его теории²⁵⁷. В этом отношении Уайт один среди тех, кто оказывает предпо-

²⁵⁴ *White H. Historicism... // Tropics of Discourse. P. 54-61.*

²⁵⁵ *White H. Interpretation // Tropics of Discourse. P. 70-74.*

²⁵⁶ *Ibidem. P. 70-71, cf. P. 67.*

²⁵⁷ *White H. The Historical Text... P. 82-83.*

Рольф Тоштендаль

чение риторическому анализу. Ничто не свидетельствует о том, что Анкерсмит придерживается тех же теоретических позиций, как и Луис Минк, который прежде был сторонником разновидности риторического анализа истории, однако скептически относился к попыткам схематизации нарратива и отвергал теории Нортропа Фрая и Владимира Проппа по поводу Ричарда Вэнна²⁵⁸.

Схема

«Теория» исторического исследования

Хайдена Уайта

«Проекция тропов на когнитивном, эстетическом и моральном уровнях»

Троп	Тип объяснения	Жанр	Идеология
Метафора	Идеографизм	Романтизм	Анархизм
Метонимии	Контекстуализм	Комедия	Консерватизм
Синекдоха	Органицизм	Трагедия	Радикализм
Ирония	Механицизм	Сатира	Либерализм

Источник: *Hayden White. Interpretation in History // Tropics of Discourse* (1978). P. 70.

Для Уайта несомненно: история – прежде всего упражнения в риторике, включающие и отбор фактов²⁵⁹,

²⁵⁸ *Vann R. Louis Mink's Linguistic Turn // H&T. Vol. 26. 1987. P. 1–14, esp. P. 8.*

²⁵⁹ *White H. Historicism, History and the Figurative Imagination //*

но риторика, воплощенная в рассказе и предполагающая специальную технологию. Цель этой технологии – воссоздать для читателя тип культурного окружения, который необходим для понимания исторического явления и как текста, и как объяснения, и как некоторой информации. Когда Уайт говорит, что исторические нарративы не только являются моделями прошлых событий и процессов, но и метафорическими утверждениями, он ищет некоторую среднюю умеренную позицию. Ученый заявляет: «чисто формальное рассматривание исторического нарратива – не только воспроизведение событий, изложенных в нем, но и комплекс символов». Это высказывание подтверждает предположение о его теоретической позиции сторонника репрезентативизма, тем более что в обоих случаях он употребляет выражение «не только». Однако очень сложно анализировать конкретный смысл утверждений²⁶⁰, относящихся к его взглядам на историю (включая единичные утверждения) как конструкцию (из-за отсутствия прошлой реальности), в которой фактически преобладает художественный, литературный элемент²⁶¹. Релятивизм исторического знания, разделяемый Уайтом, простирается глубже, но выглядит менее существенным, чем у Анкерсмита, потому что Уайт открывает некоторый путь не релятивистского подхода, основанный на лингвистической теории. Однако для обоих конструкция нарратива включает подход к истории как к художественному произведению, а риторика является фундаментальной для понимания этих концепций.

H&T. Beiheft, 14 (1975). P. 60.

²⁶⁰ *White H. The Historical Text...* P. 88.

²⁶¹ *Ibidem.* P. 82 and cf. Above.

Есть несколько примеров, когда исследователи используют риторический анализ как средство историографического анализа. Все они явно не обращаются к Уайту и Анкерсмит²⁶², но трудно представить, что риторика стала бы востребованной, если бы в начале 70-х годов Уайт не проложил путь в этом направлении.

Конструктивизм и интерпретация в истории

Когда Анкерсмит старается убедить нас в том, что конструктивизм прямо и непосредственно относится к репрезентативизму и релятивизму, он ведет нас неверным путем. Вполне возможно быть конструктивистом не будучи репрезентативистом в том смысле, какой заключен в теориях Уайта и Анкерсмита. Некоторые историки уже давно пытались объединить эстетические нормы и профессиональные подходы.

Основным аргументом в данном докладе является утверждение, что в концепциях Анкерсмита и Уайта репрезентативизм облачен во множество предположений, которые не имеют эпистемологической или логической аргументации. Если бы эти ученые заявляли, что историю следует расценивать с эстетических позиций, никто бы не возражал. Это справедливо для всех форм лингвистической практики художественной литературы, социальных наук и искусства. История не исключение. Однако они утверждают, что именно эстетические запросы

²⁶² Примером является Р. Карпентер, который написал книгу об использовании риторического анализа в американской историографии. *Carpenter Ronald H. History as Rhetoric. Style, Narrative, and Persuasion.* U. of South Carolina P., Columbia, South Carolina, 1995, for inspirations, esp. P. 5–6.

Профессионализм историка и историческое знание

формируют историю, хотя их концепции происхождения типов эстетических запросов отличаются друг от друга. Однако оба выводят более или менее далеко идущий релятивизм относительно исторического знания: история меняется в зависимости от выбора эстетических форм и поэтому не может быть истинной; так как она не может быть достоверной, историческое знание не является знанием.

Эти положения относятся к нарративам, или нарративным субстанциям, или интерпретациям, понятиям, которые Анкерсмит и Уайт употребляют вместо понятия «исторического явления». В то же время Уайт не проверяет истинную ценность утверждений, которые составляют часть нарратива, но сами по себе нарративами не являются. Анкерсмит заявляет, что элементарные исторические утверждения могут быть истинными, но не представляют реального интереса, и рассматривает нарративы как нечто среднее между получением знаний и организацией знаний, но не как адекватное знание. Он, очевидно, не склонен рассматривать единичные исторические утверждения как части исторического знания в силу их ограниченного характера, репрезентативизм имеет здесь свои ограничения. История и знания становятся нерелевантными. Историю следует рассматривать как область эстетики и литературы, следовательно, именно эстетическое воображение, а не поиск истины определяют задачи истории в соответствии с концепцией Уайта и Анкерсмита.

Они рассматривают конструктивизм и репрезентативизм как равнозначные явления. Я пытался показать в докладе, что тезис о тождественности репрезентативизма и конструктивизма неверен. Конструктивизм может

быть плодотворной основой для целого ряда других концепций истории и прошлого, включая и реалистическую концепцию, в которой ментальные конструкции являются также реальными и объективно присутствующими²⁶³. Представляется, что реализм (в аспекте его применения к области социальных явлений) является одной из основных тенденций современной философии социальных наук, хотя и противостоящей другим версиям конструктивизма. В некоторых таких концепциях линия разграничения между конструкцией и реальностью становится размытой.

Прекрасное обобщение значения реалистической концепции истории дана философом Мари Мэфи. Реалистические утверждения есть теории о том, как объяснить имеющиеся сегодня в распоряжении исследователя данные, эти теории постулируют широкий круг явлений «от социальных институтов до явлений природы, таких как штормы или засуха». «В основном, однако, большинство конструктов, постулируемых в этих теориях, представляют собой людей и их поведение. Это люди, которые существовали, их поведение обычно и составляет предмет объяснения на основе данных, которые имеются в нашем распоряжении. Это значит, что эпистемологически статус людей прошлого существенно не отличается, скажем, от эпистемологического статуса мельчайших частиц атома. Они являются реальными людьми при условии, если постулируемая теория верна, а если неверна,

²⁶³ Searle JR. The Construction of Social Reality. London, 1995; Bhaskar R. The Possibility of Naturalism. A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences. NY, London, Toronto, Sydney, Tokyo, 2nd ed. 1989; Papineau D. Reality and Representation. Oxford & NY, 1987.

Профессионализм историка и историческое знание

то следует признать, что таких людей нет (или даже если хотите, никогда не было)»²⁶⁴.

Единичные исторические утверждения могут рассматриваться как теории, относящиеся к явлениям, которые мы не можем наблюдать. Подобный подход предполагает скрупулезный анализ данных о прошлом. Иван Ковальченко принадлежал к такого рода историкам. Его исторические исследования были эффективными и реалистичными в смысле использования эмпирических конструкций социальных явлений. Это также форма «реализма», направление, которое признает значимость конструктивизма.

Конструктивизм, таким образом, в истории является продуктивной основой для эпистемологического анализа. И может использоваться в различных вариантах, на разных уровнях во многих сферах исторического исследования. Его, однако, не следует путать с репрезентативизмом, который воспринял конструктивизм и стал тесно с ним связан. Содержание конструктивизма шире и требует более углубленного анализа в аспекте его применения в историческом исследовании и в изучении прошлого.

(Проблемы источниковедения и историографии. Материалы научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. – М.: РОССПЭН, 2000. 432 с. С. 63–74.)

²⁶⁴ Murphey M.G. Philosophical Foundations of Historical Knowledge. NY, State U. of New York P., 1994. P. 266.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Новые результаты» и «научные революции» в истории

Идея научных революций

Когда Томас Кун в 1962 г. выдвинул свою теорию того, что составляет научные революции, многие историки и другие специалисты гуманитарных и социальных дисциплин почувствовали, что их перехитрили. Доводы Куна явно предназначались для естественных наук. Те, кто ощутили, что их дисциплина оказалась под угрозой остаться вне самой авторитетной современной теории философии науки, использовали две разные стратегии. Защитники гуманитарных и социальных дисциплин либо старались примкнуть к теории научных революций, утверждая, что Куна стоит толковать не буквально, а в более широком смысле, так что начало «научных революций» оказывалось возможным в разных типах дисциплин; либо считали более разумным утверждать, что научных революций (в куновском смысле) вообще не было и не могло быть в гуманитарных и социальных дисциплинах, поскольку в этих областях знания необходимо следовать другой логике научного открытия и научного развития.

Доводы Куна, вкратце, заключались в том, что в (естественных) науках ученые были введены в заблуждение

своими учебниками и верили, что работают в той же традиции, что и предыдущие поколения ученых. В учебниках публиковались те аспекты трудов предшествовавших поколений ученых, которые могли быть переведены на язык современных исследований. Полученная картина демонстрировала научное знание как последовательный и постоянно прирастающий объем знания. Согласно Куну, все это неверно. Исследователю приходит на ум новая идея по той или иной причине, и ее привлекательность для самого автора и других исследователей заключается в том, что она проливает новый свет на некоторые научные проблемы. Зачастую такие идеи не сочетаются с предшествующей теоретической системой. Новая теория должна затем закрепиться через процедуру переинтерпретации эмпирического знания. Это перетолкование есть дело не только автора идеи, но и научного сообщества в целом. Только после этого новая теория или новый способ сбора информации закрепляется, и научная революция признается. После ее признания она становится «нормальной наукой»²⁶⁵.

Обсуждение теории Куна велось во многих странах, в том числе в Швеции. Я принял в нем участие и следовал второму из обрисованных выше путей в отношении истории. Мои доводы заключались в том, что научные революции такого типа, какие Кун изобразил применительно к естественным дисциплинам, в истории невозможны. В истории, как и в естественных науках, существуют парадигмы (так Кун назвал доминировавшие модели мысли), но в истории парадигмы не являются

²⁶⁵ *Kuhn Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd edn (Chicago: U. of Chicago P., 1970).

гегемонистскими по характеру. Следовательно, в исторической дисциплине или дисциплинах могут сосуществовать несколько парадигм, а когда появляется новая модель мысли, например, история ментальностей, она не заменяет старые, но скорее дополняет их²⁶⁶. Этот довод я по-прежнему считаю оправданным. Но существует одна проблема. Данный аргумент всерьез не учитывает типы изменений исторического профессионализма, которые могут оказаться результатом «новых способов представления исторического прошлого», как я сейчас предпочел бы назвать самые революционные изменения в историографии. Я не хочу сказать, что предлагаю именно то, что имел в виду Кун, но полагаю – он был прав, подчеркивая важность новых путей мышления. В этой главе я проясню, что имею в виду.

Стоит начать с вопроса: является ли история кумулятивной? Ответ будет – и да, и нет, но главное здесь: является ли ситуация такой же, как в естественных науках? Один из дебатировавшихся выводов Куна заключается в том, что наука не является кумулятивной в долгосрочной перспективе именно благодаря научным революциям. В своем интересном исследовании, посвященном Куну и научным революциям, Питер Годфри-Смит, помимо других любопытных вещей, говорит, что революции Куна имеют некумулятивную природу²⁶⁷. Это утверждение кажется вводящим в заблуждение, если не вовсе надуманным, потому что Кун на самом деле гово-

²⁶⁶ *Torstendahl Rolf. Historiska skolor och paradigm, Scandia, 45 (1979), (p. 151–170).*

²⁶⁷ *Godfrey-Smith Peter. Theory and Reality (Chicago: Chicago U.P., 2003), p. 91 f.*

рит о некумулятивной природе самой науки. Несоизмеримость, о которой заявляет Кун, возникает как результат некумулятивного характера науки; это соответствует тому, что Годфри-Смит называет разными стандартами получения информации и формулирования аргументов. Когда начинается научная революция, задуманная ярким мыслителем, приходится пересмотреть в новом свете находки прошлого и заново организовать их. То, что раньше было частью широко известного и признанного корпуса знания, должно быть переинтерпретировано в рамках новой теории²⁶⁸. Это делает весьма сложной задачей выбор между двумя теоретическими подходами, когда последствия старого известны, но последствия нового непредсказуемы, а причины выбора не ясны. Кун говорил: «Только когда необходимо выбирать между соперничающими теориями, ученые ведут себя как философы. Вот почему, как я думаю, блестящее описание сэром Карлом Поппером причин выбора между метафизическими системами так напоминает мое описание причин выбора между научными теориями». Эта цитата заканчивается ссылкой на *Conjectures and Refutations* (1963)²⁶⁹. Смысл вывода Куна в том, что не существует эмпирических аргументов в пользу той или иной теории. Никакие эксперименты не могут определить выбор. Таким образом, согласно Куну, невозможно добавить новое знание к старому, чтобы получить новую теоретическую позицию. Тут он противоречит попперовской

²⁶⁸ Kuhn Thomas S. p. 137–39, 151–159 (и др.).

²⁶⁹ Kuhn in Lakatos Imre and Musgrave Alan. Criticism and the Growth of Knowledge (Cambridge UK: Cambridge University Press, 1970), p. 7.

теории фальсификации как инструмента выбора между теориями, являвшейся краеугольным камнем его школы в философии науки. Дж.Н.У. Уоткинс видел отличие в «представлении Поппера о том, что научное сообщество должно быть и до некоторой степени является открытым обществом, в каком ни одна теория, какой бы доминирующей и успешной она ни была, ни одна “парадигма”, по Куну, не является священной»²⁷⁰. Только теории, сопротивлявшиеся постоянным усилиям фальсифицировать их, оказывались, по мнению Поппера, временно успешными.

В философии Поппера нет научных революций. Вместо этого идея научного сообщества как открытого общества (формула Уоткинса, соединяющая идею открытости с книгой Поппера о социальной философии, содержащей «открытое общество» в заголовке) контрастировала с куновской идеей научного сообщества, которое должно было отбросить свои критические соображения, чтобы стать частью успешной научной революции. Еще важнее то, что концепция научных революций может играть свою роль, только если новации в научной сфере должны быть приняты или отвергнуты, а не подвергаться постоянной критике и попыткам опровержения, как в научном сообществе Поппера.

В целом, есть много весомых причин искать решение проблемы того, как новые теории захватывают доминирующее положение, в русле аргументов Поппера, а не Куна²⁷¹. Кун и в самом деле говорит так, как если

²⁷⁰ John Watkins in Lakatos Imre and Musgrave Alan. P. 26.

²⁷¹ Годфри-Смит больше критикует взгляды Поппера (и эмпириков), нежели Куна, и его критика важна, но не имеет

бы каждые минимальные изменения в формулировании теории можно было считать революциями, но это не соответствует его фокусу на полной перемене интерпретаций и их «несоизмеримости». На деле, основная линия аргументации Куна приводит нас к выводу, что только фундаментальные теории могут вызвать научные революции – не теории световых волн, или естественного отбора, или многие другие известные теории, но, возможно, теория кварков или актуальный сейчас (2012) и имеющий потенциал изменения теорий «бозон Хиггса». По сути, в наши дни научные революции имеют лишь второстепенный интерес для ученых (они получают вторую жизнь среди философов, старающихся понять, чем бы они могли быть), и это стало результатом интеграции базиса естественных наук. Трудность характеристики «настоящих» научных революций (не являющихся лишь усовершенствованиями «нормальной науки») – важная причина не согласиться с Питером Годфри-Смитом и рядом других философов науки²⁷². В астрономии, физике и химии в прошлом могли быть смены теории, которые можно описать в понятиях научной революции (Годфри-Смит останавливается на эмпирических доводах Куна из истории науки), но современная интеграция научных оснований (биохимии с физикой в основе) делает «революцию» в куновском смысле почти немыслимой. Однако те, кто работает в области гуманитарных и социальных

решающего значения, поскольку к Куну он не так строг, как к Попперу. *Godfrey-Smith Peter. Theory and Reality* (Chicago: Chicago U.P., 2003), p. 57–74, 75–101. Похоже, он считает тот факт, что Кун использует примеры из истории науки для подтверждения своих теорий, оправдывающим нестройность теории.

²⁷² *Godfrey-Smith Peter.* p. 77–79, 90 and passim.

дисциплин, похоже, никогда не могли сопротивляться привлекательности идеи научных революций.

Конечно, невозможно представить, чтобы теории, на которые чаще всего ссылались историки, имели такие уж «революционные» последствия, и они явно не приводили к тому, что историки отбрасывали ранее признанные сведения о фактах с целью найти новые. Теории, следовательно, никогда не порождали таких революций в историографии, как те, о которых говорил Кун. Так что когда я стану говорить о «научных революциях» в истории, следует помнить, что здесь этот термин понимается иначе, нежели в книге Куна. Сходство заключается в ощущении «нового начала», но последствия различны. Это нужно оговорить, чтобы не порождать ожиданий, которые не могут быть удовлетворены в последующих рассуждениях.

В своей интересной книге *The Social Construction of What?* Иен Хакинг подчеркивает, что, вопреки подразумеваемым представлениям в дискуссии Поппера – Куна, «большая часть современной науки стабильна». Он иллюстрирует это утверждение при помощи второго закона термодинамики, скорости света и других научных идей, которые «останутся с нами»²⁷³. Хакинг не подчеркивает различия между социальными и естественными науками. Его цель заключается в обосновании идеи стабильности нашей системы знаний вопреки идее текучести, которая может возникнуть из концепции «революции». Это применимо и к социальным наукам, и к истории.

²⁷³ *Hacking Ian. The Social Construction of What? (Cambridge, MASS: Harvard U.P., 1999), p. 33, 84–86.*

Профессионализм историка и историческое знание

Теперь я хочу вернуться к моему вопросу относительно истории как познавательной дисциплины. В данной главе я собираюсь проанализировать кумулятивный аспект исторического знания с точки зрения его новых результатов. Что считается новым результатом в истории? Влияет ли он на более ранние представления? Я должен рассмотреть презентацию новых результатов и вопрос, устанавливает ли способ презентации определенный набор требований, которые необходимо выполнять. Наконец, я вернусь к вопросу о том, случаются ли в истории научные революции, и выскажу аргументы в пользу положительного ответа в определенных условиях.

Новые результаты, дополнительное и кумулятивное знание в истории

Традиционно (с конца XIX в.) исторические исследования основывались на идее поиска новых результатов, вносящих вклад в корпус «точного знания». Такое знание обреталось в соответствии с правилами, минимальными требованиями, как я их называю, признанными в профессии историков. Исследовательская процедура тогда зачастую состояла в попытке обнаружить новый материал в архивах, чтобы внести вклад в существующий нарратив. Иногда историки вносили свой вклад через новый анализ уже известного материала, и на основе этого анализа утверждали, что другие последовательности событий, отличные от тех, что признавались раньше, представляют собой «точное знание», к какому стремится историческое знание. Если такие вклады встречали положительный прием сообщества ученых (в рецензиях

и других исследованиях), они принимались (и принимаются) в качестве новых результатов.

Практически сразу же была сделана важная оговорка применительно к тому, что историческое исследование должно производить новые результаты: все новые находки не могут считаться одинаково важными. Некоторые новые результаты считались даже малозначительными и недостойными усилий профессиональных историков. Это означало уступку предшествовавшей (и последовавшей) идее профессионализма, предполагавшей, что в расчет должны браться не только минимальные требования метода, но и оптимальные нормы, рассматривавшие важность и плодотворность исследования. В двух важных пособиях, написанных Бернгеймом и Ланглуа и Сеньобосом, эта оговорка делалась, хотя и не без колебаний²⁷⁴.

Тем не менее настоящие затруднения возникали и возникают, когда нужно определить, что именно является критерием «важности» и «плодотворности» новых результатов. Ранке и его последователи сделали оптимальные нормы центральными и из них выводили новые результаты, достойные наблюдения. Их нормы предполагали, что важные результаты касаются отношений между государствами и внутренней институциональной структуры государства. Многие из тех, кто принимали примат исторического метода, то есть примат минимальных требований, признавали и идею, что новые результаты, относившиеся к государству, были важнее других новых результатов. Примером из шведской историографии мо-

²⁷⁴ “Наши концепции и суждения зависят ... от отбора того, что важнее всего для нашего познания”, *Lehrbuch der historischen Methode*, 5th–6th edn (Leipzig: Duncker & Humblot, 1908), p. 758.

жет служить деятельность основателей «вейбулльской школы» шведских историков Лаурица и Курта Вейбуллей. Они отдавали приоритет методам, но в отборе тем для исследований проявляли очевидный интерес к государственной политике в качестве основополагающей проблемы для рассмотрения. Однако это не стало традицией в среде учеников и последователей этих ученых (из-за чего «вейбулльскую школу» не рассматривают как настоящую научную школу). Таким образом, оптимальные нормы значительно варьировались в рамках группы, разделявшей основополагающие идеи²⁷⁵.

Это означало, что две ценностные основы минимальных требований и оптимальных норм (самые важные темы историописания) не исключали друг друга и, следовательно, могли дополнять друг друга разными способами. Интересно, что принципы метода (минимальные требования) могли в одно и то же время служить минимальными и оптимальными нормами. Кажется, что порой братья Вейбулли (и многие другие историки того периода) считали разрешение исторических проблем совершенными методами наиболее важной задачей исторических исследований. Новые результаты, важные с точки зрения государственной политики, были, например, связаны с войной и миром, тогда как новые результаты, важные с точки зрения минимальных требований, доказывали: более ранние представления о том, что имело место в истории, основывались на материале, который по специфическим причинам следует считать ненадежным. Безусловно, были возможны сочетания, поскольку порой новые ре-

²⁷⁵ *Torstendahl Rolf and Odén Birgitta. Den Weibullska Riktningen, in Historieskrivningen i Sverige (ed.by. G. Artæus & K. Åmark) (Lund: Studentlitteratur, 2012), p. 107–134.*

зультаты в истории государств появлялись в результате критического отношения к источникам.

События приняли интересный оборот в 1960-х гг., когда историки начали широкомасштабные исследования проблем, которые ранее таковыми не считались. Приматом метода пренебрегали все больше, вновь стали доминировать оптимальные нормы. Теперь феномены, связанные с государством, не занимали даже второстепенных позиций. На первый план вышли другие темы, сначала марксизм или исторический материализм (последний термин точнее в данной связи), потом разные подходы к социальным наукам, еще позднее — концептуальная история, история ментальностей и культурная история в целом.

Важность результатов оценивалась в соответствии с превалявавшей ценностной базой. Это легко было сделать до тех пор, пока доминировали ранкеанские оптимальные нормы или, позднее, требования метода. Пока существовал консенсус в отношении превалявавших ценностей, важность исследования можно было оценить без больших затруднений. Однако после прорыва разных оптимальных норм в 1960-х гг. достичь общего согласия о важности результатов стало практически невозможно. Конечно, некоторые новые результаты имели значение для разных областей исследования и приобретали большое значение, тогда как ряд других признавался лишь в узком кругу коллег, разделявших определенный набор оптимальных норм. Минимальные требования не просто лишились своего первенства или наивысшей степени важности. Нередко слабость метода игнорировалась, а превозносился тот или иной «плодотворный» или «важный» аспект темы исследования.

Профессионализм историка и историческое знание

Новый вклад в историческое знание также оказывался двух видов. Во многих новых исторических направлениях, получивших признание, анализ причинно-следственных связей основывался на совершенно разных теориях, имевших различные ориентиры. Поясню на примере. В гендерной истории возможны ситуации, когда исследователь выявляет в одной стране модели поведения, перенести которые на другие страны можно только через проведенные там параллельные исследования. Поразительным примером в этом отношении служит монография *Family Fortunes* Линор Дэвидофф и Кэтрин Холл (1987), прояснившая социальные роли мужчин и женщин в Британии конца XVIII – начала XIX в. Книга дала толчок разнообразным исследованиям в других странах, где были обнаружены сопоставимые, хотя и не идентичные отношения, и по большей части временные рамки исследования отличались. Находки такого рода, что сделали Дэвидофф и Холл, представляют собой не просто дополнительный вклад в знание, но важны в силу их воздействия на обобщенные картины гендерных отношений. Поэтому они не являются дополнительным вкладом в знание, как обычные архивные находки, ибо их новизна связана с теоретическими представлениями о том, что составляет «нормальность» и отклонение от нормальности, заслуживающие объяснения. Подобный вклад оказывается важным для всей области гендерных исследований.

Таким образом, любое добавление, меняющее структуру, разработанную предшествующими исследованиями, может характеризоваться как важное, хотя степень важности бывает различной. Такие добавления хорошо соотносятся с научными работами, которые Кун харак-

теризует как нормальную науку. Важно, что все новые результаты в истории не являются фактическими дополнениями, но подчас требуют реорганизации теорий, лежащих в основе истолкования того, что произошло, как показано на примере книги Дэвидовф и Холл. По сути, новые результаты могут охватывать очень широкий спектр ученых новаций: от обнаружения ранее неизвестного собрания писем известного человека, принимавшего участие во многих политических событиях, до обнаружения ошибочной даты политического (или другого) события и далее – к новой перспективе большого процесса (например, революции в России) с использованием нового типа предпосылок для ее интерпретации.

Эти три примера (а разнообразия гораздо больше, чем отмечено здесь) показывают, что новые результаты исторических исследований представляют собой концепцию с большим разбросом. Когда говорят (и я хочу подчеркнуть важность такого утверждения!), что целью исторического исследования является достижение новых результатов в истории, эту идею можно принять, исходя из совершенно разных предпосылок. Таким образом, идея «новых результатов» не является достаточным описанием того, к чему должны стремиться профессиональные историки. Новые результаты, какие они представляют, могут оцениваться по степени их важности, и среди историков часто ведутся дискуссии по этому поводу.

Тем не менее, если концепция научной революции и может сохранить свою суть при перемещении в сферу гуманитарных исследований, то лишь вне прямой зависимости от научного прогресса, обозначенного новыми научными результатами того рода, какой мы рассматривали выше.

Научные революции в истории

Как я отметил в начале главы, неясно, можно ли вообще применять концепцию научной революции к гуманитарным исследованиям, но если избежать рабского следования Куну, окажется возможным найти измененное значение понятия научной революции, приложимое к нашему анализу. Здесь я буду говорить о том, что концепция научной революции применима к истории в том случае, когда ее использование выходит за рамки результатов исторического исследования в целом и относится, скорее, к нормативной системе историописания. Подобным же образом не стоит считать, что парадигмы историописания должны иметь доминирующее влияние и могут логически исключать друг друга. Смена парадигм в таком случае будет означать, что историки отдали приоритет новой нормативной системе и отвели старой второстепенное место. Как же мы сможем распознать такую «научную революцию» в истории?

Когда Бродель писал свою книгу о мире Средиземноморья, его работа не имела precedents среди предшествовавших ей исторических трудов о временах Филиппа II. Предыдущие истории Филиппа II и его времени рассказывали о державах Средиземноморья и их взаимоотношениях, но Бродель придерживался иного взгляда. Фундаментальная структура знаменитой книги Броделя *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* (1949) построена на теоретической концепции отношений между географическими элементами и общественной жизнью, а также отношений между долгосрочными и изменчивыми условиями человеческой жизни. Таким образом, Бродель создал новую нормативную

систему того, что важно в историописании. Бродель не говорил, что методология менее важна – на деле, он, похоже, рассматривал свои новые оптимальные нормы как род методологии²⁷⁶, – но имплицитно прежние методы критики источников оказывались неприменимыми к его проблематике и поэтому отбрасывались. В этом смысле работа Броделя была научной революцией. Я хочу подчеркнуть, что здесь есть, по крайней мере, одна основополагающая характеристика, сходная с концепцией Куна применительно к использованию данного термина. Несоизмеримость для Куна была основной характеристикой различия между двумя парадигмами, и эта несоизмеримость может быть, как отмечено выше, объяснена разными стандартами сбора информации и построения аргументов (заимствуя слова Годфри-Смита). Такая несоизмеримость явно присутствует, если мы сравним книгу Броделя с трудами его предшественников.

Тем не менее работа Броделя не стала парадигмой историописания в десятилетие, последовавшее непосредственно за ее изданием. Это напоминает процесс смены некоторых парадигм в науке, но одновременно говорит и о наличии множественных парадигм в области знания, подобном истории. У Броделя имелись последователи, но их было немного. Лишь через десять с лишним лет стало заметным более общее изменение исторической профессии. Труд ученого и его предпосылки характеризовались тем, что историческая нормативная система, подчинявшаяся стремлению достичь «точного знания» и культивации методологической основы историописания, была заменена новым взглядом, основу

²⁷⁶ *Braudel Fernand. Ecrits Sur L'histoire* (Paris: Flammarion, 1979).

Профессионализм историка и историческое знание

которого составляли такие ценности, как «важность», «плодотворность» и т.п. Таков был сдвиг парадигмы в 1960-х гг.

Бродель стал не первым и не последним историком, реформировавшим нормативную систему дисциплины. Как я уже говорил, профессионализм воплощен в нормативной системе, принятой сообществом историков или их доминирующей группой. Ранее такие научные революции или профессиональные сдвиги были произведены Леопольдом Ранке в 1830-х гг., а также возраставшей строгостью исторического метода и его методологической основы (Бернгейм, 1889; Ланглуа и Сеньобос, 1898) в последнее десятилетие XIX в. Революция Ранке основывалась на его сфокусированной на государстве концепции важности и философии развития истории того типа, что лучше всего известен как историзм²⁷⁷. Другим условием стала способность Ранке воспитывать учеников в своем «семинаре», а эти ученики распространили его идеи по Европе и всему миру.

Некоторые ученики Ранке участвовали в новой революции в историописании, давшей методам приоритет по сравнению с оптимальными нормами. Когда Георг Вайц участвовал в издании *Monumenta Germaniæ historica*, он, вероятно, не видел противоречия между своей работой с ее акцентом на методологии и ранкеанской ос-

²⁷⁷ Литература об Historismus богата, различается интерпретациями, и в ней не всегда рассматриваются нововведения Ранке. См. *Oexle Otto Gerhard. Geschichtswissenschaft Im Zeichen Des Historismus* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996).; *Oexle O.G. & Rüsen J. (eds.). Historismus in den Kulturwissenschaften, Köln etc. (Böhlau), 1996; Meinecke F. Die Entstehung des Historismus, vol. 2, 1936. См. также главу 2.*

новой своей мысли. Два десятилетия спустя, когда бывший ученик Вайца, Бернгейм, издал свою *Lehrbuch der historischen Methode* (1889), фокус на методе доминировал и получил явный приоритет по сравнению с оптимальными нормами. Такие соображения порождали новое отношение к профессиональному историописанию вне зависимости от того, что имели в виду Бернгейм и его собратья-методологи. Представляется, однако, что французы Шарль-Виктор Ланглуа и Шарль Сеньобос в большей степени стремились научить историков лучше использовать методологию. Сравнение, впрочем, провести трудно, поскольку их философия заставляла ученых исключать неистинные утверждения из текста историка, тогда как Бернгейм желал приблизиться к реальности прошлого настолько, насколько это возможно (см. пятую главу).

В 1960-х гг., когда Бродель являлся одним из влиятельных историков, устанавливавших парадигмы, прежние рассуждения о методе и методологии в профессионализме должны были уступить место оптимальным нормам (относительно того, что в истории важно или интересно). В 1950-х и особенно в 1960-х гг. были сформулированы разные типы оптимальных норм, вдохновлявшихся теми или иными социальными дисциплинами – сначала неомарксизмом и историческим материализмом, особенно Эриком Хобсбаумом, с одной стороны, и новыми левыми с Перри Андерсоном – с другой, позднее выраженным идеалом истории как социальной дисциплины с Юргеном Кокой в статусе главного теоретика. Еще позже на первенство стали претендовать «ментальности», «идеи» и «культура», отчасти как параллельные

Профессионализм историка и историческое знание

течения²⁷⁸. Так появились новые «направления», но все эти новые парадигмы основывались на революции историописания, порожденной приоритетом оптимальных норм, постепенно установленным в 1960-х гг.

*Как надо рассказывать о новых находках
и новых точках зрения в истории?*

Основополагающий вопрос состоит в том, исчерпывают ли разные модели исторического нарратива, выделенные Рюзеном, возможности изложения истории, и – применительно к моей задаче здесь – исчерпывают ли они возможности представления новых результатов в истории? Если исследователь, демонстрирующий новые результаты, создает структуру в виде исторического нарратива, это не означает, что новации нужно мыслить только как часть нарратива. Одними из самых жизнеспособных областей истории в наши дни являются сравнительные исследования наций или регионов, анализ специфических типов источников и их внутренние соотношения (что чему предшествует), анализ запутанных отношений между культурами, цифровые описания различий в материальных условиях и демографических обстоятельствах; все они дают примеры проблем, вызванных сочетанием новых результатов с нарративами. Во всех этих областях исторических исследований новые результаты зачастую представлены в форме, которую нельзя классифицировать как часть нарратива или как «новый нарратив». Конечно, такие результаты могут

²⁷⁸ Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. – М.: Кругъ, 2011, гл. 2.

иметь последствия для отдельных тем в распространенных нарративах, но тогда они являются вторичными по отношению к новым результатам, а не непременным условием их демонстрации. Даже если и есть нарративная структура, используемая историком для помещения новых результатов в исторический контекст, новые результаты можно описать и понять отдельно от всякого нарратива.

Это, однако, не означает, что новые результаты, описанные вне контекста нарратива, поняты точно так же (как означающие то же самое), как эти же описания, включенные в нарратив и составляющие его часть. Здесь важно отметить, что и нарратив, часть которого составляет описание, и само описание как изолированный набор слов по-разному интерпретируются читателем. Тексты, согласно уже ставшему тривиальным мнению, взаимодействуют с читателями и по-разному понимаются ими. Однако эта уступка «относительности» не подразумевает различия между двумя версиями. И изолированное описание, и нарратив могут быть поняты и интерпретированы, так что неверным будет сказать (или подразумевать), что описание новых находок не может быть понято, если оно отделено от нарратива.

Нарративы не отделяют новые результаты от старых и хорошо известных исторических структур, что делает необходимым для историка-повествователя, желающего подчеркнуть новые результаты, прервать поток повествования, чтобы привести аналитические доводы в пользу своих новаций. Пример: члены одной касты в Южной Индии традиционно обрабатывали земли, принадлежавшие членам другой касты. В первой половине XX в. между ними возникла напряженность, и работни-

ки нашли убежище в христианской миссии. Однако через несколько десятилетий они оставили христианскую церковь, часть их вернулась, другие уехали в города. Исследователь, задавший вопрос, ответ на который породил новые результаты, рассматривал события с разных точек зрения. С одной стороны, анализировалась аграрная экономика, и, оказалось, что экстремальные погодные и климатические условия влияли на земледелие (снижая его выгодность), а механизация труда создала избыток рабочей силы. Так возникла безработица, неизвестная прежней, традиционной экономической структуре; она вызвала восстание работников не только против своих нанимателей, но и против их традиционных ролей в религиозных ритуалах, отправлявшихся бывшими нанимателями²⁷⁹.

Новые результаты, таким образом, содержали ряд элементов нового нарратива. Но каждый новый результат важен сам по себе и может разными способами сочетаться с другими уже известными обстоятельствами. Новая структура в виде нарратива не была самоочевидной до тех пор, пока исследователь не испытал ряд возможностей, не устранил альтернативные объяснения, такие, как: все конфликты порождались землевладельцами; социальная напряженность была вызвана христианской миссией и т.д. Новые результаты надо было анализировать по одному, затем проверить, чтобы новые находки не конфликтовали друг с другом (из-за неверных толкований или неполноты исследования). Все это необходимо было учитывать при письме, что означало:

²⁷⁹ Я вольно изложил пример в данном тексте, но он основывается на: *Gunnel Cederlöf. Bonds Lost. Subordination, Conflict and Mobilisation in Rural South India, C. 1900–1970 (Delhi: Manohar, 1997).*

поток повествования нужно многократно прерывать для процедуры проверки. Это можно было сделать в виде нарративного сообщения о процессе исследования, но важным элементом данного сообщения все равно должно было оставаться рассмотрение возможностей и устранение альтернативных истолкований. Невозможно учесть все подобные доводы в нарративе, который является только нарративом. Таким образом, пример хорошо показывает сложные отношения между важным эмпирическим материалом и нарративной формой презентации.

Это не означает, что историк не должен составлять нарративы. Нарратив может стать очень полезной структурой, во многих случаях более или менее неизбежной как сетка для новых результатов. Однако тот факт, что новые результаты можно поместить в нарратив, не означает, что важным здесь является именно он.

Как нужно рассказывать о научных революциях?

Затруднения, вызванные изложением новых результатов в нарративной форме, которые я только что рассматривал, ничуть не легче преодолеть в случае «научных революций». Если прежняя нормативная система историописания оспаривается (а именно так я определяю и понимаю здесь выражение «научная революция в историописании»), почти невозможно представить, чтобы нарратив, который утвердился ранее согласно доминировавшим нормам того времени, можно было подчинить себе без значительных изменений после научной революции. Еще важнее: если оспариваются фундаментальные характеристики нарративного повествования,

из этого необязательно следует, что его должно заменить другим нарративом. Позвольте мне напомнить о Броделе и его рассуждениях о мире Средиземноморья в конце шестнадцатого века. История этого мира, изложенная ученым, является не уточненным нарративом, а новым подходом, в котором присутствуют нарративные элементы. Куски этих нарративных элементов имеют своими прецедентами более ранние работы о державах Средиземноморья и взаимоотношениях между ними. Тем не менее основная структура *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* Броделя построена на теоретической концепции, а не на ее нарративных элементах.

Однако книга Броделя о Средиземноморском мире не использовалась в качестве общей парадигмы исторического описания ни сразу после ее публикации, ни в долгосрочной перспективе. Ряд его ближайших сподвижников из группы «Анналов» писали книги, в которых практиковался тот же подход, но их было немного. Это не означает, что влияние Броделя было незначительным. Широкий круг историков провозгласил общую верность принципам Броделя, при этом они по большей части имели в виду его нормативную систему исторических исследований и исторического описания. Его репутация упрочилась уже через несколько лет и оказывала влияние не только во Франции, где он занимал важные посты, но и во многих странах Европы и Латинской Америки²⁸⁰. Од-

²⁸⁰ Влияние Броделя было велико даже на тех конгрессах, где он отсутствовал. См. *Tollebeek, Jo. A Diversity of Experiences: Belgian and Dutch Historians in Rome*, in *La Storiografia tra passato e futuro. II X Congresso Internazionale di Scienze Storiche* (Roma, 1955) *cinquant'anni dopo* (Roma: Unione Internazionale degli Istituti di Arche-

нако оставалось много историков, продолжавших писать историю точно так же, как они это делали раньше, вне зависимости от издания книги Броделя и роста группы «Анналов», почитавшей его идеи.

Анализ трудов историков, вводивших новые оптимальные нормы после 1960-х гг., затрудняется различной степенью их близости к нарративам и разными подходами к повествованию. Работа Броделя не просто реформировала старые нарративы через теоретические концепции, она представляла новый очерк. Тем не менее его можно рассматривать как нарратив с новыми агентами и новой сценой. То же самое можно отметить применительно к Эрику Хобсбауму, Перри Андерсону и многим другим, представлявшим материалистическую интерпретацию истории. Их материалистический фокус предполагал переинтерпретацию и выдвигал на передний план новые или малоизвестные объяснения, вдохновлявшиеся марксизмом. Они предоставили новые подходы к проблемам, которые отчасти игнорировались раньше, но некоторые из них, особенно Эрик Хобсбаум, любили выстраивать новые находки в нарратив. Его нарративы иногда посвящены индивидам, некоторые близки к обычным биографическим повествованиям, но всегда имеют поразительную перспективу, основанную на его теоретических убеждениях²⁸¹. Когда он в других ситуациях говорил об истории государств и обществ, его нарратив явно служил лишь средством распространения объяснений и

ologia, *Storia e Storia dell'Arte in Roma*, 2008), p. 100–101.

²⁸¹ См., например, *Hobsbawm, Eric J. Captain Swing* (London: Lawrence & Wishart, 1969); *Hobsbawm Eric J. Labouring Men* (London: Weidenfeld & Nicholson, 1968).

интерпретаций, основанных на теории²⁸². То же самое в разной степени верно применительно к каждому, кто вводил новые оптимальные нормы, становившиеся популярными среди историков после 1960-х гг. С этой целью они часто применяли социальные дисциплины. Это было новым. Структурой, однако, оставался более или менее развернутый нарратив, и весьма трудно понять, в какой степени каждый автор отделял свой нарратив от интеллектуальных новостей. Гендерная история не является исключением. Можно считать, что только в теоретических трактатах, подобных *Gender and the Politics of History* Джоан У. Скотт (1988) нарративные части хотя бы отчасти подчинены общей перспективе новой теоретической основы, но многие другие книги по гендерной истории стали известными как своей нарративной структурой, которая была ими пересмотрена, так и своей косвенной пропагандой определенных оптимальных норм, как, например, вышеупомянутая монография *Family Fortunes* (1987) Линор Дэвидофф и Кэтрин Холл. Итак, новые оптимальные нормы и стремление закрепить их в профессиональном сообществе обычно не исключали структуры нарратива точно так же, как не исключали они и приверженности методам, хотя для этих авторов ни повествование, ни методы не имели первостепенного значения.

Из предшествующих аргументов следуют два вывода. Кажется очевидным, что работы, претендующие на то, чтобы инициировать научную революцию в норма-

²⁸² Hobsbawm, Eric J. *Nations and Nationalism Since, 1780* (Cambridge UK: Cambridge University Press, 1990). См. также серию из четырех книг Хобсбаума по истории Европы после Французской революции.

тивной системе профессиональной историографии, могут отклоняться, а могут и не отклоняться от нарративной формы. Их амбиции, однако, идут гораздо дальше нарратива.

Далее, не так легко определить, какие именно новые направления историописания обозначают нечто новое в нормативной системе. Недостаточно того, чтобы провозглашенная норма, то есть основа, предполагающая, что именно является важным, была новой. Если уже существуют другие нормы, служащие подобной цели, историческое сообщество, кажется, не считает альтернативу революционной, скорее, еще одной возможностью наряду с прочими. Следовательно, то, что составило поворот от методологической основы к нормативной системе в 1950–1960-х гг. и вплоть до 1980-х гг., отдававший приоритет оптимальным нормам, зачастую основывавшимся на разных теориях социальных дисциплин, можно рассматривать как одну революционную переменную, хотя каждый из специфических поворотов не ощущался революционным. Таким образом, исторический материализм, история женщин, гендерная история, история ментальностей, культурная история и другие попадают в одну категорию новых направлений в рамках размытой профессиональной нормативной системы. Эта точка зрения отличается от той, какую я провозглашал раньше. Теперь я предпочту сказать, что множество альтернатив в современной историографии основано на нескольких общих предпосылках, а не то, что они революционны. Различия между ними, однако, остаются. Лишь постмодернистские теории (по большей части) – другого типа, проистекающего из их отрицания возможности профессионального отношения к истории.

Важные исторические работы — книги и статьи — представляют читателю нечто новое. Многие другие продукты исторического исследования также вносят вклад в наше знание, хотя мы и не склонны считать их зовущими к размышлению, основополагающими, новаторскими или революционными. Но не на это хотел бы я обратить здесь внимание. Я сконцентрировался на различии между историческими результатами, которые являются новыми в том смысле, что меняют устоявшиеся «истины», и работами, которые сотрясают прежнее историописание, потому что оспаривают основы такого типа профессионализма. Нормативная система, на которой основывается профессиональная работа, многократно оказывалась под давлением такого «нового мышления».

Можно задаться вопросом, существует ли четкий водораздел между «новыми результатами» большой важности и «научными революциями» в области истории. Я полагаю, что его нет. *History of the Latin and Teutonic Peoples from 1494 to 1514* Леопольда Ранке (1824) читалась и комментировалась как одна из книг о политике того периода, хотя она рассматривала нации Европы с точки зрения, тесно связанной с центральной ее концепцией «системы государств», которая была совершенно новой. Точно так же работу Броделя многие читали как историю периода Филиппа II, не размышляя о том, что она действовала в рамках совершенно новой концептуальной системы временных интервалов большой, средней и малой длительности и их взаимодействия. Таким образом, интерпретация создает содержание работы (до определенной степени), если, конечно, она совместима с текстом. Моя интерпретация заключается в том, что эти

работы представляют собой вехи в развитии нормативной системы, формирующей суть профессионализма.

Тем не менее нарратив может правильно инкорпорировать лишь ограниченные новые результаты. Чем шире они по охвату, тем труднее составить из них заслуживающий внимания нарратив, это отчетливо показывают книга Юргена Коки о стадиях развития бюрократии в компании Сименс и Хальске²⁸³ и работа Гуннела Седерлёфа об утрате связей, которые раньше заставляли касты Южной Индии формировать сообщество²⁸⁴. Сложности должны быть изложены и проанализированы, но аналитические построения невозможно с легкостью заставить следовать логике нарратива.

Если главная и основная задача историков – сообщать новые результаты в рамках академического сообщества (а я полагаю – это так и есть), то эти результаты не должны затмеваться стремлением получить всеобщее признание за пределами академического мира с помощью привлекательного нарратива. Новые результаты могут напрямую не относиться к структуре повествования, что означает: историк должен выбирать между привлекательным нарративом и изложением новых результатов. Например, некий новый результат, придающий новую перспективу характеру революции в России (в частности, ее отношение к насилию и демократии), требует аналитических аргументов, которые заставляют отбросить нарративную структуру. Историк должен решать, что важнее: отказаться от нарратива, чтобы изложить новые результаты и их

²⁸³ *Kocka Jürgen. Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 1847–1914 (Stuttgart, 1969).*

²⁸⁴ *Cederlöf Gunnel. См. прим. 15.*

обоснование, или же сохранить нарративную структуру и утратить контроль над новыми результатами. Похоже, что наиболее признаваемые в долговременной перспективе историки — те, которые отказались от нарратива, чтобы изложить свои доводы.

Научные революции в отличие от новых результатов обычно не задумываются как атака на профессиональную систему, скорее, они демонстрируют лучшее понимание специфических проблем. Это не значит, что революции, низвергшие доминировавший исторический профессионализм, были случайными. Авторы исторических трудов, известные как инициаторы новых подходов к истории, имели другие основные цели, помимо нарратива, отбрасывая его, если он не давал простора их новаторским интеллектуальным достижениям. С другой стороны, стремления к новаторству недостаточно, чтобы революционизировать историю. Многие новые направления историописания последних десятилетий, которые мы упомянули, свидетельствуют, что стремление создать новую систему ценностей не является достаточным условием для совершения революции в историографии. Необходимо их принятие, а взаимодействие между нормами и академическим сообществом является тонкой и сложной материей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историописание есть род делания истории. Правда, что история, написанная даже лучшими профессионалами, является конструктором. До определенной степени этот конструктор зависит от личного вкуса и оценок писателя. В этом я согласен с господствующими сегодня мнениями. Тем не менее роль писателя подчиняется узам нормативной системы, устанавливающей правила профессиональной историографии. Если историк не подчиняется правилам, предписанным этой системой, он/а подвергнется критике коллег. В основе своей задача критики – определить, что является историческим знанием, а что таковым не является. Если работа историка не следует правилам, она написана непрофессионально и не может претендовать на то, чтобы расширять наши знания о прошлом. Роль профессиональных норм, их происхождение и пределы составляют предмет исследования данной книги.

Сочинений о прошлом столь много и они так разнообразны, что среди них легко затеряться и сказать: нет единства во взглядах на прошлое, на то, что произошло в прошлом, на то, что истинно утверждается о прошлом. Я говорил о том, что вопрос истинности применительно к явлениям прошлого не является адекватным для профессиональной истории (или, если уж на то пошло, любого исторического сочинения). Утверждение или повествование о некоем аспекте прошлого имеет ценность, если при его составлении следовали нормативной системе профессионалов. Если позднейшие исследователи смогут показать, что другая интерпретация определенных

Профессионализм историка и историческое знание

документов, новые архивные находки или более широкие исследования смежных предметов дают основания для другой точки зрения, более ранняя утратит ценность. Дело не в том, что «истина» ускользает от историка в большей степени, чем от исследователей в других дисциплинах, но только в том, что всякое эмпирическое и научное познание может достигать лишь утверждений, чья ценность является временной. Те, кто хочет упростить свою эпистемологию, заявляют: утверждения, обладающие ценностью, истинны (на время).

Необходимо различать между профессионализмом и человеком, которого называют профессионалом. Человек может делать ошибки, неточно следовать правилам, составляющим систему, и подвергаться за это справедливой критике. Дискуссии и критика – воздух любой науки, единственный способ достичь настоящего приращения знания. Истинный профессионал поэтому не должен избегать критики и тщательного рассмотрения его/ее выводов. Чем больше критического внимания уделено книге или тексту (без необоснованного изменения содержащихся там утверждений), тем выше ее качество как профессионального достижения.

Исторические утверждения и тексты всегда должны быть объектом критического анализа. История достойна таких усилий. Эта «истина» (правило поведения) хорошо известна, но ее обычно игнорируют, потому ее стоит напомнить. Недавно (в 2012 г.) я услышал, как российский кинорежиссер Андрон Кончаловский, рассказывая об одном из своих фильмов, сказал, объясняя его суть: «Мы всегда идем в будущее, пятясь». (Это – старая метафора, но я полагаю, что он придал ей личную окраску.) Мы все время должны учиться у тех вещей, что находят-

ся позади нас во времени. Эксперименты ученого уже в прошлом, когда он/она формулирует свою теорию о том, что произошло. Политические ошибки, которые мы можем анализировать, относятся ко вчерашнему или даже позавчерашнему дню. Только из шторма, имевшего место на прошлой неделе или даже раньше, метеорологи могут что-то узнать о будущей плохой погоде. Список бесконечен. Сказать, что эти примеры не об истории, а об обобщениях и формулировании теории, не значит выдвинуть настоящее возражение, ведь нельзя сделать обобщение или сформулировать теорию, не зная об отдельных событиях прошлого.

Не стоит принимать на веру так называемый глубокий анализ прошлого, утверждающий, что история отличается от другого знания, поскольку предполагает эмпатию и может лишь принимать форму нарратива, как я показал в девятой и двенадцатой главах. Мои доводы заключаются в том, что профессиональная история является конструктором, тщательно сооруженным на основании существующих источников в соответствии с правилами, которые признают профессионалы (после длительного периода проб и ошибок). Субъективисты считают, что если историописание зависит от норм, которые они приравнивают к эстетическим и моральным нормам, то любое историческое повествование – всего лишь отражение «субъективных» авторских оценок. Чтобы опровергнуть такой подход, мы действительно должны прийти к согласию относительно ряда эпистемологических предпосылок, и я постарался прояснить, каковы предпосылки моих рассуждений, в шестой, девятой и десятой главах. Эти предпосылки не самоочевидны, и я вполне готов их обсуждать. Но нужно помнить, что и другие

Профессионализм историка и историческое знание

подходы требуют изначальных предпосылок, которые необходимо обсудить и отвергнуть, если доводы против них преобладают.

Новое знание, таким образом, является целью исторического исследования и деятельности любого профессионального историка. Поэтому важно хорошо представлять себе, что имеется в виду под таким знанием, то есть какие именно результаты вносят вклад в расширение исторического знания. В главе двенадцатой я говорю о возможности найти критерии для различения тривиальных и нетривиальных результатов исследования. В то же время я утверждаю, что научные революции (в том значении термина, в каком его употреблял Томас Кун) в истории невозможны, но отстаиваю другое значение данного термина, когда научные революции в истории относятся к таким достижениям, которые меняют основополагающую нормативную систему сообщества историков.

Кажется, что я как историк в меньшей степени использую психологические объяснения поведения человека по сравнению с другими историками. Террор в России 1930-х гг. часто объясняют подозрительной натурой Сталина (облекая это в понятия некоей психологической теории); гитлеровских генералов на Нюрнбергском процессе анализируют в терминах психологии; политиков и бизнесменов часто считают подчиненными жажде власти (что тоже описывают уточненными теоретическими терминами) и т.п. Биографии нередко полнятся рассуждениями о возможном или вероятном психическом состоянии их главного предмета с тем, чтобы объяснить повторяющиеся модели поведения (даже если число повторений можно сосчитать по пальцам, что для статисти-

ческого подсчета недостаточно). Но здесь нужно сделать важную оговорку. Не все биографии написаны профессионалами и с целью удовлетворения профессиональных критериев. Многие могут считать интересными изображения психологических предпосылок действий — я говорю здесь о действиях людей, а не структурных единиц, таких, как школа или администрация, о которых я также говорил в шестой главе. Когда дело доходит до профессионализма, полагаю, стоит быть осторожным в отношении психологических объяснений, поскольку психология — слабая наука, когда речь идет о поведении индивидов. Достаточно вспомнить об экспертах-психологах на известных процессах, например, в деле Беринга Брейвика в Норвегии, чтобы отметить: психологи, даже самые знаменитые, имеют непрочное основание для своих объяснений поведения индивида, и каждый из них может легко прийти к заключениям, противоречащим выводам других экспертов. Психология дорожного поведения и теоретические отрасли, например, психология восприятия, различаются тем, что имеют дело со специфическими типами поведения на обобщенном уровне, а не с комплексом разных осознанных мотивов и лежащими в их основе биологией и химией, которые определяют поведение индивида в целом.

Исторический профессионализм — форма профессионализма, разделяющая некоторые специфические черты с профессионализмом исследователей в других дисциплинах, по сравнению с многими профессиональными практиками. Я сравнивал историков с профессиональными врачами, так как они тоже подчеркивают свой профессионализм (глава первая). Научный профессионализм возник не случайно, но стал результатом

осознанной деятельности ведущих ученых с целью создания сообщества, разделяющего нормативные взгляды на свою дисциплину. В ряде наук это произошло в XVIII в. – создателями сообществ были Ньютон и Линней, – но в гуманитарных дисциплинах в целом создание сообществ началось позднее, и среди них история явилась одной из первых. Когда Леопольд Ранке в 1830-х гг. впервые создал свой семинар, он придал профессионализму форму в рамках исторической дисциплины (четвертая глава). В основе ранкеанского профессионализма лежал не метод, которому он не уделял много внимания; его оптимальные нормы исходили из теоретических представлений об историческом наследии государства и институтов, идеи, напоминающей неoinституционализм лауреата Нобелевской премии Дугласа Норта (глава третья). Новые взгляды Ранке не распространились бы, если бы они не сопровождались совершенно новой идеей университетского исторического образования. Ранее оно имело две опоры: общий обзор исторического развития в связи с другими дисциплинами, и основательное обучение составлению аргументов в ходе дебатов по научным проблемам, так называемых диспутов. Ранке и его ученики обозначили новый путь семинарами, не только заменившими дебаты, но и обучавшими слушателей набору норм, требуемым методам в широком смысле (минимальным требованиям) и принципам выбора тем в широком спектре вопросов, связанных с прошлым (оптимальным нормам) (глава четвертая).

Ранке отдавал приоритет своим оптимальным нормам, делая основой истории организацию государства и межгосударственные отношения. Он также благоволил к исследованиям исторической идентичности и эндо-

генного развития. В любом случае в профессионализме Ранке теоретические идеи были основополагающими и оставляли минимальные требования на втором месте. Эта ситуация полностью переменялась в ходе методологического возрождения, имевшего место в последние десятилетия XIX в., проявлением и вехами которого стали важные пособия. Существовал целый ряд национальных и местных пособий, но многие из них были всего лишь рассуждениями о содержании *Lehrbuch der historischen Methode* Эрнста Бернгейма (первое издание в 1889-м), тогда как *Introduction aux études historiques* французов Ланглуа и Сеньобоса (1898) стало, по большей части, второстепенным ответвлением дискуссии. Последнее еще более верно по отношению к *Grundriss der Historik* Иоганна Густава Дройзена (1868, 1875, и 1882), который привлек гораздо больше внимания после публикации своих лекций на ту же тему в конце XIX в. (главы вторая и пятая). С конца XIX века до 1950-х гг. минимальные требования, обоснованные этими пособиями, имели приоритет над оптимальными нормами в историческом сообществе.

Профессионализм распространился по Европе, и новый переворот в отношении сравнительного веса минимальных требований и оптимальных норм произошел в 1960-х гг., хотя его провозгласил выход книги Фернана Броделя о Средиземноморском мире еще в 1949-м. Влияние книги и ее автора быстро возросло, но реальных последователей оказалось немного даже внутри «школы» (или направления) «Анналов». Однако началась переориентация, и методы уже не затеняли другие инструменты в решении вопроса о том, какого рода историю следует писать и преподавать. В 1960–1970-х гг. возникли новые

Профессионализм историка и историческое знание

направления истории, каждое со своими оптимальными нормами (глава вторая).

Таким образом, распространение идей исторического профессионализма в Европе не было единым процессом, оно сопровождалось развитием новых стандартов, трансформацией профессиональных ценностей и норм. Ситуация становится еще более запутанной, если мы обратимся к глобальной перспективе. Европейские идеи о том, что должно характеризовать «хорошее» исследование, распространились по другим частям света, не встречая серьезной оппозиции, поскольку ученые неевропейского происхождения и образования вряд ли имели альтернативный способ формирования сообщества. Европейская/североамериканская идея профессионализма получила мощную поддержку международных конгрессов историков. Эти конгрессы начались как европейские, но уже перед Второй мировой войной стали более амбициозными, во многом благодаря созданию в 1926 г. постоянной международной организации историков, CISH, которая стала заниматься организацией данных конгрессов. После войны CISH ослабела и вплоть до 1970-х гг. опиралась преимущественно на европейцев и североамериканцев. Но впоследствии она окрепла и включила в себя членов национальных организаций историков из разных частей света.

Как я подчеркнул в первой главе, эта книга предлагает представление о профессиональном историописании как о поиске исторического знания, когда условия этого поиска постепенно совершенствуются сообществом ученых для того, чтобы по возможности максимально отказаться от догадок и предубеждений. Постоянные критические обсуждения профессиональной системы

правил являются единственной гарантией против машины пропаганды. Политическая пропаганда обычно касается прошлого и основывается на заявленных несправедливостях, испытанных определенными членами общества из-за действий других. В таком духе пропаганда обычно предстает как критика, но эта критика основывается на произвольных правилах. Поэтому для знания о прошлом так необходима постоянная критика системы правил. Только критика, основанная на правилах, которые постоянно совершенствуются, может быть действенной против пропагандистских утверждений. Если такие утверждения не имеют ценности, они могут быть отброшены и утрачивают силу. Тоталитарные режимы опасаются критики, основанной на правилах, которые сами являются объектом постоянной критической оценки. Только такие правила закладывают рациональные основания для того, чтобы не верить в так называемую историю, каковы бы ни были ее заявленные критические цели, если их ценность не может быть подтверждена.

Используя уже упомянутую метафору Кончаловского (чего я обычно не делаю), я хочу предложить следующую картину. Человечество не движется в сторону будущего единым и целенаправленным порывом к ясным целям вне зависимости от того, что говорят политики. Вместо этого оно пьтится в будущее, глядя в прошлое. Наблюдения формируются в соответствии с системой правил других дисциплин в корпусе знаний. Это знание служит источником света в неведомом. В таком неловком продвижении прошлое используется для ориентирования в том, что находится у нас за спиной, где лучи знания, можно надеяться, освещают все большее и большее

Профессионализм историка и историческое знание

пространство под нашими спотыкающимися ногами, ищущими твердой опоры.

Метафоры имеют слабое интеллектуальное содержание, но порой они дают представление об идее вещей, которую трудно ухватить. Позвольте мне надеяться, что данная метафора послужит своей цели. Профессиональные историки имеют важную цель, наряду с профессиональными исследователями других дисциплин: распространять лучи знания, необходимые для того, чтобы пятиться в будущее.

Именной указатель

А

Август, император Римской империи *189*

Адамс Чарльз К. *118*

Актон, лорд *44, 122, 137*

Алексеев В.В. *276*

Андерсон Перри *316, 322*

Анкерсмит Франк *76, 89, 260, 285-297*

Анотто *208*

Б

Баадер Франц *96*

Бань Гу *12*

Барант *123*

Баттерфилд Герберт *34, 134*

Беверидж Уильям *210-212*

Бейль Пьер *33*

Бейран Пол Э. *265*

Бентли Майкл *178*

Берг Гюнтер *39, 98, 99*

Бернгейм Эрнст *45, 48, 119, 127, 130, 131, 135, 137, 138, 151-153, 157-162, 164-167, 169, 173, 174, 176-178, 180, 181, 308, 315, 316, 334*

Берр Анри *68, 70*

Бестужев-Рюмин К.Н. *127*

Бёк Август *141, 169*

Бёрк Питер *68*

Бисмарк *205, 206*

Бланке Хорст Вальтер *34*

Блок Марк *56, 58, 59*

Боер Пим ден *14, 28, 29, 178*

Бокль Т.Х. *132, 147-149*

Брейвик Беринг *332*

Бродель Фернан *65-68, 72, 73, 226, 313-316, 321, 322, 325, 334*

Бутрюш *66*

Бьорк Рагнар *261*

Бюше П.Ж.Б. *163*

В

Вар *189*

Вайнц Георг *100, 116, 118, 119, 315, 316*

Валлерштайн Иммануил *72*

Вараньяк *63*

Ваттенбах В. *136*

Вахлер Л. *137*

Вебер Вольфганг *120*

Вебер Макс *57, 120, 265, 280*

Вегеле Ф.К. *137*

Вейбулл (Вайбулл) Лауриц *48, 49, 271, 309*

Вейбулл (Вайбулл) Курт *271, 288, 309*

Вейерс Ольга *104*

Вейн П. *177*

Велер Ханс-Ульрих *265*

Видукинд *8*

Виндельбанд *180*

Винклер Генрих Август *265*

Виноградов Павел *126*

Волгин В.П. *57*

Вольней *156*

Вольтер *10, 15, 16, 226*

Вольф *63*

Вэнн Ричард *294*

Г

Галлам Генри *122*

Галилей *223, 226*

Ганс Эдуард *96*

- Гаттерер Иоганн Кристоф 113
 Гвиччардини 37
 Гегель Георг Вильгельм
 Фридрих 79, 141, 206
 Геерен Арнольд 10
 Геерен Людвиг 10, 96, 100
 Гейер Эрик Густав 102
 Гемпель 291
 Гердер Иоганн Готтфрид 16
 Германн (Арминий), вождь
 тевтонов 189
 Геродот 7, 13, 226
 Геррманн Эрнст 99, 118
 Герхард Эдуард 96
 Герье Владимир 125-126
 Гиббон Эдвард 10, 15, 16, 35
 Гизебрехт Вильгельм 116, 118
 Гизо 123, 208
 Гинзбург Карло 223
 Годфри-Смит Питер 258, 302,
 303, 305, 314
 Грильпарцер Франц 96
 Гримм Якоб 96
 Гумбольдт Вильгельм фон 109
 Д
 Дальманн Фридрих Кристоф 96
 Даннхауер Иоганн Конрад 106
 Дарвин 144
 Декарт Рене 33
 Де Пьер 67
 Джекобсон 291
 Дильтей 141, 180, 206
 Дон 63
 Дройзен Иоганн Густав 43-46,
 120-122, 124, 129-131, 135, 137-150, 154,
 155, 164, 166, 169, 174, 176-178, 334
 Дэвидовф Линор 311, 312, 323
 Дюркгейм 51
 З
 Зибель Генрих фон 43, 118
 Зиммель 141
 И
 Иггерс Георг 28, 43, 73, 75, 76,
 85, 86, 117, 119, 135
 Й
 Йегер Ф. 83
 Йессен Эдвин 49
 Йоргенсен Эллен 124
 К
 Калов Абрахам 106
 Кант Иммануил 131, 132, 141,
 150
 Карл XI, король Швеции 184,
 190, 197, 199, 200
 Карл XII, король Швеции 16,
 183, 184, 197
 Карлсон Фредрик Ферди-
 нанд 95-102, 123, 124
 Келлинер Ханс 76
 Кеннан Джордж Ф. 202
 Кеннеди Джон 202
 Кёпке Рудольф 125
 Ковальченко И.Д. 275, 276,
 280-282
 Кока Юрген 265, 316, 326
 Кокран Томас К. 68-70
 Колин Кларк 61, 62
 Конт Огюст 132

Кончаловский Андрон 329,
336
Краус К.И. 136
Кретцер Георг Фридрих 96
Кристина, королева Швеции
289
Кроль Ю.Л. 12
Куланж Фюстель де 43, 164
Кун Томас С. 224-226, 270, 280,
300-306, 311, 314, 331
Куторга Михаил 125

Л

Лакатос Имре 224
Лампрехт Карл 51, 56
Ланглуа Шарль-Виктор 45, 48,
51, 123, 130, 131, 136-138, 162, 164-181,
308, 315, 316, 334
Лаппо-Данилевский А.С. 127
Леви-Стросс Клод 292
Лейбниц 287
Лендс Дэвид С. 69
Лео Генрих 96, 100
Лефевр 63
Ливий 13
Лингельбах Габриэль 28, 29,
116, 117
Линней Карл 145, 333
Лиутпранд 8
Лоренц Крис 287
Лоренц О. 137
Людовик XIV, король Фран-
ции 16
Лютер 103

М

Майнеке Фридрих 84
Макнил Уильям 176, 177
Маколей Кэтрин 35

Маколей Томас Б. 122
Максимилиан, король Бава-
рии 39
Маловист Мариан 62, 66
Маннхейм Карл 226
Марадона 231
Маркс Карл 206
Марти Ханспетер 106
Марру 178
Маршалл Альфред 57
Меноккио 223
Мидделл 116
Милюков Павел 126
Минк Луис 294
Минье 123
Мишле 123
Моммзен Теодор 43, 121, 122,
126, 129
Моно Габриэль 44, 85, 123
Муратори Лодовико Анто-
нио 36
Мэфи Мари 298
Мюллер Иоганн фон 10
Мюллер Карл Готфрид 96

Н

Нестор 134
Нибур 122
Нибур Бартольд Георг 122
Нильсен Ингвар 49
Ниппель Вильфрид 120, 131,
142, 143
Ницше 209
Нич Карл Вильгельм 124
Нобель Альфред 80
Новик Питер 133
Норт Дуглас 79, 83, 89-93, 333
Ньютон 223, 226, 262, 333

О

Олсон Манкур 92

П

Палудан-Мюллер 49

Перц Георг Генрих 125

Платон 104

Плиний Старший 7

Плутарх 16, 226

Поппер Карл 223, 224, 226, 261, 303, 304

Постан 63

Пропп Владимир 294

Птолемей 223

Пуле Ханс-Юрген 265

Р

Райс Кондолиза 202

Ранке Леопольд фон 20, 38-46, 53-55, 66, 73, 76, 79, 80, 83, 85-89, 92, 93, 96-102, 110-116, 118, 120, 122, 124, 125, 128, 129, 134, 135, 141, 150, 167, 209, 226, 308, 315, 325, 333, 334

Раумер Фридрих фон 96, 100

Рейль Петер Ханнс 34

Рем Ф. 136

Ренуар 63

Рёриг Фриц 58

Риккерт 141, 180

Робертсон Уильям 35

Роймонт Альфред фон 99

Ростовцев 215

Ротакер Эрих 140, 141, 143

Роуз А.Л. 204-207

Рохас Агирре 66

Рувер де 63

Рус Фридрих 232

Рюзен Йорн 34, 83, 85, 87, 88, 121, 131, 141, 142, 209, 317

Рюрик 271

Рюс 136

С

Савиньи Карл фон 96

Сапори 63

Свак Дюла 125

Седрелёф Гуннел 326

Сен-Симон 133

Сеньобос Шарль 45, 48, 51, 52, 123, 130, 131, 136-138, 162-181, 308, 315, 316, 334

Сыма Цянь 11, 12

Симиан Франсуа 51, 52, 67

Скиннер Б.Ф. 241

Скотт Джоан У. 323

Смолли Берил 13

Сократ 104

Соловьев 125

Сталин 331

Стеббс Уильям 122

Стидман Кэролин 15

Страбон 7

Стурлусон Снорри 14

Суизи Пол 265

Т

Такман Барбара 9

Тардиф А. 164, 169

Тарле Евгений 58

Тойнби Арнольд 60

Токвиль 208

Толлебек Джо 68

Томпсон Э.П. 265

Тортароло 36

Тоуни Р.Х. 57

Трейчке Генрих фон 43

Трёльх Эрнст 84, 85

Турский Григорий 8, 226

Тьер 208

Тьерри 123, 167

Тэн 167

У

Уайт Хайден 76, 89, 290-297

У-ди, император Древнего

Китая 12

Уоткинс Дж.Н.У. 304

Уэбстер Чарльз 61

Ф

Фабер Карл Георг 204

Фабри Дж.Э. 136

Фаррентрапп Конрад 38, 98

Февр Люсьен 177

Фейерабенд Поль 222-224, 226

Фелипе Дональд 105, 106

Фельвингер Иоганн 106

Фергюсон Адам 35

Фессмайер И.Г. фон 136

Филипп II, король Испании

313, 325

Фихте 79

Фишер В. 156

Фрай Нортроп 292-294

Франк Андре Гюндер 72

Франкастель Пьер 63-66

Фридманн Жорж 63-65

Фридрих II (Великий), ко-
роль Пруссии 205

Фримен Э.А. 127, 137, 164

Фроуд Энтони 122

Фруассар 8

Фукидид 7, 226

Фукияма Фрэнсис 202

Фурастье 63

Фюстель де Куланж Н.Д. 123,

167

Х

Хабер Фриц 210-212, 220

Хадлер Франк 116

Хайек Ричард 80

Хакинг Иен 259, 306

Халлэм Генри

Хейден Уайт 285

Хекшер Эли Ф. 57, 58

Херрманн Арнольд 96

Хиггс 305

Хладениус Иоганн Мартин

10

Хобсбаум Эрик Дж. 61-65, 73,
265, 316, 322

Холл Кэтрин 311, 312, 323

Хусейн Саддам 183, 186, 198

Хуттнер Маркус 112, 113, 116

Хьярне Харальд 124

Ц

Цезарь 7

Цицерон 203

Ч

Чиппола 63

Ш

Шарль Кристоф 28

Шевалье У. 154

Шидер Теодор 207-209

Шлегель Август Вильгельм

фон 96

Шлезингер-младший 202

Шлёцер Август Людвиг фон
10, 34

Шлоссер 100

Шмедт П. де 169

Шмоллер Густав 57

Э

Эдуард III Английский 9

Эйнштейн Альберт 193, 226,

262

Эйхгорн Фридрих 10, 96

Эксле О.Г. 83

Эльзинга Аант 237

Эмар 63

Эно Филиппа де 9

Эрдманн Карл-Дитрих 50, 63,

64, 68, 139

Эрслев Кристиан 46, 124

Эскилден Карл Рисберг 99

Эскилдсен 114

Ю

Юм Дэвид 15, 35

Я

Якобсон Роман 291

<i>Глава первая.</i> Профессиональные нормы, специализация и фрагментация.....	3
<i>Глава вторая.</i> Исторический профессионализм: меняющийся продукт академического сообщества в рамках дисциплины.....	28
<i>Глава третья.</i> Возвращение историзма? Неонинституционализм и «исторический поворот» в социальных науках.....	78
<i>Глава четвертая.</i> Диспуты, семинары и профессиональное сообщество: конец комплексной подготовки профессиональных историков.....	95
<i>Глава пятая.</i> Факт, истина и текст: поиск прочного основания исторического знания около 1900 года.....	130
<i>Глава шестая.</i> Личности и структуры в истории, и откуда мы знаем, что они делают?.....	182
<i>Глава седьмая.</i> Профессионализм и использование истории в политике.....	202
<i>Глава восьмая.</i> «Правильно» и «плодотворно» – критерии исторической науки.....	221
<i>Глава девятая.</i> Историописание как профессиональное приращение знания.....	250

Профессионализм историка и историческое знание

<i>Глава десятая.</i> Диалог с академиком И.Д. Ковальченко о характере исторического знания.....	275
<i>Глава одиннадцатая.</i> Конструктивизм и репрезентативизм в истории.....	283
<i>Глава двенадцатая.</i> «Новые результаты» и «научные революции» в истории.....	300
Заключение.....	328
Именной указатель.....	338-343

Научное издание

Рольф Тоштендаль

**ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ИСТОРИКА
И СИТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ**

Издатель Леонид Янович

Редактор *Ирина Кускова*

Корректор *Ольга Крупченко*

Верстка и оригинал-макет *Андрей Янович*

Налоговая льгота -

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2;

953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»

Контактный телефон в Москве (495) 671-0095,

по вопросам реализации 8-985-427-9193

E-mail: nkhronograf@mail.ru

Информация об издательстве в Интернете:

<http://www.novhron.info>

Подписано к печати 17. 10. 2014

Формат 84x108/32. Бумага офсетная №1

Печать офсетная. Усл.-печ. л. – 10,5

Тираж 300 экз. Заказ №

Человечество не движется в сторону будущего единым и целенаправленным порывом к ясным целям вне зависимости от того, что говорят политики. Вместо этого оно пьтается в будущее, глядя в прошлое. Наблюдения формируются в соответствии с системой правил других дисциплин в корпусе знаний. Это знание служит источником света в неведомом. В таком неловком продвижении прошлое используется для ориентирования в том, что находится у нас за спиной, где лучи знания, можно надеяться, освещают все большее и большее пространство под нашими спотыкающимися ногами, ищущими твердой опоры.

Рольф Тоштендаль

издательство **новый хронограф** <http://www.novhron.info>



ISBN 594881268-5



9 785948 812687